

Эпопея  
«Заклученные образы»

---

# КАРУСЕЛЬ

Том II, книга 3

**Николай  
СМИРНОВ**

# **КАРУСЕЛЬ**

*Книга издана при финансовой поддержке  
Министерства культуры Российской Федерации  
и техническом содействии  
Союза российских писателей*

Ярославль, 2021

ISBN 978-5-91722-444-2

**Смирнов Н. В.**

С50 КАРУСЕЛЬ. Том второй, книга третья повествования «Заключенные образы» – Ярославль: ООО ИПК «Индиго», 264 с.

А. С. Пушкин, Вл. Одоевский, О. Сомов, О. Сенковский и другие писатели-романтики начала XIX века создали свои литературные маски, образы-псевдонимы, которые в пространстве этой книги попадают в плен к «силе нездешней», пророчески предсказанной в русских былинах. После крушения своего «иног царства» от её натиска богатырь Илья Муромец и Иванушка-дурачок находят тайное убежище в приволжском городке, в доме старика-жестянщика. Но и здесь их пытаются пленить «сила нездешняя» с помощью хитроумно устроенной засады на базе отдыха в сосновом бору. Действие, а точнее – *образотворение*, происходит в фантастическом мире, но оно столь же осязаемо реально, как и земное. «Карусель» продолжает повествование «Заключенные образы», опубликованное частями в сборниках Николая Смирнова «На поле Романове», «Сватовство», «Светописный домик». Это – книга третья второго тома, где разворачивается кульминация событий эпопеи.

18+

ISBN 978-5-91722-444-2

© Смирнов Н. В., автор, 2021  
© ООО ИПК «Индиго», изд-во, 2021

*«Мы стараемся, чтобы их ожидания оправдались, чтобы наша эпоха была действительно волшебной в реальном смысле».*

*Андрей Платонов*

## ГЛАВА 1

Упиралась улица в сосновый бор, а крайний дом с постаринному высокой крышей – Григория Паялы. Иванушка-дурачок знал его издавна. Выйдя из лесу зимой, Иванушка-дурачок с Ильей Муромцем и остановились жить у Григория Паялы. Прозвали его так потому, что он паял и лудил медную и жестяную посуду. Когда на смену ей пришла посуда стеклянная и пластмассовая, работы у Григория стало мало. Состарился Григорий и выпивать стал реже. Пенсия у него была маленькая. Начал он инструменты свои продавать на вино. Жена у него давно умерла, дочери уехали в дальние города. Жил он в доме один по-черному. Тут у него была и кухня, и мастерская, на том столе, где ел, он и паял, и лудил. Вместо стульев стояли чурбаны, на которых он рубил железо; зимой спал на русской печке в кухне, а летом в большой комнате, в углу, под черной овчиной.

Вот в такой избе утром за немьтыми, непросветными окнами и вели разговор хозяин и его квартиранты. Заслонка у топившейся русской печки была открыта: солнце еще не пробилось сквозь туман из-за леса, и на отпотевшем окне переливался влажный, как будто красной краски натекло, отлив огня. Григорий сгорбился перед шестком на чурбане и курил. Иванушка примостился рядом, на ящике. Илья Муромец сидел на лавке с торца стола, опираясь спиной на переборку, на *хозяйском месте* Григория, и от нечего делать разглядывал, как играет красный отлив на стекле.

– Что, друзья, долго ли шерсть бить на собаках будем? – говорил Паяло сипло, с затяжкой, как на худой гармонике, играя грудью. Последнее слово так и осталось недоговоренным, заглухнув

в том скрипучем, нутряном кашле, какой обычно бывает у заядлых курильщиков.

Он со страдальческим облегчением сплюнул в консервную банку с окурками, стоявшую на шестке, и снова его маленькие, тонущие в стариковской мути глазки, снизу и сверху сдавленные морщинами, равнодушно уставились на огонь, будто вопрос этот был ни к кому не обращен. Да так оно, наверно, и было: про работу говаривал он не раз и обычно в часы тоскливого утреннего похмелья, хотя кое-какие деньжонки у квартирантов и водились – своей пенсии Григорию хватало только на неделю...

– Без работы жить нельзя. Нашто мне надо еще дровец на истоплево принести, – подтвердил Илья Муромец и взял с газеты, скомкано лежавшей на столе, половину соленого огурца. Посмотрел на него и схрумтил с большим куском хлеба.

Григорий и Иван молчали, одеревенело выпуская из ртов длинные табачные струи. Иван думал: «Ну, ты и кашлюн, хозяин!» Илья вздохнул. Погрустнел всем своим бодрим, щекастым, бородатым ликом и продолжил нерешительно, больше для себя:

– Главное, что мы есть... Эх-хе-хе, сколько не жил, не воевал – этого было достаточно... И сейчас ведь мы не просто так здесь сидим. Та же служба. Находимся в скрыте, а? После конечного разорения серебряного царства...

Илья Муромец говорил дольше и обстоятельнее, чем обычно. Такое отступление от повседневного обихода Иванушке показалось чудным. И что это разговорился старик? И он аккуратно, чтобы не зацепиться штанами за доски ящика, поворотился к Муромцу и оборвал его, коротко и умно:

– Ты, Илья Муромец, знай это про себя, но никому не говори...

– Почему? – спросил богатырь.

– Да наломают шею!

– Мне?! За что?.. За то, что я есть?..

– За то, не ходи пузато, не носи попу кошелем! – обрадовано прибавил Иван. И сразу же замолчал, напустив на себя хмурый и деловитый вид и, не слушая Муромца. Такой вид он обычно на себя напускал перед тем, как объявить что-нибудь важное. Выждал, пока Муромец утих, встал и объявил:

– В скрыте мы сидим! – тут он снова важно замолчал, палец на Илью направил. – Вот поэтому нам и надо работать, чтобы скрыт был надежнее!

– Ну, что же, если надо, я пойду первый, – сказал Илья.

– Да, ты еще не рабатывал, Илья Муромец! – толковал, выпячивая грудь, Иванушка. – Тебе и надо идти... Я уже свое отработал. Кем только не был!.. И здесь, в городе...

«Кем только не был, а дураком был – дураком и остался, – сердито думал про себя Муромец. – Не грешил бы ты, Ваня!» Но вслух говорил, равнодушничая:

– Пойду... пойду... Вроде как в полон. Хотя не мое дело по полонам сидеть... Мое дело – полонам волю давать...

– Теперь, Илья Муромец, полонцов нет. Только работа, – с обычной своей дурацкой дотошностью втолковывал Иванушка, раскланиваясь из стороны в сторону.

Григорий молчал и курил, раздавленный похмельем.

– Или ты хочешь, как дядя Гриша мне недавно рассказывал? – кивнул на Паялу Иванушка. – Все работают в поле, а двое кавказцев приехали на машинах, ходят по межам. О чем-то рассуждают... Вот приходит председатель колхоза, спрашивает: вы почему не работаете? Они говорят: нам не положено. Как так не положено? – Мы – контрол!

– Контрол? – засмеялся Илья Муромец.

Лицо Паялы раздалось, раздвинулось по всем морщинам, но глаза остались прежними, не ожили.

– Дак я бы тоже в контрол пошел, – посмеивался у оконца Муромец, протирая стекло рукой. Казалось, что солнце так и не взойдет, так и будут весь день эти алые, мутные разводы на небе.

– Таких туда не берут! – подсек, подогрел его Иванушка. – Ты не член партии, к тому же у тебя и документов никаких нет...

– Ваня, не грехи! Зачем мне документы? Меня и так все знают... – осанисто выпрямился на лавке Илья. – Стоит только в подызбище меч да куюк из-под картошки отрыть... У нас, богатырей, документов нет, только Бог да правда.

Споры, кончавшиеся ссылкой на меч, велись и до этого не один раз, они уже и поднадоели. Замолчали, приглядываясь, как

медленно, волшебюно оживает комната, тонкий, свежий золотистый дымок с опушки сосняка проник и сюда, стало легче, будто совершилось какое-то дело, в котором все трое, сидящие в пасмурной избе, участвовали. Хотя никакого события – просто пробило и засияло солнце, но Илья Муромец не выдержал и пропел внутрь себя: «Ты взойди, взойди, солнце красное... обогрей ты нас, добрых молодцев»... И тут же утихло пение, будто и оно, и солнце подтолкнули богатыря к каким-то новым мыслям. Мысли-то были все те же, но подход новый...

– Так-так-так! Пам-пам-пам-пам! – поборматывал он, выйдя из-за стола и подходя к устью печи, к будто ослабшему при солнце, потускневшему печному огню, где напористо бурлил чугунок с картошкой.

– А ведь ты, Гриша, уже не работаешь?

– Нет, я свое отработал, – говорит, как и Иван, Паяло.

– А документы у тебя сохранились?

– Документы?

– Да, так ты и дай их мне, ведь они тебе уже не нужны?

– Документы? – протяжно, сипло переспросил Григорий, соображая, что неплохо бы было, если бы Илья пошел, устроился по его документам хоть сторожем. – Так ты как – на работу за меня ходить будешь или – как цыган?

– Какой еще цыган? – недоуменно спросил Илья, глядя, как растягивается узкогубый, темный рот Григория: тот умел свой рот на сторону заворотить, или растянуть чуть ли не до ушей: ни дать, ни взять – Баба Яга.

– Да два цыгана ехали в поезде, – хрипло растягивая слова и, морщась, – начал рассказывать Григорий. – Вот стали документы проверять... Цыган достает паспорт. Ему говорят... Ему говорят, – страдальчески откашливаясь, повторил Григорий. – Гражданин, у тебя паспорт женский! А он говорит: ну и что, что женский? У Юшки и такого нет! А где твой Юшка? Да вон, под сиденьем лежит! Ха-ха-ха!.. А у Юшки и такого нет, а, ешь твою мать?! – смеялся, грохая кашлем, Паяло.

Смеялся и Иванушка, но от смеха не становились светлее их лица, что-то придавленное, сумрачное было и в самом этом сме-

хе, будто камень лежал-лежал, терпел-терпел – и вдруг через силу усмехнулся человеческим ликом.

Григорий пошел за синюю перегородку в комнату, где врыта печка-временка для накаливания больших, как колуны, медных паяльников: пол вокруг печки противопожарный, земляной, и – рядом чурбан для сидения. Из грубоватого коричневого комода – хотелось ему похвастать, сколько у него документов – достал толстую пачку, завернутую в совершенно побуревшую газету. Рядом с краснозвездным военным билетом тут ютилась и пасхальная открытка, помеченная 1916 годом. Поздравляли с Воскресением Христовым какого-то Азеева, жившего в Питере на Гороховой, 64. Судебная повестка 1903 года, присланная еще отцу Григория. Впрочем, Паяло не объяснял значение этих семейных экспонатов. Он отодвинул в сторону газету с кормом и положил на стол памятную пачку в младенчески ясный и чистый солнечный квадрат. И пошел по рукам коробленный картон, сложенные четверо, в грязных трещинах бумажки. Паспорт, какие-то талоны, удостоверение члена общества красного креста, свидетельство о браке, удостоверения члена-пайщика райпо. Про каждую бумажку он затягивал рассказ, да, закашливаясь, умолкал и только тряс ею.

Тут же был и листок из чьего-то блокнота, на нем написала ему записку жена из больницы, коряво, с ошибками: «Мне нужно яиц и свежего молока – врачи сказали». Кратко и безысходно этой строкой, закривленной вниз, она просила, будто из-за той черты вечной, где все уже было не так, как в жизни. Из-за той же вечной черты она уже двадцать пять лет приходит в его душу, неподвластная времени, к этому Паяле, тощему, с нечесаными волосами, темнолицему, сморщенному, в закопченную избу с изрубленным полом и чурбаном вместо стула. На той же записке он тогда написал ей вкруговую ответ: «Тебе желтки нельзя, так верни». И теперь эти слова корили его. Могла бы умирающая жена и позволить себе выкинуть эти два желтка... Он их принес домой, скормил дочкам. А она вот не вернулась. После похорон он нашел эту записку и вложил ее в свидетельство о смерти, из которого Иванушка и вытряхнул этот зарвавшийся с краев лепесток. Повертел без интереса и опустил снова на стол, в солнце, сладко лънувшее к желтым бумажным листкам.

## ГЛАВА 2

– Так ты, значит, Гриша, и воевал? – спросил Илья Муромец.

– А как же? – повернулся к нему Паяло и глядел с укором, с печальной мутью в глазах, будто бы все еще видящих и больничный коридор, и себя у лестницы, где он передавал медсестре яйца для больной жены.

– Вот я и возьму твой военный билет – я войну люблю!

– А мы не любим, – сказал Паяло... – У тебя отнимут его и все... Не велено никому военный билет на руки отдавать...

Иванушка-дурачок принялся объяснять Илье, что такое военный учет. И что для устройства на работу такому мужику, как он, хватит и одного паспорта. Хотя вообще-то могут и военный билет спросить...

– А если я по-за учетом живу?

– Значит, уклоняешься от военной службы, от военкомата...

– Я, Илья Муромец, уклоняюсь от военной службы!? Ну-ка, повтори... Я тебе в глаза посмотрю!

– Я не говорю, что ты уклоняешься – это тебе так в отделе кадров скажут.

– Я им не дам договорить! – взволнованно сказал богатырь. – Это только тебе по младости да глупости прощаю...

– Нет, раз военного билета нет – значит, ты дезертир...

– Я – Илья Муромец – дезертир?! Я такого дива еще не слышал!

– Хватит, – сказал Гриша Паяло, – я и сам не дам своего билета, еще посадят! Сторожем и так возьмут. Заходи в отдел кадров: мол, дядя Гриша сторожем оформляется – вот его паспорт, а я за него дежурить буду...

Глаза у Ильи Муромца стали чистыми – без всякого выражения:

– Я, – выдохнул он, – дезертир, да к тому же еще и – сторожем?

– Да, скажешь, что родственник мой...

– Нет, сторожем я не пойду, – говорил, укрепляя себя, Муромец, – лучше смерть! Да зачем мне документы эти? От них только

худое: то дезертир, то сторож, то родственник... Неужели я сам по себе ничего не значу? – привстал он с лавки.

– Есть такие, которые и без документов живут, – многозначительно прибавил Иван: сумасшедшие, беглецы. Ворье разное, все те, что любят денежку скорую и горячую...

– Слушай, Ваня, я терплю-терплю, да...

– Картошка сварилась! – сказал Паяло, подцепляя ухватом чугунок. – Сейчас углей в самовар нагрebu...

Чу, там, у вьюшки – заньло, загудело в трубу, как что-то живое, так, что все замолчали, вслушиваясь. Это теперь всегда стоявший на столе новый никелированный самовар, прежде пылившийся в запечье среди всякой завали, а с тех пор, как поселились квартиранты, оттертый от грязи.

За завтраком, приводя разумные примеры из своей жизни, Паяло и Иванушка-дурачок рассуждали, что, действительно, без документов – не тык, не мык, вроде как бутылка без наклейки.

Илья сделал вид, что согласился устроиться сторожем. На самом же деле решил проверить, неужели, действительно, без этих самых документов даже и богатырь – не тык, не мык? Он думал, что дело совсем не в документах – просто Иванушка хвастается своим умом. То и дело Илья добродушно смеялся, слушая его басни. И вдруг хитро прищурился:

– Ваня, а, может, тебе все это мнится?

– Как? – не понял Иванушка...

– Не как, а что – документы все эти, дезертиры, сторожа. Может, все это лишь *мысленность*? Разве ты не чуешь, что за нами кто-то идет по следу? Может, это он и напускает на нас?..

– У тебя голова, как овин! – оглядывая Илью и, тоже затревожившись, оборвал его Иванушка, прикидывая, что Илье на всякий случай надо бы волосы с ушей снять да и бороду: для маскировки, чтобы не отрываться от массы...

– Я, в случае чего, подравняю! – отозвался из-за стола задумавшийся было о чем-то Паяло...

Не слушая их, сряжался медленно, нехотя Илья Иванович в свою защитного цвета телогрейку с косыми карманами: где уж он её достал, неизвестно, только всегда в запасе держал. Штаны

того же цвета заправлены в большие резиновые сапоги. Снег в этом году стаял рано, земля на улицах оголилась, а потом похолодало, лужи стало подмораживать. Только в сосняке еще снега осталось: он слепил на сильном солнце, как кварц, и туманец кварцевый ароматный над ним стоит в лучах, как осколки белоцветного рая разбросаны между деревьями.

### ГЛАВА 3

Эти ворота из железных труб никогда не закрывались. Во дворе у кирпичных сараев стояли разные автомобили, Илья Муромец заглянул на них и снова обернулся на улицу: есть ли кто? Никого! Откуда же тогда тревога?

Забор вокруг автобазы был из бетонных щитов. Илья Муромец представил, что если со двора на него побегут и станут ловить, то надо будет вырвать из земли заплывшие створы и ворота закрыть. Потом, перебегая, внезапно с боков, сзади – валить на неприятеля бетонные щиты. Он прилег к ближнему щиту грудью и, повеселев глазами, легко пошатнул щит во двор. Этим он точно хотел уверить себя, что он есть он – и без документов.

Против стола начальника отдела кадров стоял какой-то мужик в порыжевшей тужурке, перешитой из старой одежды. Илья Муромец не обращал на него никакого внимания, потому что вслушивался в то, что говорила важная женщина в мохнатой лисьей шапке, пол-лица которой занимали заграничные очки. Очки никак не могли понять, почему нет документов у рыжей тужурки, и уже третий раз спрашивали: «Как ваша фамилия?» «Кашкаданов», – отвечала рыжая тужурка. «А почему же нет документов?» – снова спрашивали очки, как будто не могли понять: «Как же это так – фамилия есть, а документов нет?»

– Какие у меня документы? Я же из заключения... Вот справка... – с досадой, как можно тише, старалась бормотать рыжая тужурка, до того пытавшаяся объяснить свое щекотливое положение намеками...

Поняв, начальница кивнула головой и, взяв справку, принялась заполнять документы на нового работника автобазы...

«Значит, и без документов можно, надо только в заключении побывать?.. Эх, Ванюша, много на себя берешь! – укорял за самохвальство своего товарища Илья. – Ну, хватит мне тут потолок подпирать!» – и, протиснувшись ближе к прилавку, которым, как в магазине, была отгорожена начальница, спросил бодро:

– Значит, можно и без документов?

Начальница, еще ниже опустив голову, продолжала писать. Илья отвернулся от её мохнатой шапки и хотел заглянуть в лицо мужику в рыжей тужурке, но тот ужасся, отворачиваясь к железному шкафу. «У тебя голова, как овин! – вспомнилась не к месту нелепая обезличка Иванушки. – Откуда простачине знать, что мне личит?» И – обидно Илье Муромцу стало тут обтирать углы у какой-то бабы, ждать, покуда она на него посмотрит.

Выйдя, у железных ворот он приостановился, потому что снова ему представилось, как от кирпичных сараев валит на него силы чернее черного ворона. Он, оглянувшись, хотел выдернуть створы из земли, уже и за прутья взялся, и тут увидел под ногами кошелек. Кошелек лежал на виду у нового красного кирпича. Когда Илья Муромец входил сюда, то ни кирпича, ни бумажника не было. Что его больше удивило – кирпич или бумажник? Но одна рука потянулась к бумажнику, другая – к кирпичу, в котором грезилось что-то особое. Он перевернул его и, как огнем по сердцу, ожгла надпись, выдавленная заводским способом: «кто этот кирпич возьмет – тому смерть!»

А за спиной – шаги.

Ой, это тот, из заключения мужик! Прошмыгнул мимо и – как пошел, как пошел!.. А если он увидел, что я чужой кошелек взял? А, может, в нем его деньги?

Илья Муромцу стало жарко: «Всем раззвонит, что богатырь, а – ворует», – подумал он и пустился догонять мужика в рыжей тужурке. А тот идет, кирзовыми сапогами бухает и, точно чувствуя погоню, прямо по лужам все прибавляет и прибавляет ходу. Улица пустая, с просевшей глубоко дорогой: домики деревянные высоко по бокам. Крикнуть что ли, а как?

– Эй, товарищ... гражданин! Гражданин, у меня к тебе слово есть!..

Тот еще быстрее, и – к магазину сворачивает. Нет, до магазина я тебя не допущу, при народе бесчестить старика не дам...

– Стой, ни с места!

Мужик встал, как ошеломленный, сгорбился и не оборачивается. Только покосился чуть: не ошарашат ли его кирпичом? Илья так и бежал с кирпичом в руках.

– Пошарь у себя в карманах, – говорит Илья Муромец, – не потерял ли чего? Куда бежишь? – и подает ему кошелек, а тот – в сторону. В шапку-ушанку не по сезону одет – не разглядишь, что и за лицо у него.

– Я ничего не терял... папиросы на месте и спички на месте... У меня и в жизни никогда кошелек не было, – тихо отвечает... И рванул к магазину.

Илья Муромец взбил свою шапку, тоже ушанку, на лоб, вытер пот с лица рукавом телогрейки и пошел. «Кирпич и кошелек, – думает он. – Кошелек и кирпич... К чему бы это?»

Кирпич нес до самого дома Григория Паялы, там, подумав, бросил его под лавку во дворе, на вытаявшее, сухое место.

## ГЛАВА 4

Иванушка-дурачок и Григорий Паяло, сидя по лавкам, обедали. На столе четвертинка водки, огурцы соленые в литровой банке, хлеб и картошка в стукалку.

– Ну, дело в шляпе? – встретили они Илью Муромца.

Илья Муромец, не отвечая, вошел с задумчивым видом, телогрейку снял, на ящик к столу подсел, а сам все задумчивый. «Поверх людей глядит, будто он выступает, – подметил Иванушка. – Загордился, рабочий человек!»

– Налей ему, Гриша, вишь, загордился... Теперь будет у нас денежка скорая и горячая...

– Денежка? Сейчас проверим, – говорит Муромец и подходит, улыбаясь, к телогрейке, и достает кошелек.

– Иди ты?! – обрадовался Паяло. – Аванс?

– А, может, там и деньги?.. – говорит Муромец.

– Паспорт! – удивляется Иванушка-дурачок. – Трудовая книжка... Ого! – И фотография какая-то: Иванушка, увлеченный осмотром, взял её у Ильи и, не рассмотрев хорошенько, сунул в карман.

После Ильи Муромца Паяло корнями черных своих пальцев жадно вглубился в бумажник. Вот одна монетка беленькая да еще медная – две копейки.

– Только на табак! – говорит Паяло. – Не везет нам... Чей кошелек? Кто так халатно документы хранит? Только за потерю паспорта – десятка штрафа. Да за потерю военного билета... Пусть нам бутылку ставит, а то не отдадим!

Григорий взял паспорт: читал-читал, глядел-гляддел на Илью Муромца. Сходил к комоду, взял очки с перекошенными дужками, такие же старые, как и сам Григорий, опять читает, опять на Илью Муромца глядит...

Илье Муромцу стало не по себе, а Иванушка тот уже и забыл про кошелек: «На нет и суда нет, – говорит, – давай, Гриша, доделаем чекушку»...

Паяло снял очки, лицо – непонятное:

– На, – говорит Муромцу, – и больше не темни!

– Что такое? – Иванушка перехватил паспорт и прочитал вслух:

– Паспорт, выдан Муромцеву Илье Ивановичу 97 отделением милиции города Москвы... – и у него вырвалось: – Кто нарисовал? Сам?... – И дальше изумленно, как первоклассник, по складам читает: – Национальность – русский. Год рождения... вот чудно, 1925, прописка – пусто...

– Значит, мужики, у вас документы в порядке? Так что же вы прикудняетесь? Зачем играете надо мной? – говорит Паяло.

– Не я же, Гриша, играю, а Ванюха... Я его, чернушника, знаю... – хитро подкивнул Муромец. Он думал, что Ванюха дурит: сначала сказал, что без документов на работу не берут. А теперь – выдумывает на ходу и, будто читает.

– А если, Ваня, из заключения, а? Попался!..



– Кто попался? – сказал, сильно удивившись, Ванюха.

– Сам знаешь, кто, – довольно посмеивается в бороду Муромец и берет у него из руки паспорт, наготовившись проколоколить притворно что-нибудь вроде: «Фамилия – Иванов Иван Иванович. Национальность – русский»... Но в глаза богатырю змеятся черные, лоснящиеся, новенькие буквы канцелярского почерка. Вот с завитка бежит вверх тонкий волосок М и проваливается, ломаясь, нажимом вниз, и так же проваливается вниз душа у Ильи Муромца. Смотрит на Иванушку, Иванушка на него.

«Понимаешь?» – говорят их глаза друг другу. – Нет, но сейчас пойдем, хотя, ох, как бы не хотелось этого понимать! Поэтому Иванушка пытается понимание свое в сторону увести... Глянул бодрячком, спросил весело:

– Про какое ты это заключение маракуешь, Илья Муромец? Ты же не сидел. Туда документы не такие оформляют...

Пока они в гляделки играли, Паяло успел выпить стопку, съел огурец с картошкой и, откинувшись к переборке, завел своё:

– Так что же вы прикудняетесь?.. Зачем старому человеку в карман серите? – И, выворотив по-коровьи язык, завернул его кверху, прямо в ноздрю. И нос у него был такой, с прямыми ноздрями, широкими, он, пьяный, в магазине баб этим дивил, и они отворачивались от него и плевались: тьфу, черт! Бери без очереди, что тебе надо, да проваливай отсюда! Винищем разит – недохнешь!..

Иван с Ильей тоже плюнули:

– Замолчи, Гриша, от тебя старухой пахнет! – и пошли вон из избы на свежий воздух. Илья Муромец стал втолковывать Иванушке, что на работу им здесь пока – даже сторожем – ни-ни! По следу, Ваня, идут. Чует мое сердце. Нависают, как капля на листу...

Тут Иванушку, будто что-то подтолкнуло – вынул из кармана фотографию... Так и есть! Это та самая, что у него в Магадане с документами и деньгами вытащили... На обороте подписано курчавым почерком фиолетовыми чернилами: «*На долгую и добрую память другу Ленке от товарищей Димки, Гриши и Феди в день отъезда на большую землю. Богатырь, 1954 г.*». Это же ему они, три богатыря, подарили – Ваня тогда под именем Ленки на прииске «Богатырь» работал. Но Илья Муромец не мог пове-

рять, что прииск на Колыме в лагерных краях таким хорошим словом назвали. Он думал, что и фотографию – тоже подделали.<sup>1</sup> И после подозрительного случая с автобазой они пока решили не устраиваться здесь на работу.

## ГЛАВА 5

Этот день был девятнадцатого апреля, перед коммунистическим субботником, а, может, и чуть позднее.

Без пятнадцати минут двенадцать заведующая отделом кадров автобазы, стоя перед зеркалом, прибитым к шкафу с невидимой для посетителей стороны, поправила заграничные очки и собралась было надеть уже шапочку, как обложенная луженой жестью дверь распахнулось, и вошел начальник автобазы Николай Павлович Патетюрин.

Основательный семейный мужчина, спортсмен; невысок, но плотен: как из бетона в своём сером костюме; волос чёрен, брови суровые, носатый, ртастый. Он знал о себе, что он нравится райкомовским женщинам, хотя те и оговаривали Патетюрина за спиной, правда, без осуда, что «он – *серяга серягой*: что ни слово, то матерщина – да ведь по-иному с шоферами и нельзя!»

Он сходу глянул на опустевшее место второго работника отдела кадров, точно не видя самой заведующей, поспешно сунувшей шапочку за пишущую машинку.

– Вы уже на обед? – сказал Николай Павлович с холодной ласковостью в голосе. Не успела заведующая улыбнуться и ответить, как Николай Павлович добавил, сменив тон:

– Кто-нибудь сегодня на работу устраивался?

– Да, Николай Павлович... Кашкаданов да...

– Муромцев? – перебил ее Патетюрин.

– Какой Муромцев?

– Сейчас звонили, что к нам на работу в качестве сторожа или кочегара может устроиться особо опасный преступник

<sup>1</sup> Фотография эта с выцветшей надписью, уцелевшая у Григория Яблокова, вынесена на обложку книги.

Муромцев Илья Иванович 1925 года рождения, – сурово отчеканил Патетюрин.

– Нет, никакого Муромцева я не принимала! – испуганно села на стул заведующая отделом кадров.

– Вот, Надежда Матвеевна, какие дела, – продолжил уже снисходительно Николай Павлович, – вот какие дела, а вы уходите со своего поста раньше положенного времени... Подчиненных распустили. – Он снова посмотрел на пустующее место за пишущей машинкой. И пошел было прочь.

– Николай Павлович! – вдруг рванулась вслед заведующая отделом кадров. – А откуда вам звонили?

Он обернулся, размягчено глядя своим, будто стеклянными, козлиными глазами, и сказал:

– Ну, дорогая моя, об этом не спрашивают...

Надежда Матвеевна сидела, невидяще глядя в окно, за которым конторские работники ровно в двенадцать часов скопом выходили на обеденный перерыв. И вдруг ее, как она потом говорила, ударило, как огнем по сердцу:

– Кашкаданов-то... Ведь он из заключения... Николай Павлович! – бросилась она по коридору... Может, он и есть особо опасный преступник?

## ГЛАВА 6

Патетюрин на работу в понедельник, как и положено начальнику, первым пришел. Вызвал Ольгу, секретаря парторганизации. Суровый: сел за столом и сидит. Зуб не болит-не болит, а нет-нет – да точно током ударит! В выходные пришлось обезболить «столичной». Телефон то и дело звонит: это водозабор? Это магазин? Все в городе пришли на свои рабочие места, звонят – вот и возникла на автоматической станции перегрузка.

– Не туда попали! – сначала отвечал сквозь сжатые зубы Патетюрин, а потом и вообще престал подымать трубку. Последний звонок затрелил, завертел, будто в самом зубе. Николай Павлович терпеливо сгорбиллся, лицо – изжелта-серое, щеки внизу кругло обвислые, как жаберные крышки у рыбы.

– Что вы так терзаетесь, Николай Павлович? – пропела с приторным видом поленькая Ольга, секретарь парторганизации. Да как расхохочется!

Николаю Павловичу почудилось, будто он под камнепад попал, куски смеха застучали по спине, в грудь, по зубу. Внутри у него, как в ущелье, повторилось великаним эхом: «вы так терзаетесь... вы так... заетесь!» Применив все самообладание, он и то – насилу обуздал свой гнев. Посмотрел для охлаждения на снежно-голубой календарь-плакат с широкогрудым лыжником – на стене.

Да и телефон зазвонил к месту. Николай Павлович сжал трубку так, что из нее чуть сок не потек, разряжаясь, злобно спросил: «По какому номеру вы звоните? Нет, это не котельная... Кто?... – Александр Македонский!...» И кивнул строго Ольге – погоди, видишь, занят! Внутри все еще отзывалось: «терзаетесь... вы так... заетесь»... В десне будто кто-то развел огонь...

В пятницу здесь, в кабинете, он разогнул проволочную скрепку для бумаг – и прочистил дупло. Скрепку потом снова согнул и сложил в коробочку – нечего расшвыриваться! Да только расковырял зуб... Потом вот дома обезболывал... Сейчас он покажет этой глупой толстушке Ольге, кто есть кто... Теперь он тупо глядел на эту со скрепками коробочку и хватал её и со шлепком опускал на стол, все сильнее шлепал ей, пытаясь подавить раздражение.

Вошла диспетчерша с бумагами. Спросила что-то незначительное, только чтобы показать, что и у нее есть к начальнику дело... А Ольга сидит... ждет... вот карандаш в руку взяла... вы терзаетесь, вы... заетесь... у-у!

Патетюрин заставил диспетчершу присесть. Заговорил громко, весело, как добрый начальник. Диспетчерша покраснела от удовольствия. Потом засмеялась радостно. А Ольга сидит, глаз не подымает, метит и метит в протоколе прошлого партсобрания... Пора бы уже давно было его оформить... Нет, хватит, надо поучить... вы так... заетесь, вы терзаетесь... Надо быть свободнее, проще с людьми. А она напустила вид, что работает. Я же вижу! Что вы так терзаетесь... Много на себя берешь, Ольга Константиновна! Распустил я вас всех! Видно, пора мне... ай, ай!

Что вы так терзаетесь? Это надо же такое сказать? Я не терзаюсь! У меня просто... Алё... Да! Александр Маке... Ах, нет-нет, Патетюрин слушает!.. Муромцев? Муромцев, нет, не устраивался... Иванов?.. Тоже нет... Но у нас, у коллектива... есть подозрение... Да, такое подозрение, товарищи, что это – Кашкаданов. Проверите? Хорошо!.. Ну, извините, извините... Терзаетесь, терзаетесь, з-з-заетесь!..

Да на каком основании вы смеете так говорить мне, Ольга Константиновна!? Нет, в таком виде протокол сдавать в райком нельзя!..

## ГЛАВА 7

Свой рабочий день Патетюрин обычно начинал с обхода территории. Сапоги присасывались к жадной, липкой, рубчатой от колес глине двора. Он долго скреб их о железную решетку у порога кабинки, где сидел сторож. Тот вышел со своего поста, бодро поздоровался. Патетюрин заглянул в кабинку: кажется, все в порядке, посторонних сегодня нет. Приложил ладонь к батарее – едва теплая! Не спит ли кочегар? В застывшем, стеклянном веселье козлиных, неприятных для некоторых сотрудниц автобазы глаз, стоял вопрос: ну, как, новый работник не пьет, не собирает у себя компаний по ночам?

– Не знаю, Николай Павлович, всю ночь были теплые! – соврал сторож, хотя он преспокойно спал всю ночь и проснулся только час назад – поставить на плитку чайник.

Николай Павлович к кочегарке. У дощатой двери по-прежнему не хватает двух досок: выбиты. Он, так же предупреждая оскабливая сапоги о железо, сердился, что уже говорил кочегару, чтобы приколотил доски, а то идут, кому ни лень, на огонек. Как распивочная! Теперь он хотел сказать еще раз, но кочегар не выходил. Вот так случись зимой, всю систему заморозит... Спит!.. Эй! Вставай, приехали!..

Кочегар Кашкаданов лежал на списанном диване-развалюхе, отвернувшись к стене. Патетюрин схватил его за плечо, подал

на себя. А голова отворачивается на бок. Патетюрин, сильно схватившись, как за мешок, пачкая руки в угольной пыли от тужурки кочегарской, затряс Кашкаданова, громко заругавшись.

Свесившаяся голова Кашкаданова замоталась и повернулась к Патетюрину, и тот увидел круглое, серое, как ему показалось сначала, улыбающееся лицо. Это от того, что маленький, наивный рот был приотворен свободно, и так же свободно замерли чистыми, голубовато-белыми полосками глаза. Это была только часть улыбки, а вторая половина, будто стояла где-то за лицом, за шершавой кирпичиной стеной, за... И пока Патетюрин бежал до конторы, ему казалось, что мертвый свет этой кашкадановской улыбки все вытягивается и вытягивается вослед, как огромный мыльный пузырь.

Когда он вошел в контору и хлопнул за собой дверь, пузырь этот лопнул, все встало на свое место: оборванный, списанный диван, на нем мертвое тело, никому не нужное. Осталось от человека одно происшествие, в котором надо быстро, четко разобраться. Патетюрин уже жалел, что он хватался за труп руками и натопал на месте происшествия. Заведующей отделом кадров он сказал, как можно спокойнее:

– Надежда Матвеевна, кочегар умер!

Выслушал обычное в таких случаях: «Как умер? Не может быть! А, может, его убили?!» Стоял хмуро столбиком, опустив голову. А когда поднял: козлиные глаза уже глядели деловито, жестко, словно знали, кто виноват в происшествии. Конторские женщины, собравшиеся, замолчали.

– Позвоните в милицию, – сказал Патетюрин. – Пусть разберутся... На место происшествия вход запрещен... – И пошел, да оборотившись, прибавил со вздохом: – Сообщите родственникам!..

Милиция приехала и по осмотру бою и увечья на трупе не нашла. Умер, похоже, совсем недавно. Сторож божился, что всю ночь было спокойно, и вечером, когда он заходил в котельную покурить, кочегар был, как ни в чем не бывало!

Кашкаданов все так и лежал, как был брошен Патетюриним, лицом к кирпичной стене, из которой торчали шишки цементного раствора. Следовательно, молодой человек в светлых брюках,

всем своим видом показывал, что он на работе и что дело это для него обычное. А поскольку дела никакого не было, все подходило, смотрели на кочегара. Последней пришла экономист, бывшая учительница математики. Ей очень хотелось посмотреть на мертвое тело, но нравственное чувство кололо ее, что нехорошо любопытничать на чужую смерть. Ходила-ходила по кабинету, боролась-боролась сама с собой, но когда к ней подошла Надежда Матвеевна и стала говорить: и хоронить-то его некому! – в этих словах и на лице ее был вопрос: а почему ты не сходишь? Экономист, отведя глаза, выговорила серьезно и громко, как в классе перед учениками:

– Надо все-таки сходить... Отдать последний долг человеку! – чувствуя, что обманывает, добавила она.

В какой-то, никому не известный далекий город была отправлена телеграмма родственникам. Покойника похоронили на казенные деньги. Все сделали, как и положено. А через месяц все уже забыли о нем. Так был выполнен приказ Умирзакова. И никто не узнал о том, кто *кокнул* кочегара... А им – что? – осуждали по народу следствие: напишут: «сердечная недостаточность или упал с высоты роста и получил травму несовместимую с жизнью, или проще: причину смерти нельзя установить в связи с разложением трупа» и т.п.

## ГЛАВА 8

Солдат в треуголке и камзоле загородил дорогу ружьем. Пассажиры медленно, удовольствованно вынул из-за пазухи удостоверение, выписанное на имя Шитикова, и был пропущен.

На первом этаже мелкий чиновный люд, шелестя вполголоса, суетился по коридору, где двери кабинетов, как заведено в административных зданиях, были с номерками. Пассажиры быстро вбежал по лестнице с железными перилами на второй этаж. Солдат, запоздало извиняясь вослед, был обескуражен тем, что не узнал Пассажира. Солдат был комически низкого роста, но ширины в плечах невероятной, что называется, *ши-*

*рай*; у входа, в полумраке, на лице его различались лишь черные, толстые, кверху загнутые усы. Он так задумался, переживая свою оплошку, что несколько человек проскользнуло мимо без проверки документов.

Гомон, невнятные звуки шагов просачивались с лестницы в коридор, где вздрагивали створы стеклянной, в железных рамах двери от приступов ветра. Холодный, темный, набрасывался он на крыльцо и отлетал для нового разбега. От того в закутке, где была караулка солдатская, начинала хлопать медная крышка душника у печки. Быстро-быстро, будто трактор завели. Солдат поворачивался на этот звук и ждал, когда душник утихнет, и думал, что надо будет заткнуть душник какой-нибудь тряпкой, а то ведь может перепугать до смерти под темный час. Солдат был старый, поставили его сюда недавно, сказали, что здешняя служба ему, увечному, как раз под года. Он уже не раз замечал, что некоторые люди проюркивали мимо него без указанных документов, а потом выходили, поддельваясь под тех, которым вход был дозволен – с шумливой шуткой и смехом. Солдат ждал грозы, но все пока проходило без последствий. Иногда по утрам он просыпался на печке грустным, как осенний день. И думал, что вроде он и не солдат уже, а вахтер или сторож. Или еще хуже – его вместо картины у железных, гремливых дверей поставили...

На втором этаже Пассажиры вошел в небольшой зал. Здесь было гулко, шаги четко отзывались под высоким, голым потолком. Стены были тоже голые, на окнах шторы, кругом сильный искусственный свет.

За столами сидели ученые люди. Некоторые из них вполголоса читали вслух, другие что-то выписывали. Вся середина зала была загромождена. Тяжелые станины машин, шарниры, колеса передачи, много и деревянных, из дуба, потемневших и замаслившись в работе частей. В одном месте – наборные кассы и простейший плоскопечатный станок. Были тут переплетные снасти, и разная копировальная техника. Вытяжная труба над линотипом вся раскрашена и обделана лепниной, изображающей мифических полулюдей-полузверей. Кроме этих машин были и другие, похожие на те, что обычно стоят в новых типографиях.

А в стороне от станков – высокий стол на четырех резных столбиках, к нему прилегал приступок для восхождения: крышка разделена надвое, как большая раскрытая книга, только зеркальная, да с боков свисало по гуттаперчевой тонкой кишке. Снаряд самый важный – стенд для испытания слов: им пользоваться имел право лишь зав. мастерской.

Пассажиrow остановился у входа, поставил на пол чемоданчик. Лицо энергичное – отчего кажется помолодевшим. И клетчатый костюм на нем был, как новый, без износу. Что-то жалостливое и жестокое слитно скользнуло в его глазах. Установилась такая тишина, как будто здесь и нет никого, пусто, лишь слышно оцепенелое шелестение, как если к уху поднести коробок с жуками или тараканами. Но вот из-за столов стали приветствовать его: кто громко, через весь зал, поздоровался, кто – поклонился, тот – улыбнулся, почтительно привстал.

Лицо Пассажиrowа, как зеркало, отразило все эти лица, принимая на себя тень того или иного приветствия. Лишь за одним столом, где шел громкий разговор и люди, как нарочно, сидели спиной к дверям, произошла заминка. Пожилой человек в соломенной, не новой шляпе и потрепанной одежке ораторским приемом то и дело вскидывал над головой руку – проглатывая слоги и целые слова, что-то вычитывал из газеты.

– ... Не знали современники, не могли с достоверностью установить историки, – доносились слова, – чьим пером писаны страницы великой книги... А сейчас мы узнали имя этого человека... так вот! Ага... теперитка, слушайте... вот! Историки и математики перевели «Повесть временных лет» на язык, понятный ЭВМ. Сравнили особенности структуры повести с другими произведениями... гм... где авторство не вызывало сомнения... – Он снова воздел руку и откопятил указательный перст, загрубелый, как еловый сучок: – И убедились – таинственный летописец не кто иной, как монах Киевско-Печерского монастыря Нестор! Во как замаскировался, черный ворон монастыря! – разгорячено оторвавшись от газеты, воскликнул читавший и тут, обернувшись, чтобы услышали все, увидел Пассажиrowа. Сухое, морщинистое лицо его, как губка водой, напиталось улыбкой.

– Все политинформации, Петр Афанасьевич... А работа? – ободряюще отозвался Пассажиrow и присел на стул.

– Работы-то, можно сказать, еще и не было... ни план не составлен... ни линии никакой... Кое-кого, думаю, надо заслушать на собрании? – Он вопросительно уставился на Пассажиrowа, от внимания начальника лицо – посветлело, рот – приотворен, взгляд – недоверчив... – В общем, пока не знаю... агитирую или молчу... Помещик один – сознательный, Иван Петрович Белкин, – он кивнул на Белкина, – все, говорит, народу... сочинителю ничего не надо... Не знаю, можно ли его перековать? Он и борьбу классов поддерживает. Был, говорит, помещик Белкин, стал председатель Булкин. Таперитка я совсем не знаю, товарищ Пассажиrow, это намек или исторический факт?..

Булкин, поглядывая на Пассажиrowа, гадал: угодил ли или наговорил лишнего? Стоял-стоял, совсем измучился, потому что Пассажиrow перестал улыбаться и задумчиво склонил голову.

Иван Петрович Белкин, привстав со стула, дернул Булкина книзу за полу. А Булкин все смотрел с лица на лицо, водил очками, крутил головой, как ошалелый.

Люди, сидевшие за столами в мастерской Пассажиrowа, назывались испытателями слов.

Среди них отирался по стенкам тенью – новичок... Разве это Ивняков?! Точно это кто-то другой кривляется под Ивнякова – сам себя он называл Сашкой Глумцом. Личико маленькое, востренькое, туберкулезно серенькое, ямки глаз – глубокие, кепочку мятую почти никогда не снимал: от пышно-кудрявых волос остались одни вихры да косицы. Глаза, печально настороженные, смотрят неуверенно. Костюм серенький, дешевый, вроде как спецовочный. Речь спотычливая, спохватчивая, то и дело проваливается, как в яму, во внезапное молчание... Только глазами голубенькими, апрельскими обводит всех... Вдруг, как закачает с плеча на плечо головой, как запоем басистым, не своим голосом...

Словоиспытатели посматривали на этого новичка с высокомерным любопытством: *костляк*, *дряхлец* – так обзывали они его между собой. Один лишь черный линиялый больничный халат: рот его весело блестел металлическими зубами – приветствовал

его в день прибытия, пожал ему руку, как старому знакомому, и ласково уверил:

– На нас с вами вся надежда у товарища Пассажинова... Будем, как Костя-рыбак, товарищ!

## ГЛАВА 9

Когда Ивняков услышал, как расплываются по весенним, голым еще улицам звуки похоронной музыки, он вспомнил, как работал фотографом и, запечатлевая скорбную процессию и последнее прощание с усопшим, частенько участвовал в поминках.

– Кого это хоронят? – спросил он автоматически у знакомого встречного человека.

Человек ответил, что хоронят старую учительницу, ту, что носила зимой мужскую кроличью шапку-ушанку, медленно переваливаясь на больных ногах; муж у неё погиб ещё на фронте, и больше замуж она не выходила.

И от автоматического вопроса, и от равнодушного ответа встречного человека, который еще сказал: «Ты куда? А!.. А я – туда!» – где-то далеко-далеко, там, где кончалось все то, что знал и думал о жизни Ивняков, встала и пошла тень полосой по душе. Это мысль о смерти. Но, как и прежде, не обрета ясности, прошла и потерялась в мелькающих событиях памяти. Он подосадовал на тень, зачем она тревожит, и привычно, одними внешними мыслями стал сетовать про себя, что ему скоро сорок лет... что беден он... что он ничего не сделал... Тогда мысль о похоронах опять явилась в душе странной в такой весенний день свежей ямой – с отвала её блеснула на солнце красная улыбка могильной глины. Думал так без особой силы, а сам шел к крайнему дому на улице, упиравшейся в сосновый бор; без плащика своего, надоевшего, и без кепки – волосами, отросшими до ушей, приятно чувствуя льющее солнышко.

Шитиков дал Ивнякову большой запечатанный конверт и велел отнести в дом Григория Паялы, к его квартирантам. Ивняков, как это часто случалось в их отношениях, немного понедоумевал

для виду. Зачем я пойду к такому человеку с пакетом? Вы сами не можете? Но Шитиков смотрит как-то даже торжественно. Ивняков раздосадовался по-настоящему и хотел было уже наотрез отказать. Пробежись сам, твоей сидячей работе не повредит! Вон, Тускляков, каждое утро по сосняку бегают для здоровья!

Но Шитиков, не слушая, глядит так, будто его на облаках возносят. Потом подмигнул, как клоун, и возгласил:

– Больше я тебе, Александр, не учитель! Все, что могу я, то и ты можешь... Смотри сам, не хочешь стать настоящим поэтом, не ходи... Сожги этот пакет. А хочешь – иди немедленно. А в залог тебе последний совет – как на ту улицу Горького войдешь, не оглядывайся. А как начнешь идти по ней, разверни пакет из газеты. А когда узнаешь, кому его отдать, и найдешь нужных людей, впрягайся в свое дело. А еще внагрузку... хе-хе, последняя просьбишка. Загляни-ка ты, Саша, не лежит ли у них под лавочкой во дворе чего, и, если лежит, то принеси его мне...

В конце этого напутствия, Ивняков не выдержал, засмеялся... Сорок лет скоро, а все, как... Тут он произнес про себя очень черное сравнение и, задумавшись, окутал свою душу облаком щекочущих тщеславных мыслей... Да вдруг, как укол: стоп, да я же оглянулся! Он дернулся, как от наскочившего автомобиля, и тут же стал успокаивать себя, что он еще не вышел на улицу Горького, упирающуюся в сосновый бор, пока еще улица Мологская. Оборачиваться еще можно!

И с минуту, пока шел по Мологской, с удовольствием глядел на старые светелки, светло-серые дощатые заборы. Бесцельно сломил и положил в карман сосульку камеди со старой, растопыренной рогами сухих сучков вишни!.. Дойдя до проулка, у стадиона он оглянулся еще раз, нарочно. И увидел в палисадниках, дымчато сияющую от зацветших черемух и яблонь, Молгскую – так обычно в здешних уездных городах называли улицы, выходявшие на дорогу к городу Мологе, давно затопленному.

Прошагав еще для верности шагов сто пятьдесят, у дома, где жила Секлетей Грязнова, Ивняков прорвал газету, в которую был завернут пакет: «Илье Муромцу и Ивану-дураку (лично!)» – было крупно выведено на нем.

Ивняков, так его настропорил Шитиков, даже не удивился: он находился как бы в двух мирах: внутри себя и – одновременно оставался вовне; и в обоих – по-будничному привычно, пусто. Нет, не такой бывает душевная минута вдохновения... К избе Григория Паялы подошел с какой-то ожившей надеждой, но и с опасом, гадая про квартирантов: неужели это из того же пирога начинка, что и Шитиков, то есть *образные люди*... или просто *чернушники* какие?..

## ГЛАВА 10

Мы боимся, что умершие остаются позади, в пыльной паутине древности, но проходит время – и они оборачиваются просветленным лицом к нам – это, в сущности, сама непреходящая вечность выворачивается из-за нашей спины. Надо лишь уметь её видеть... Умершие в старину – передние люди. Они не позади, а впереди нас: уже обрели мир вечный.

На словоиспытателей же здесь, в мастерской, *находило задумье*, как тут говорили; то есть иным из них мнилось, что они смотрят только сзади, из своего прежнего времени. Кто из конца восемнадцатого века, кто, как барон Брамбеус, из тридцатых годов девятнадцатого. Они не видят законченности в передних людях. В этом их сходство с теми современными людьми, которые думают, что все, что было раньше, только присказка, а у них впереди – сказка свободы и невиданных материальных благ.

А Ивняков-глумец не имел полной доверенности не только к их болтовству, но и к своим мыслям – он не мог точно даже уяснить себе, как же его Шитиков перебросил сюда, в словоиспытательную мастерскую?..

Первое, что он услышал. Толстому и Достоевскому, Тургеневу было хорошо – погрузили себя во глубину книжную вековую, и вынесли оттуда, как драгоценные жемчужины, образы своих сочинений, которые попали на пустое духом береговище двадцатого века, и в пустоте и убожестве варварства среди машин они и кажутся современному миру удивительно великими!

Но если смотреть на них от корней-то, сзади, хоть из жаркого лета 1833 года, то сзади-то, еще не вынырнувшие из глубины, они, как и все мы – лишь рядовые сотрудники, словоиспытатели, как и ты, Порфирий Байков, и ты, Гомозейка с бароном Брамбеусом! То есть там – срез, спил мысленного дерева, а мы здесь, испытатели слов, – зрим в корень!

С тамошнего, то есть нынешнего русского береговища *дряглецов, костляков, брюханов и вещелюбов*, как именовали нас словоиспытатели, и приткнули к ним Сашку Глумца. Поэтому и смотрели на него свысока. А Булкин наговаривал всем, что Сашка попал сюда по ба-аль-шому благу!..

Словоиспытатели *в задумье задом-наперед* видели будущее: так малые дети, путаясь, задом-наперед надевают рубашку. Но знали они или нет, что несовершенные образы *задом-наперед* одетые на душу, которые на них находили, ущербны – вредят, умаляют бытие и своего носителя, *ведца и слышателя*?.. *Задом-наперед образы могут лицом* заявиться и заявить: гоп-гоп! ты умален – ты сам мой отслок, а не я – твой!

Ничего они о том не знали. (А если кто и знал, тот сказать – не решался). Поэтому и слова, скупленные Шитиковым и Тускляковым (о втором открылось это много позднее) они покорно перерабатывали, а в России силу такие, *проданные слова*, светозарные словеса, звезды мысленной тверди, – теряли.

А тут вокруг все работало. Где-то в машинном отделении под словоиспытательным залом уже было наготовлено словоматериала. Получался он хитрой перегонкой-перекалкой – цветные кирпичики, скипочки, изразцовые плиточки слов помещали в словоохватное приспособление. Некая сила заставляла раскаляться слово, и оно вспыхивало и, как призма, преломляющая белый свет, испускало из себя семицветные лучи-рога на заключенные в большие свечи человеческие образы. Каждый словокирпичик имел свои особенности, в каждом – свои лучи сильнее: то впрозелень, бутылочный; или красный, как задний фонарь у автомобиля; в этом – желть, тот в прожилках, наподобие мрамора; тот в затенках, либо в крапе каком, как бы дымком изнутри схвачен.

Один кирпичик перегорит, другой вставят. После долгого облучения словесными лучами заключенный в свече образ развоплощался, оплывал прозрачной буроватым составом, глыбился туманно *сияющим веществом*. Сияние зависело от того, каким лучом дольше облучалась свеча, и переливы выходили разные, но все они были замешаны на основе пода, то есть на основе охряно-бурого цвета. И еще – протянешь руку к нему, как к костерку и поймешь – да это сияние вещества было живым и по-волчьи злым!..

Затем сияющее вещество разделялось на пряники словоматериала – для вторичного использования... Так ли, или совсем не так? Но кто досконально познал мир словесных испытателей? И я, как и поступивший к ним образ Ивнякова, не могу полностью довериться гадательным мыслям в области, где положены границы человеческому разумению. И так уж непозволительно далеко я вступил туда. Но, хотя наше пристрастие человеческое к вещам чувственным мешает видению вещей мысленных, таинственных – выхвачу наугад еще несколько образов испытателей слов, явившихся внутреннему зрению на зыбкой карусели личин и псевдонимов.

## ГЛАВА 11

Ну и лица! Какие-то все рожистые... У Ивана Петровича Белкина, и у того, хоть и приятная внешность, а все равно, будто на убой раскормлен: щеки красные на плечах лежат, подбородок белый – на груди. Будка будкой! Все лица застылы, малоподвижны, наверное, от величины: нервы устают управлять мимикой, передвигать такую массу лицевых мышц. Было заметно, как телодвижения, жесты, а больше всего речь не приставала к лицам – убегала вперед. Фаянсовой тарелкой долго сияла улыбка, а слова летели изо рта унылые. Изменялись маски лиц медленно, точно выливались из воска. Были тут, конечно, и откровенно полоумные.

Пожавший руку отстойку Ивнякова рослый человек в черном больничном халате, в белых подштанниках вдруг сказал:

– Товарищи, теперь послушайте концерт, подготовленный силами нашей мастерской... – И он умиительно улыбнулся.

За спиной его послышались восклицания, но относились они не к больничному халату, а к Пассажирову, Он только что отнес чемоданчик в свой кабинет и вернулся.

– Мы готовы продолжать постановку вашей трагедии! – сняв шляпу, склонился к Пассажирову розовый глобус, реденько утыканный соломкой, точный образец того, как должен разговаривать мелкий начальник с крупным начальником. Мелкого начальника все называли Порфирием Байковым. Пассажиров, глянув на него мельком, но внимательно, хотел что-то сказать, но только кивнул озабоченно.

Бесталанный Ворбаб, Гомозейка, барон Брамбеус... Были тут и Журналист, и Философ, и даже Магнетизер, черный, лохматый, похожий на ворона. Всем им вдруг передалось неустойчивое ожидательное настроение Пассажирова. Ученые люди стали поглядывать друг на друга, вставали перед зеркалами, которые самых разных форм: и маленькие, как из дамской сумочки, и в полный рост – тускнели в проходах между словоиспытательным оборудованием... Покивывали главами, покачивали лицами... Петр Афанасьевич Булкин зашел к Пассажирову с тылу и хотел что то сказать, но не к месту чихнул, зажав рот ладошкой: звук получился тпрукающий.

А человек в черном халате пригладил ладонью поседевшие волосы:

– Теперь спою я...

Мягкая, надолго растянувшаяся улыбка прилипла к его лицу. И она была чужой, забытой, наверно, все, что у него осталось от прежней, растерянной давным-давно жизни, как обручальное колечко у заброшенной, зажившейся на свете старухи. «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил. И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил»... – чужим голосом запел он... И замолк, и улыбка еще долго усачивалась в большое, старое, обмяклое лицо. Затем лицо изнутри наполнилось, будто подперлось, озабоченностью:



– Входил в пивную – и все вставали?! – поражаясь тому, что он сам от себя услышал, толковал он окружающим, которые, привыкнув к его концертам, не обращали на него особого внимания. – А в пивной, скажите, что за публика? – продолжал он вдумчиво и с насмешливым изумлением. – Да и та вставала... Ну, знать, и кулак был у этого Кости! Как подвезет-подвезет... – И, улыбаясь, снова показывал серые, в гниlostной желтизне зубы, и щурился сладко...

Пассажиrow сделал выговор за то, что испытатели слов без должной экономии обходятся со словоматериалом:

– Природного живого слова, господа, теперь напокупаешься. Где его взять-то мне – дефицит! – Втолковывал он, нетерпеливо поглядывая на зеленые шторы в противоположном конце зала, где находился его кабинет.

– Так за такое судить надо! – боевито вывернулся грудью вперед Булкин. Лицо усохшее в багровых пятнах, кулаки сжаты. – А трагедию остановить ни нам с вами, ни даже товарищу Пассажиrowу никто не позволит!

– В живых словах, как в семенах, попадают такие, кои одеревенели от болезни... – решил объяснить Белкин, – Деревенеет, а то загнивает, яровизации не поддается сие словесное семя... Приходится его...

– Я и говорю – судить надо!... Не нас, а их – кто вредительством занимается! Нам с вами, товарищ Белкин, и порицания хватит... А они там, понимаешь, челюпкаются, – ткнул Петр Афанасьевич в пол своим, как еловый сучок, указательным перстом: – Если овца окотилась, так вы мне и подавайте: «овца окотилась, а не «принесла ягнят»! А то пишут, черт знает что: «снятие шерсти с овцы»... Это вместо – острига! Снять можно только шкуру!..

И Петр Афанасьевич, поводя тусклыми стеклами очков, увидав, что вопросов нет, все понятно, и, пройдя между застыло слушающими словоиспытателями, приколот кнопки на стену газету с заметкой о Несторе, очерченную красным карандашом.

Пассажиrow расхаживал за спинами, наблюдая за работой. На лицо его постепенно напозла задумчивая, злая полуулыбка: с ней он и ушел в свой кабинет.

Личины словоиспытателей и так-то были пустыми и неподвижными, а тут даже и следы жизни с них совсем сошли или вся жизнь повернулись внутрь? Всеми опять овладела какая-то сонливая оцепенелость. Медленно, вяло по-стариковски разбрелись по залу. Кто побойчее да поумнее – окружили барона Брамбеуса.

– А кто он такой? Председатель колхоза, да и то бывший, – незлобиво, но горячо говорил о Булкине барон. – Кладовщик!..

– Должность подходящая, – уныло выговорил Порфирий Байков из-под обвисших полей своей шляпы, похожей на ту, что носил Булкин – только тот сбивал её на затылок.

Барон снисходительно скривился.

– Я, когда жил в Петербурге у Синего моста... – начал было Порфирий Байков, но спохватившись, замолк.

Барон, наклоением головки показав, что понял недоговоренное, продолжил:

– Вы же все знаете, что и я прежде при наиважнейшей канцелярии состоял... Но позвольте ли вы, господа, вселить надежду в ваши сердца?..

Слово «надежда» заставило всех придвинуться к барону теснее.

Все воробьиное, невзрачное личико его задергалось. В отличие от других словоиспытателей у него была очень маленькая голова и, точно трость с костяной набалдашиной, вертелся и наклонялся он среди личистых своих собратьев, бывших и ростом ему по плечо, а то и ниже. Он, и голос понизив, принялся называть имена и титулы ученых людей, с коими труды делил. Титулярный советник Василий Кириллович Тредиаковский. Статский советник Бобров, который во всяком слове – начало и конец, жизнь и смерть определяемого им предмета видел... Древнюю ночь вселенной описал! Алексей Васильевич Тимофеев – у этого душа была свежая. Не забыть его «стихи заупокойны». И так барон перечислял всех, кому однажды, представьте себе, господа, семь мешков слов в одну ночь в кабинете разобрать было велено и составить статейный список!

862 слова перебрали, во как! Те слова вроде муравленых изразцовых плиток были... Лежень, комель, верлиока, суслон, ошметки, позимье, сеностав... ет кетера, ет кетера, господа!.. И заключение сделали правильное, что эти слова из...

Все, слушавшие барона, стали оглядываться: вспоминал он запретное. Один только Порфирий Байков, как и положено начальнику, отозвался:

– Там только перебирали их да описывали! А теперь мы тут челюпкаемся, как Булкин выразился. Перегоняем слова на цветные осадки, коричневые смолистые вещества и пар... Хм, за что же лишили вас вакансии и первели к нам, химикам грешным?

Барон молчал, видимо, не решаясь ответить.

– Не одного меня, а весь кабинет лишили вакансии, – наконец, сказал он самым равнодушным тоном.

– Почему же? – снова пристает Байков.

– А вы разве не знаете, сударь, почему? Извольте не позволять себе таких неучтивых вопросов...

– Ах, прошу извинить, да только в чем же ваша надежда, которая должна в нас вселиться после вашего рассказа?

– Вы бы не перебивали, господин Байков, давно бы уже о том уведали.

Бесталанный Ворбаб поворотил закаменелое лицо свое к господину Байкову и попросил его не предаваться раздражительности.

Порфирий Байков поуспокоился и сказал смело:

– Я тому, господа, огорчаюсь, что думаю, а куда нам всем после постановки трагедии прикажут идти? Не то же ли с нами будет, что и с вами, барон, в том ученом кабинете учинили?

– Я как раз об этом и говорю, – подхватил барон поспешно. – Я чувствую, что наша служба коим-то образом связана с нашествием силы нездешней на царство, где Ианушка-дурачок государем был... А вы еще, господин Байков, спрашиваете, как я здесь оказался? По заовинью бегал, по заугольям тыкался, ха!..

Он замолчал, успокаиваясь...

– Слова, которые выдает нам господин Пассажиров, очень похожи на слова из тех семи мешков. Вот в чем дело: вы понимаете?..

Пестерь, лежень, комель, верлиока, суслон, поглазилось, сеностав, ошметки, калечь, лучина, исщепать... Это они, господа! – воскликнул опять барон, верно, сам пугаясь своего угада. – Теперь мне не придет в голову мальчишеская выходка, что они – минерального происхождения!..

Порфирий Байков, Философ с Магнетизером, Бесталанный Ворбаб заволновались. Ворбаб заговорил трудно, учительным, точно из-под забрала выходящим голосом. Но его перебил Магнетизер:

– Значит, вы подозреваете, что... что... – Он не мог выговорить от трясения челюсти.

– Он похитил и похерил слова матери-сырой земли из тех семи мешков, упавших с неба... Из Голубиной книги несколько листов было вырвано... – шепнул Брамбеус. – Затеваешь что-то такое... недоброе ...

– Булкину о том – ни слова! – остановил его Порфирий Байков. – Он с Пассажировым в сговоре...

– Не зря он все про сельское хозяйство да про землю говорит... – сказал барон. – Значит, знает... А откуда? – И барон стал припоминать вслух слова Булкина: «засыпать закрома, яровизация, протравка семян... я полвека в сельском хозяйстве»...

– А зачем Булкин в своем выступлении сказал, что овца – укатилась? – вдруг выкрикнул Магнетизер, уже не владея собой от страха и пятась от заговорщиков.

– Не укатилась, а *окотилась!* – поправил его Гомозейка, рассудительно молчавший все время разговора.

– Вот-вот, именно окотилась... Я этот самый случай и хотел сказать, – бормотал вороновидный Магнетизер. – Неужели, когда мы закончим словоиспытание, нас остригут, как овец, нам обреют виски? Не трудно заключить, что это – их пароль! Знак нашей гибели... О, зачем я, глупый чужеземец, вылез тогда из дилижанса и заключил контракт на работу в мастерской?

– Пассажиров – тоже чужеземец, – сказал к чему-то Гомозейка.

Твердый голос Гомозейки придал бодрости Магнетизеру. И все разошлись по своим местам. Наверное, в их сердца вселялась надежда.

Порфирий же Байков решительно подошел к *костляку и дряхлецу*, сидевшему тихо в уголке и стал его о чем-то выспрашивать:

– Я за необходимое считаю войти в некоторые на сей счет, особенно с вами, объяснения...

Тот, отшатнувшись от такой суровости, глядел подозрительно на байковскую шляпчатку и плащ-балахон, отвечая: «нет-нет»; хотя ему, так же, как в прошлом под лихой час настоящему Ивнякову в Ярославле, почудилось, что он где-то и когда-то встречался с этой «шляпой».

## ГЛАВА 12

И так все они вяло двигались, как цветные, странные рыбы в огромном аквариуме: в местах, где свет был ярче, будто уплотняясь телами. Пошли опять, овладев всеми, полугласные разговоры о том, кто же он таков, их начальник?.. Покачивали главами, глядя друг на друга, обвиняли, кто себя, а кто других – в неполном уме.

– Уже были такие, кипятились, как известь-кипелка, да на каждого хватать пришел! Что, не нравится?.. Ха! – отвечали обвинителям.

Бесталанный Ворбаб тогда сказал:

– Странная наша жизнь! Почему так безотрадно сжимается сердце? А, может, мы живем в прошлом времени? Прошлое то, что прошло – и мы живем в этом прошлом, а считаем его за будущее?..

И он ходил по мастерской, не видя ничего, будто бы окутанный облаком; выкрикивал парадоксы; смотрел, как недужный, и снова начинал свое:

– Были великие сочинители: а мы думаем, что мы живем после них, на самом деле мы живем еще до них... нигде... Или там, где еще писать-то не начал, а только придумал себе анаграмму, личину сочинителя – это есть прокрутка вхолостую... И мы, похоже, – прокрутка вхолостую... в чьей-то трагедии!..

Магнетизер лечил его – не вылечил.

– Порядок слов в его душе еще долго не восстановится! – объяснял он. – Бедного Ворбаба поразила некая, трудно уразумеваемая мысль...

Иван Петрович Белкин, несмотря на такое заключение Магнетизера, слушал Бесталанного Ворбаба со вниманием. Но вклинивался в разговор с какой-нибудь своей газетной побрякушкой боевитый Булкин и начинал отвлекать Ивана Петровича...

– Что ты, Бесталанный Ворбаб, толчешься, как слепая кобыла, разве может прошлое после настоящего быть? Учение, брат, учение – всему голова... Я ведь тоже, будучи передовиком производства, на курсах пропагандистов учился. И в прошлом машин много было, а ты его хулишь! Вот, слушай, товарищ Ворбаб, какую заметку мне словолитцы дали! В «Ремесленной газете» напечатана: «Фабрикация бумаги из древесных волокон в настоящее время достигла такой степени совершенства, что в тридцать шесть часов можно преобразовать ствол дерева в журнал, совершенно готовый для выхода»...

– А зачем он, журнал? – подымал вверх кулаки Ворбаб. – Наружное утеснение и оскорбление внутреннее!.. О. небо, дозрею ли я когда до важной вечности?..

Петр Афанасьевич, не слушая его, шел вывешивать статейку, под которой красным карандашом было выведено: «Ремесленная газета», 1888 г. №40. Вывесил П. А. Булкин».

Философа слушали охотнее, может, и от того, что говорил он только страшное:

– Как вы, дурачки глиняные, уволитесь? Вы же в нем, в Пасажирове! Вон за тем зеркалом стоит вещественный образ человека: лик в лавровом венке, а на затылке, с тылу – с рогами лик... Вот вы, как бы со второго лика, с затылочного, тыльного – окраска... или сама полива, коей этот образ замуравлен. Ваш состав получен из остаточного материала перегонки слов. Может, и вы-то сами из того же состава. И теперь сами перегоняете слова на ярь-медянку, червец да сажу, прости Господи!... Выгоняем из слов силу, лишаем их остроты...

И посылал их посмотреть на себя в зеркало, и «нечего на себя пенять!». Но другие назвали это «своемуим».

А внизу солдат, стоящий на посту, пел: «За царя и за Россию мы готовы умирать... За царя и за Россию будем мы на штык сидеть!»

Слова Философа быстро надоедали – тогда отходили к Булкину. Булкин, сдружившись с Журналистом, напали на Бесталанного Ворбаба и так его отчехвостили, что у того и *задумье* прошло... Он встал столбом, собирая в узел мысли, с пунцовыми пятнами на лице, признаком внутреннего огня.

– Наденем мы на тебя железные нарукавники, мотри! – нагло предупреждал Бесталанного Ворбаба Булкин.

И думал, поворачивая всю свою душу внутрь, Гомозейка: «И я тоже я от одного к другому хожу, как слепая кобыла, пути не вижу...» Гомозейка больше помалкивал, а то рассказывал какие-нибудь пестрые сказки, чтобы скрыть свой большой ум и выглядеть среди испытателей слов простецом.

– А мне, – понимающе открывался ему Порфирий Байков, – многое уже понятно... Я, брат, дорогой Гомозейка, люблю за зеркалом смиренхонько посидеть, отдохнуть – тихо, хорошо... – Указал он на большое, как чертежный щит, зеркало, у стены и даже пропел с чувством: – *Ты стра-сти зло-о-й не зн-ая-а...* – И прошептал несколько слов на ухо Гомозейке так, что нельзя было разобрать...

– Правильно! Правильно! – подхватил Гомозейка: – Безотрадный, но целебный одиночества удел!..

Барон Брамбеус, опустив глаза на свои блестящие ботфорты, мягко упрекал всех, что тайночувствие у них погасло, а мысль – заскорбла...

– Это потому, что мы не спереди, не сзади, а нигде: отстойки, никто! – толкует своё Ворбаб, опечаливаясь большим умным ликом.

А Порфирий Байков гнул в другую сторону, как положено, хоть и мелкому, но начальнику:

– Зато мы из этого своего «нигде» или прошлого, как вы сказали, господин бесталанный, всё видим... Всегда стоим и видим, каково оно с корня-с! Все-таки – вперед зрим...

Бесталанный Ворбаб, отходя, понёс уже и вовсе не своё. Бормотал себе, как самоговор: «Когда все скрыться и бежать потчатся, но нигде же им не будет избавления от скорби, но – глаза и жажды страх!»

– Что – опять *нашло*? – прикрикнули на него Журналист с Булкиным.

Так они затевали привычно споры, суетились, приводя в готовность все способности и силу к новому испытанию, а где и скрывая свои помыслы за пусторечием и хитрословием. Эти рассуждения не только в Ярославле, но даже бы и в Москве могли показаться своеумием подозрительным, *не санкционированным*. Язвительные намеки на власть, а то и *призывы!*.. С ними подробнее можно познакомиться по протоколам словоиспытательной мастерской...

Пассажиры же, как ушел в кабинет, так и не возвращался. Солдат перепел все песни, которые знал – начал те, которые помнил в обрывках, про железную дорогу: «Самосвист замысловатый, знать, заморский, хитроватый»... Потом он перешел в свою караулку, поел и стал читать одну единственную книжку, которая была у него, про Фому и Ерему:

«В некоем было месте, жили-были два брата, Фома да Ерема, за один человек, лицом они одинаки, а приметамы разны: Ерема был крив, а Фома с бельмом. У Еремы были гусли, у Фомы орган. Разгладили усы да и на пир пошли. Стали они, два брата, пивцо попивать. Ерема наливает, а Фома подает. Сами они друг другу говорят: «Брате Фома, добре ли попил?» Фома говорит: «Чего попил, когда нет ничего»...

Старое, загрубелое лицо умягчалось слабенькой полуулыбкой – рывком от глаз до морщин около усов – будто кто-то светом проводил по лицу. Солдат начинал раздумывать про то, почему Фома и Ерема одинаки? Можно бы было и про одного, про Фому, для краткости, донесение составить, но тут расписано и про Ерему... А чем Ерема от Фомы отличается? На Ереме шапка, на Фоме – колпак. Ничем! А все-таки двоим-то поваднее...

И он дочитывал злоключения Фомы и Еремы до того места, где кулакастый Парамошка сшибает братьев с ног... И дальше

читать не мог от жалости к ним... Закуривал трубку, представлял, как еще издали, завидев его, Парамошка отступает... А солдат догоняет его: стоять!.. Делает ружейный прием штыком и... И все-таки на середине реки на них наехали лихие бурлаки и – утопили.

## ГЛАВА 13

Вдруг вся мастерская, точно дернулась куда-то – это замигал сигнальный свет, искусственный, раздражающий, он точно опахивал до сердца. Возникло ощущение движения: мастерская, как вагон в туннеле, выдергивалась из темноты и снова гасла. Мелькали блики зеркал; картины, обернутые тылом, верно, недописанные. Вытягивались тени от оборудования; словоиспытательные снаряды гудели медным натужным звуком.

Свет продолжал мигать и качаться, как одинокий фонарь под железным колпаком от снежного ветра на уездной улице, где-нибудь в тупичке, выходящем в поле с торфяными прудами. Тень Пассажинова – тулово во всю стену, голова на потолке – одним и тем же чувством пройдя по лику каждого словоиспытателя, выступила и снова втянулась в кабинет. Подручные его с напряженно сжатыми фиолетово-желтыми масками встали по своим местам у зеркал.

– Ну, сейчас он учинит спрос! – зашелестел шепот словоиспытателей. – Вы слышали шаги по черной лестнице?.. Это она... Чу!

И все увидели, что в темном, жидком свете у кабинетной двери стоит маленький, толстый человечек с отечным оловянным лицом идиота: губы торчат вперед:

– Вызывают Байкова...

Понуро, как на смерть, потащился Байков в кабинет; бессмысленно, будто чужие: «Пометал всех в свое упрятнице...» – слова оборвалась в нем. Теперь все смотрели на его тень. Вот она широкоштанно встала у порога, покачалась из стороны в сторону и тут же, точно проломилась, расплылась в цветное мутное пятно, как потерявшее резкость изображение.

А то, что осталось от Порфирия Байкова, вошло в кабинет: в него смотрели глаза той, что стояла у зашторенного окна – из глаз, с черного лица лилась тьма, темный, пронзительный свет, тронутый кое-где бронзовым, странным крапом. Хотя она тотчас же и отвернулась к мраморному камину, на котором старинные часы всегда показывали полночь, мгновенного излучения ее глаз было достаточно, чтобы превратить Байкова в то, чем он стал...

Багрово рдел каменный уголь в камине. А, может, тьма эта шла и не из ее глаз, а таким особым был сам воздушный состав в кабинете? Но теперь Байков не мог понять, поскольку он сам стал частью этого состава. Теперь у него вместо головы в шляпе мерцала землисто-оранжевая глыба даже не разряженного вещества, а скорее света, пропущенного сквозь коричневые стекла. Глыбы такой же светящейся глины торчали на месте груди, остальное – томящиеся, невнятные пятна тусклого газа, в которых не сразу можно было уловить очертания человеческой фигуры.

Да если бы на это привидение цветное наткнулся, вошедши, живой здоровый человек, душа бы его заледенела. И перестала бы быть душой – подыми он глаза вверх! Там, под потолком, на стене, за спиной хозяина кабинета стояла, как будто бы его тень... Так только приблизительно можно было назвать то страшное, что было не тень, а самостоятельное существо, прикрывшееся человеческой тенью. По очертаниям это был квадрат черный с треугольником носа, дальше – туловище мешком, и рычаги коротких, толстых рук. Будто нарисованный живой тушью получеловек-полумашина с незатушеванным провалом вместо лица. Он был плоским, двумерным, то есть имел такую малую толщину, какую может иметь слой краски на бумаге, но плоскостной человек этот был не из мертвой черной краски, а из живой!

Если и в камне есть своя заснувшая минеральная жизнь, и она переключается своим бликом с жизнью другого, лежащего рядом камня и что-то доносит, то в этой черной квадратной фигуре не было никакого говорения. Тут всё была смыто до того, что стоит за жизнью: до тяжелой пустоты давящего небытия, выразить какое уже не в силах даже предсмертный вопль. Тут душа в ужасе теряет и крик и себя.

Он самостоятельно, оставаясь все таким же плоским, отрывался от потолка, машинными рывками спускался, нависал над головой Пассажира и внезапно тем же мощным рывком возвращался на потолок.

– Так-так-так! – сказал начальственно Пассажир – и все три «така» – ударили, как зеркальные зайчики, которые пускают мальчишки, в призрачное вещество Байкова, и оно, ударенное ими, поддернулось к столу и назад...

Пассажир дребезжаще засмеялся, и землисто-оранжевая голова развоплощенного Байкова завибрировала, будто по ней пропустили ток, фигура его задергалась, растянулась почти до стола, и хищно, рывками спустившись, завис над Порфирием давящий черный получеловек-полумашина, будто, не видя и не зная, кого надо схватить.

Не было у Порфирия Байкова ни слова, ни голоса. Пока Пассажир говорил, словоиспытатель дергался, как тень, от его речи. Или это и была сама речь, развоплотившаяся, ставшая как бы движением вещества? Может, Байков и отвечал, но – в Пассажиrove. Потому что Пассажир говорил, будто перебивая кого-то и прыгая с предмета на предмет, круглое и широкое, как сковорода, лицо его кривилось:

– Значит, вы хотите с затылья, с хребту зеркала отирать? В будущее попасть – оставаясь прошлыми, ого!.. В тылу отсидеться! Вот почему ты, Порфирий, так слабо курировал!.. Сыграл им на руку, а?!.. Не помог кирпичу уличить Кашкаданова, что это он смастырил фальшивые документы! Тогда бы сыскные люди там задержали одной группой его с Иваном-дураком и Ильей... Не задумал ли и ты, как Кашкаданов, увильнуть? Пришлось беглеца так... развоплотить... Разболтались, пока я там...

И с этим словом он подскочил к полуразвоплощенному Байкову и, замахнувшись, ударил. Черный прямоугольник придавил Байкова сверху, и весь кабинет пригнела такая тяжесть, что все звуки хрупнули и угасли, хотя по лицу Пассажира было видно, что он продолжает говорить. Само пламя в камине неподвижно заторчало вверх яично-желтым гребнем, мертвенно клонясь на сторону. Окрашенный им багрово-алый воздух застыл, и Пассажир, вытаскивая ноги и руки, как из трясины, тяжело плавал

в нем, расталкивая остатки Байкова, пока не остались от того туманный крап да несколько цветных завитков.

Двери отворялись, и входили другие словоиспытатели, и их сшибал с ног, плющил в цветные лужицы и пятна давящий силой состав кабинета. Пассажир эти остатки, как павлиньи хвосты, перемешивал в равномерный цветной раствор, и сам уже едва двигался в нем от усталости, вязя руки и ноги, как ожившее в древнем янтаре насекомое. И на черном квадрате лица под толчком, на месте глаз и зубов, мертвенно засветился фосфор, как будто в черноте этой морды протерли отверстия до того материала, на котором оно жило. Свет от него был холодный, бледно-голубой, бесчувственный. Сквозь черный квадрат он мертвел отдельно, сам из себя, как оледенелая молния. Да это и был не свет, а вещество, захотевшее стать светом, раскалившее себя до возможного подобия света.

И уже не один, а целый полк полулюдей-полумашин – рывками, как сами из себя, то возникали, то исчезали, опускаясь, отяжеляя цветной морок кабинета. Они тоже были двухмерные, плоские, как вырезанные из листов бумаги на поверхности тьмы, а тьма за ними была их бесконечной глубиной. Воздух во многих местах стал таким плотным, будто схватился дымчатым кварцем. И теперь почти было не видно, как у зашторенного окна, где скрылась таинственная женщина в темном, трепетал отдельно от цветного морока тонкий, серебристо-дымчатый образ. Опустив руки на колени, склонив голову, струясь и исчезая, и, вся сотрясаясь, она то ли рыдает, то ли хихикает беззвучно. Звук этот жил где-то отдельно, искаженно – точно колокольчик за каменной тяжестью, выдавившей из кабинета все живое.

## ГЛАВА 14

В двери громко застучало и два раза крикнуло:

– Дядя Гриша! Дядя Гриша!..

Ивняков вздрогнул: что такое? Дверь отворилось, за порогом стоял Коля Волнушкин, почти квадратный человек лет за пятьдесят: на нем пиджак на голое тело, на голове склонились остатки

волос, лицо испитое, тоже квадратное, глаза синие, подслеповатые, как заплатки на лице, смотрели страдальчески, но как-то неопределенно: нельзя было понять – что во взгляде.

– Можно к вам? – будто в себя, в пол сказал Коля Волнушкин и переставил через порог один огромный зимний ботинок, незашнуренный, обутый на босу ногу. Так же медленно, чтоб не спал, с таким же изрядным стуком переправился через порог и второй ботинок. Затем оба, как лыжи, поехали к столу, где стояла большая темная бутылка дешевого вина, называемая в простоте «бомбой».

– Входи, Коля! Тебе что? – сказал Паяло, и на лице его дернулась тень убрать со стола початую уже бутылку. Коля, почуяв эту тревогу, вздохнул шумно и деловито: с трясением, как это делается при торжественных случаях, и с приветливым приклоном пожал всей компании поочередно руки, но лицо его по-прежнему оставалось неопределенно страдающим, будто он, глядя – не видел, слыша – не слышал. Илья Муромец удивился, в какие широкие штаны был одет Коля: целый матрас – ширинка висит на коленях. Илья похвалил себя, что не поддался его обманчивому, побогатырски широкому виду, а то бы пожал ему руку во всю силу – и потек бы у Коли Волнушкина сок из пальцев.

– Дядя Гриша, не дашь ли мне мастерка, я свой оставил у Бориса Адова, да должен ему три рубля... Чем к нему идти – не дашь ли ты? – живя лицом и глазами будто отдельно от этих слов, как бы в одно слово пропел-проговорил их Коля Волнушкин. И опустил голову.

– Бери! – сказал Григорий и вышел в сени за мастерком.

Волнушкин поднял глаза и так осмысленно поглядел на бутылку, что ей, наверно, стало страшно. Столько было в этих глазах голодной пустоты, бессмысленной муки – от всего его вида так и тянуло пропившейся нуждой, перегаром табака и пустым желудком.

– Да куда же я его заткнул, дьявола? – ругался в сенях Григорий Паяло.

Ивняков задергался под бессмысленно давящим взглядом Волнушкина. Илья Муромец отвернулся к окну: «пам-пам-пам!» –

на губах. Иванушка-дурачок, наоборот, глянул остро подозрительно, и Коля Волнушкин, чтобы заполнить это давящее молчание, заговорил так же и теми же не своими словами, как и при пожатии рук. Спросил, как дела, и все ли в порядке? Помолчал, и когда глаза чуть прояснили, а лицо наполнилось некоторым смыслом, хотя и не отрывалось от бутылки – и, видно, борясь с этим томлением – губы беспокойно пожевывали: вытолкнул первое, что в голову пришло:

– А я печку здесь неподалеку у одной старушки кладу...

– Колюха! – крикнул горячо, будто чувствуя, как неуютно приходится там бутылке, Григорий. – Иди, бери мастерок!

Колюха, точно провалился в себя, остались одни глаза – жалкие, мучающиеся: так и переправился через порог, не закрыв за собой дверь, чтобы не отсечь надежду. Но Григорий Паяло не пригласил его к вину, оправдывая себя так: раз идет работать, нечего с толку сбивать...

Чу, поехали ботинки по двору... Чу, остановились... Зачем это они остановились? Затем, что душа осталась там, у стола с бутылкой... Неужели так и уходить? Хоть что-то прихватить... чем-то наполнить опустевшее место в душе, чтоб не думалось... Глаза его уставились на кирпич, лежащий под лавочкой. Хороший кирпич, не наш – привозной, из Ярославля. Так же бессмысленно зимой взял он в магазине с прилавка кулек конфет и был пойман, и оштрафован... Зачем ему конфеты? Зачем ему кирпич? Уже перейдя улицу, во дворе своего дома он бросил кирпич. Не тащить же его такую дорогу к Секлетее Грязновой, где подрядился Волнушкин переложить печку. Никакой надписи на нём своими близорукими глазами он не заметил, а, может, она и исчезла.

А ведь когда-то была и кепка с аккуратным картонным обручем на этой облысевшей голове... Да и не только на обруч хватало времени. Как женился – построил кирпичный дом, обшил тесом и каждый год красил. И все говорили на улице: «Ну и Колюха Волнушкин! Вот мужик, так мужик!» И из лица смотрело не съевшее это лицо бессмыслие, а уверенность хозяйская. И голова в кепке, как гриб, всегда прямо держалась, и склонялась лишь над гармошкой по праздникам... Теперь нет ни гармошки, ни кепки,

столбы заборные, и те проданы Борису Адову за бутылку: приходи, вырывай и уноси!

Когда дочка выросла и уехала в город, дал Бог ему как бы искушение – болезнь жены. У нее вдруг не стало силы – ни есть, ни пить. Таяло тело, а в глазах яселело от проступавшей души, а у мужа глаза стали твердеть и злеть, только и хватило – обложить себя кирпичами. Стал пить и жаловаться соседям: она и такая и разэтакая, она и печки не истопит, с работы придешь и – пожрать нечего! Колотил ее, вытаскивал из избы за ноги. Она убегала ночевать к Секлетее Грязновой и рассказывала обо всем тихо, без слез, как не о себе.

Когда она умерла, он у гроба раскаялся, но силы раскаяния хватило лишь на то, чтобы поставить на могиле памятник. А потом пошло неумолимое разрушение, раздело, разуло и, точно выело лицо... Все люди идут по улице, а его заносит поперек... Колюха, ты чего лежишь, замерзнешь, пощупай руками-то, под тобой улица! Пощупал. Какая улица? Это изба!.. И стали про него говорить: «Да он хуже Гриши Паялы живет... Тот хоть старик, а этот»...

Что его разрушило? Судьба что ли такая? Начало жизней у Николая Волнушкина и у Анисима Кашкаданова – похожи. Когда объявили военные законы, Волнушкину было пятнадцать лет, и Кашкаданову было пятнадцать лет. Волнушкин убежал из школы ФЗО, его поймали и дали срок. Кашкаданов опоздал на работу и ему дали срок.

Волнушкин отсидел срок и пешком, опухший от голода, пришел домой из Челябинска. Мать в тот утра день сварила каждому из детей и себе по две картошины. Он вошел. Она посмотрела на него и отдала свои две.

Кашкаданов срока не отсидел: за что, гады? – спрашивал он. Неужели для вас так ничтожен человек? Если собака не слушается, ее пнут и забудут. А здесь пинают и не забывают! Даже на войну, и на ту не отпустят... За пятнадцать минут опоздания всю жизнь мою живьем схавали... Нет, не отдам! – радовался он, когда в побеге с троими сотоварищами шли между торосов к смерти, а думали, что на Аляску... Трое сотоварищей-беглецов упали под огнем пулеметов заграждения, а он вжался в снег. И когда дали

ему второй срок за побег, жалел, что не подставил себя цветным жалам, разящим из белых снегов.

Ну, а где два срока, там и третий – сам идет. Да уж и в тех годах, когда надо думать о старости... Станный, чудной, нехороший сон ему виделся перед тем, как идти на последнее дежурство, ложиться на свой смертный кочегарский диван... Будто бы свежует он человека, привезли ему человеческую тушу разделать, мол, разрешили из-за голода. И вот он срезает мясо, а кожа уже, как со зверя, содрана. И думает: если разрешили, значит, можно. Я сам не буду есть, велено в магазин сдать...

## ГЛАВА 15

Пассажиров пропустил всех словоиспытателей кроме Сашки-глумца через свой кабинет, и теперь все они снова в прежнем виде стояли в зале.

– Ну, Порфирий, полезай... скажи там, что они убили человека, чтобы в милиции там искали скрывающихся без прописки Муромцева и Иванова, последний может скрываться и под фамилией Искоростенева... И кирпичу, смотри, помогай! Барон! Приготовиться тоже! Прошу без ошибок... Булкин, тоже готовься!

– Товарищ Пассажиров, как же я теперитка без парашюта?

– Новичкам всегда страшно! – подбодрил его Пассажиров.

Булкин запросил парашюта не зря – вздрагивающий, слегка вибрирующий словоиспытательный зал теперь, действительно, походил на чрево десантного ночного самолета. Зеркала темнели, как люки: скользила в них пепельная, призрачная глубь.

Порфирий Байков, Булкин, Брамбеус, Журналист с Магнетизером уже в обычном своем виде, несколько приободрившиеся после шитиковской встрепки, примеривались каждый к своему зеркалу...

За шторами были не окна, как могло показаться, а двери, в них засновали какие-то невнятные, мелкочиновные лица, причем, беспрестанно звучало: «Вот, еще кусочек... А вот, просто не словоматериал... хе-хе, а глыбочка медку! Да-да, только



для Петра Афанасьевича Булкина... Что-с, он сегодня не прыгает?.. Ах, жаль, а я-то старался»...

Вот нужный запас словоматериала передан вставшим у своих зеркал пятерым испытателям. Движение стихло, суета смолкла, и подошел вплотную к своему овальному зеркалу Порфирий Байков – поправил ремень ранца со словоматериалом, поглядел, чтобы приободрить себя, на Пассажинова. У того на лице жесткая, приказывающая улыбка.

Байков протер свое отражение в зеркале, обрезанное рамой, безногое. Напрягся, вдохнул в себя, как перед нырком, побольше воздуха и просунул туда, в ртутную, пепельную гладь – руку. Спина его вздрогнула, будто по руке ударили. Он поставил колено на раму. Так же вздрогнув, просунул туда, в зазеркалье, в плоское небытие ноги. Все молчали, глядя на него. По спине чувствовалось, что он боится и что ему хочется обернуться, чтобы попрощаться с уютной мастерской, с товарищами. И все, как от холодной воды, дергался он и ёжился.

Вот он схватился за раму и, как в окне, повис в зазеркалье. Там, куда провалилось его тело по пояс, отражения никакого не было, только тьма. Вот только руки и, будто отрубленная голова в шляпе – вдруг руки толкнулись, голова повернулась лицом, напрягшимся от тяжести, и... так и осталась в зеркале...

Все приблизились. Лицо, закаменевшее, как маска, тонуло там, заплывало, задерживалась сама собой темная дыра.

Словоиспытатели вздохнули, зашептали, кто-то охнул.

– Давно ли Порфирий туда влезал, а уж отвык, – хмуро сказал Пассажинов, и все утихло. И, не дожидаясь приказа, Журналист пододвинул стул, вскочил на него и... солдатиком прыгнул в зеркало – ни отражения, ни тени – просто Журналист стал невидимым, а зеркало задернулось темным, как это бывает в вечерней комнате, когда свет еще не включен.

– Молодцом! – осклабился Пассажинов. – Надо было и к Кашкаданову с документами посылать его, а не Порфирия... У него семь пятниц на неделе... Как бы не прогулял словоматериал...

Пока он говорил, привыкший к путешествиям Брамбеус, спокойно, как в другую комнату, ушел в зеркало, но еще долго

висели и расплывались там его ботфорты – раструбами вверх. Из этого можно заключить, что он не спустился, как Байков, и не провалился, как Журналист, а поднялся; хотя был ли там верх или низ – кто знает?

Магнетизер вошел в зазеркалье с достоинством, неожиданным для его должности, при этом он загипнотизировал свое отражение – то рассеялось, улыбочиво уступив ему место, и он несколько неловко, с помощью Булкина исчез.

Булкин покричал вослед, потолкался, и вдруг – скок за зеркало, присел там на корточки и сидит, шляпу – на глаза.

– Товарищ Булкин, – говорит Пассажинов, – мы здесь не в ловички играем...

Белкин, пока не подлежащий отправке в зазеркалье, не выдержал, засмеялся. Лицо большое, дебело заколыхалось волнами. И за его лицом кто-то засмеялся, и за тем смехом – еще смех.

«Смеются, значит, не убьют»... – догадался Булкин, вскочил, шляпу с плешивой головы сдернул, схватился за свою кудель, заплакал, потом ударил шляпой об пол:

– Товарищи, не потопите!

Пассажинов шагнул к нему, но в это время словоиспытатели раздались, и вышел высокий, тучный мужчина, певший недавно про Костю-рыбака. Пассажинов обернулся.

– Товарищ Пассажинов, – со сладенькой улыбочкой, с приятной картавостью и почти шепотом, сделав рассудительный жест рукавом линючего халата, сказал певец и замолк, будто споткнувшись обо что-то невыразимо приятное. И улыбка становилась все слаще и слаще. Он глядел на Пассажинова и ждал, что тот по улыбке сам поймет, что он вышел предложить... Но Пассажинов понял неправильно:

– Потом споете... Позвать солдата! – крикнул Шитиков и позвонил в колокольчик.

– Товарищ Пассажинов ... я не петать... Я... – И лицо его опять облилось улыбкой. – Ведь в коллективе все за одного... так? – И он опять замолчал, предполагая, что улыбка доскажет.

Но темный *ширай* в треуголке, уже бодро шел солдат.

Булкин вытянулся, руки старался держать по швам, но не выдерживал – тайком схватывал слезы с лица. Ранец его со словоматериалом стоял у ног. Увидев солдата, он все понял и вскрикнул:

– Таперитка я убегу, не вернусь сюда! Уйду домой... Зачем мне эта общественная работа?

– Товарищ Пассажилов, так разрешите мне... за товарища Булкина... – наконец, деликатно высказался линючий халат.

– А сам за себя пойдешь?

– А-а-а! – заплакал Булкин, – засосет... как-то там они, бедные, челюпкаются...

Больничный халат, будто ничего не слыша, стоял весь во власти своей улыбки.

Солдат ловко перехватил ружье и несильно ударил Булкина прикладом. Булкин упал на зеркало, оно раздалось под ним, и он уселся туда, как в лохань: ноги торчат и упираются в раму, а середины тела уже нет. Солдат опять с несильным замахом чвокнул прикладом ему по пальцам, и зеркало на месте лица стало черным, сапоги еще торчали дерматиновые из рамы некоторое время... пока не слились со тьмой.

– Ну, а теперь ты... товарищ, – кивнул Пассажилов линючему халату. – Дело крупное... Добровольцы нужны!

Солдат стоял, замахнувшись ружьем, ожидающе.

– Спасибо, служивый! – бодро, по-царски выкрикнул Пассажилов.

– Рад стараться, ваше державство! – ладно секанул голосом по сводам солдат.

А линючий халат наклонился уже к зеркалу, в котором только что челюпкался Петр Афанасьевич Булкин.

Все глядел, глядел, пока изо тьмы не всплыло, нос в нос, отражение – он прижался к его небритой щеке, задышал ему туманцем глаза... И ушел, тихо, медленно, будто погрузился в чьи-то объятия, будто кто-то его обхватывал и на руках вынимал из зала, как дитя. И сладостная, тающая улыбка еще долго светилась сквозь набегающий мрак глубины...

## ГЛАВА 16

Сначала, прочитав распросное письмо Шитикова, Иванушка-дурачок хотел послать Ивнякова вместе с ним *в старое место*, но тут же спохватился. Встал у стола с прокурорским видом, одна рука в кармане солдатских штанов:

– Илья Муромец, неужели ты так громко говорил, что он там, на бульваре, услышал?

– Нет, – сказал Илья Муромец, качнувшись на чурбане. – Я так могу колоколистом, но не говорил... Я все свое в подызбище спрятал... Ты – знаешь!

– Так откуда же он узнал, о чем мы тут маракуем? – подозрительно глянул Иванушка на Ивнякова, сидевшего с выжидательным видом на лавке в углу, поближе к двери.

– Что у меня нынче народу, как людей! – сказал, зевнув, Паяло. – Я пойду, мужики, на печку...

И он ушел в проулок, влез по приступку на печку, стал себе расправлять там черный тулуп.

Иванушка снова взял с подоконника документы, написанные на имя Искоростенева Ивана 1940 года рождения. Они были извлечены тоже из большого конверта, который принес им Ивняков.

– Личность-то моя, один патрет! – сказал, не без удовольствия разглядывая новенький паспорт Иванушка. – Хотя я давно уже не снимался... *Красная книжка* даже есть, ого! Как у начальника... – И тоже, не к месту, зевнул, глянув на печку, где утих Паяло. – Илья Муромец, чего тут переливать из пустого в порожнее?..

И он сходил за переборку, где окно было почище, внимательно оглядел улицу, дом Коли Волнушкина, но ничего подозрительного там не увидел.

Уже не первый раз Иванушка-дурачок и Илья Муромец удивлялись и не могли понять, почему те разговоры, которые вчера и даже сегодня утром они говорили между собой, стали известны какому-то Шитикову? А то, что они стали известны, подтверждало письмо, принесенное Ивняковым, которого до выяснения подслушивания, договорились с расспроса не выпускать.

Не меньше письма подтверждали подслушивание и документы: паспорт и партийный билет на имя члена КПСС, все того же Ивана Ильича Искоростенева, выданный якобы Краснопресненским райкомом партии г. Москвы. Вчера вечером Иванушка-дурачок, всё подначивая по поводу кошелька Илью Муромца, шутил: надо-ста и мне документы нарисовать! В лагере-де у каждого зэка было не по одной фамилии – и выкидывал перед собой ладонь убежденно – пальцы враслопырку.

И вот документы лежали перед ним. Он все-таки, как и Григорий Паяло, – втайне сомневаясь, по-прежнему подозревал, что это Илья шуткует, как с кошельком, так и тут с конвертом. Сам ли только он документы нарисовал или попросил какого-нибудь темнилу? И теперь морочит голову себя и людям, чтобы время в скрыте им было коротать веселее... Вот только фотография колымская от товарищей Димки, Гриши и Феди – откуда объявилась, к чему она?..

– Ну, а какую же ты себе фамилию дашь? – смеялся вчера Илья. – Дураков, Дурандиков?.

– Лучше чужеземную – Дурштейн! – смеялся и Иванушка...

А теперь Илья уже не смеялся, тоже глядел в окно, жалел, что зря выпустил из *ответной комнаты* и Волнушкина.

## ГЛАВА 17

Иванушка, встав у стола, гласил письмо:

«Расспросные речи к Илье Муромцу и Ивану-дураку, или к гражданину Муромцеву Илье Ивановичу, и к гражданину Искоростеневу Ивану Ильичу, а как они себя впредь называть положат, то зависит от их доброй воли. А добра ли их воля, о том пусть скажут они ближние случаи нашему доверенному лицу, поэту Иванякову Александру. А в чем наши расспросные речи состоят, тому ниже следуют пункты:

п. 1.

Ваше царство, которое вы в простоте именуете серебряным, скоро будет всеконечно разорено. Почему же вы снова хотите

туда возвратиться, в так называемый деревенский посад, Иван к отцу и братьям, а ты, Илья, к ним на печку? Почему вы считаете, что в деревенском посаде в вашем все по-прежнему?

п. 2.

Из вашего серебряного царства, из люка, что в подызбище в доме Ивана-дурака, многие люди внизу, на земле, казались вам ростом до днища серебряного царства: Тускляков, Крестьянников, Коля-бог. Может, и вы имеете возможность становиться исполинами, ведь вы себя считаете людьми большими? А, может, тебе, Иван-дурак, не без моей помощи, только казались Тускляков, Крестьянников и Коля-бог такими? Может, и вы обычные, малые люди, так не лучше ли вам устроиться на работу и жить в человеческом общежитии, как и всем его членам пристойно, или пойти на повышение ко мне в словоиспытательную мастерскую?

п. 3.

Где, Иван-дурак, твоя жена Ядвига? Почему она не выручает тебя, или намучилась с тобой, дураком?

п. 4.

Куда девалась та береза, по которой ты, Иван-дурак, залез в деревенский посад, чтобы схлестнуться с Ильей Муромцем? Можете ли вы по пню этой березы снова попасть туда или только через выплавки резчика Петрова, через тот тайничок, который он устроил в столе?

п. 5.

Как ты, Иванушка-дурачок, умел изменять образ свой, входить в разных людей? Умеешь ли ты так делать сейчас? Или разучился? Вот теперь и говори, что ты это делал без моей помощи! Почему тебя теперь никто не признает за Искоростенева? Чья тут помощь – не моя ли? А почему тебя, старичина, никто не вытаскивает из скрыта – вот Илья Муромец, ведите его в Оружейную палату на позорище! Чья тут помощь? Моя! А когда ты, Ваня, женился и ушел в деревенский посад с молодой полячкой Ядвигой – и дело было очень темным, когда нашли у проруби шапку сотрудника районной газеты Ивана Искоростенева – почему все обошлось? Почему следователь Чирков решил, что ты утонул на рыбалке? Почему старуху Ядвигу в Коптюшке умершую и уже разложившуюся

в одиночестве – вскрывать не стали... А деревянный болван, все, что от тебя осталось, на дрова не сожгли, а уважительно в музей к Тусклякову поставили? Я, все я! Так слушайте же меня!..»

Ивняков был поражен, что квартиранты поглядывают на него так враждебно. Затревожившись, он не вникал в смысл пунктов, да и не понимал. Дурь какая-то!.. Пришло на ум (как и Иванушке вчера) что беглым лагерникам – фамилию сменить и прикинуться, кем угодно – им хоть бы хны! Особенно под дурачка...

А Иванушка, раскачиваясь туловом, с едким нетерпением в голосе продолжал:

«Пункт 6. Вы с Ильей улетали на орле, спасаясь бегством от восставшего народа из своего дворца, и скормили птице орлу человека по фамилии Блуканов, переметчика на нашу сторону. То, что осталось от него, вы зарыли»...

Тут Иванушка не выдержал: все прежние подозрения на Илью, понял он – не дело: перестал гласить и бросил на стол письмо:

– Давай, давай... шей дело, скотинина! Замашки ваши знаю! – заскрипел зубами и дернул ворот и без того расстегнутой гимнастерки. Это уж вроде как к Ивнякову? За что?..

– Пренаглое у этого сулителя похотение, – по другую сторону стола сказал Илья Муромец важно, но и как-то задумчиво: повернувшись к Иванушке боком, он все заглядывал в окно...

– Слушай, ты окно лбом не выдави, – сказал Иван-дурак расерженно. – Тут тебе такое шьют, а ты...

– Оп! Кирпич летает! Началось! – словно сам себе, сказал Муромец, опершись в обоконье руками и заглядывая на сторону, в улицу.

– Где? – Иван – к окну.

– Оп! Оп... Видишь, вертушку у калитки открывает...

– Где, где? – лез из кожи, ничего не видя, заслепленный гневом Иван. – Илья Муромец, на полноса в сторону, ведь ты не стеклянный!

Да как даст локтем – стекло и лопнуло:

– Ой, щеку обрезал...

– Все, – сказал значительно Муромец, – утих кирпич... Ну, все понятно. Я за мечом да за снарядом своим в подызбище...

И он, пригнувшись по-военному, вынырнул в дверь.

Иван, размазывая кровь по щеке, оглядывал избу. Он, хотя и не видел, как кирпич открывал калитку у Коли Волнушкина, но разом вспомнил, как и там, в коридоре, во дворце серебряного царства мерещился ему бесплотный кирпичик с переплетенными киноварными ящерками внутри, или слово «Я», как потом объяснила Баба Яга...

Ивняков сидел на лавке, прижавшись к стене в углу, боясь двинуться. «Как в сумасшедший дом попал! – думал он. – Неужели они и есть вечные образы? Да таких за любым углом встретить можно... Стоило ли жизнь свою класть, стоило ли столько пробиваться к ним? Сейчас убьют да зарюют в подполье... Не все ли равно, от вечных ли образов или от бандитов-ли современных, а умирать – страшно. Эх, была не была!»

И когда, разбуженный криком и звоном стекла, Паяло спустил ноги с печки, стал что-то выборматывать охмелело и залезать языком в нос – стрельнул к растворенной двери. И тотчас же забился в руках у Ивана-дурака... Тот схватил его за грудь по-бандитски, притянул к своему побелевшему лицу и кудреватому волосу.

– Что, выдал себя? Да ты и есть этот Шитиков! Ты и пишешь, шьешь нам... Да, гад, так ладно, смело!

Такой скорой расправы Ивняков тут не ожидал.

– Ванюха, не вздумай! – крикнул с порога появившийся Муромец. – Чего, Ваня, на тебя снова нашло? – И Паяле, заворотившему язык в нос, добавил: – Убери лизун, Гриша! У нас тут ответная комната, а не...

– Шитикова поймал! Видишь, какой смелый – в чужой харе к нам пришел! – Не дав ему договорить, Ваня притянул Ивнякова еще ближе к своему кровавому лицу и стал взвешивать на вороту...

Ивняков захрипел, напрягаясь, извернулся, чтобы в руку – зубами...

– Не тронь, – сказал Муромец. – Допрос надо чинить по уставу...

И неторопливо убрав в проулок за печку меч и доспехи да ватные штаны, уселся на чурбан и домолвил:

– Ну, добрый молодец, Шитиков ли ты или Ивняков – мы пока не знаем. Все нам без утайки ближние случаи, на кого они у тебя есть, сказывай! Кто из вас разоренье нашему царству учинил и христиан пленом и войною похитил?..

## ГЛАВА 18

– Что у меня нынче народу, как людей... Эй, Ванюша, дай-ка попить! – вклинившись в допрос, сказал с печки убравший лизун Паяло. И выставил костлявую руку за кружкой.

– Шитиков – писатель, драматург! А я... – крикнул Ивняков... И потерял голос. Обида, лютая обида стиснула его. Не в первый раз в жизни с ним поступили так несправедливо! Как со скотиной! Он глотнул горлом раз-другой, напрягаясь, сминая обиду, да не выдержал, махнул рукой и выбежал в сени...

И никто за ним не рванулся. Илья осел недоуменно на чурбане. Иван, глядя в самовар, лицо себе газетой заклеивал, порезы залеплял. Гриша, попив, курил на печи, скалился.

– Ведь убежит... – дернулся было от самовара Иван-дурак.

– Нет, вон, на лавочке сел, – говорит Паяло. Хмель у него еще не прошел. Он смотрел на все случившееся весело... Затушил окурок, бросил его прямо на пол и с хрипотцой, прохватывая до совести, выговорил:

– Что же вы из-за какой-то писанины декуетесь над сиротой-то? – и замолчал, и пока молчал, лицо грустно протрезвело. – И окно мне высадили... Я ведь могу и попросить таких квартирантов. – И он даже пальцем Ивану-дураку погрозил. – Али если я Гриша Паяло, так у меня все можно?..

Вспыхнувшая гордость, желание показать, что он не боится, да и какое-то темное любопытство удержало Ивнякова, а то бы он убежал от них. Хотя и прежний, лагерный опыт подталкивал: смывайся скорее!..

– Ты за него вроде как залог даешь? – спросил Иванушка....

– Залог давай ты... Иди в магазин за стеклом... Мне лучше круглое!

А дальше сказал Григорий, что Ивняков он и есть Ивняков, что знает он и Шитикова – живет у Константиныча... И что это писанина не судебная, и если сейчас купить Ивнякову бутылку да ему, Григорию, за разбитое стекло бутылку, то и замиряется все.

Вошел в избу Ивняков. Потрепанный, помятый. Сказал держающимся голосом:

– Ну, долго мне ждать? Пишите ответ Шитикову...

– Дорогой товарищ, не вешай голову – не печаль хозяина! – Подбодрил его Илья Муромец таким мягким тоном, что Ваня даже недоуменно глянул из-под растрепавшихся вихров. – Ты ближних случаев на Шитикова не сказывал, и передай ему, Шитикову, что он челом бьет нам не делом: и то объявится в случаях, – домолвил значительно, – каковы он сам даст нам на скором суде...

И еще, поговорив так, примолвил назидательно:

– А что до наружного оскорбления твоего, то ты ученый человек, и знаешь, что Бог избранных своих под видом печали утешает, под видом болезни исцеляет, а под видом убожества обогащает...

Но Иванушка-дурачок не слышал конца этого слова, он уже шел на соседнюю улицу в магазин за вином...

## ГЛАВА 19

– Колюха, уж больно ты глину-то лепишь сильно! Смотри, через всю комнату летит... Все зеркало на комодке залепил...

– Тетка Секлетя, ты главное, не волнуйся... Не волнуйся, зато печка будет стоять десять лет. Я на меньшее не делаю!

– Колюха, я не проживу десять-то лет, ты лепи потише...

– Не волнуйся... Тетя Секлетя, не волнуйся! Я пять печек по деревням сделал. Заработал двести пятьдесят рублей. Купил себе брюки, велосипед, трусы. Я работаю один, без бригады. С бригадой все пил, а как один стал работать – все денешки мои. Одному работать, тетя Секлетя, лучше. Моя ведь специальность –

подсобник: землю таскать, кирпичи подавать. Вот я и подумал: да я такую работу подсобную и один, без бригады, могу делать...

Волнушкин печку уже второй день перекладывал, но сделать так аккуратно и ровно, как покойный Василий Грязнов, не мог. Старая плита прогорела – надо было её заменить – всего и дел-то! Коля плиту новую положил косо, поднял ее над колосниками высоко – докрасна не раскалится. Кладет кирпич, лепит глину, а перед глазами все бутылка стоит. И чем больше он про бутылку думает, тем грубее выходит работа – углы кривые, стены буграми, не прямоугольная – а закругленная, как бутылка, печка выходит...

– Я, тетка Секлетя, дома ничего не готовлю... Где чего делаю какой старухе, там она меня и покормит...

– Сейчас, Колюха, и у меня картошка сварится...

Начистила огромную сковороду, такую, что самой за неделю не съесть. Сели в кухне: Секлетя на залавке у стены – смотрит. Раньше, когда был жив муж да жил дома сын, такую сковороду всем на день хватало. Колюха пододвинул ее к себе, положил руку на стол, будто обхватил сковороду, и вот ест, вот ест... Ест и говорит раздумчиво, как бы сам себе:

– Может, сделать гусиное молочко?

– Колюха, а что это такое – гусиное-то молочко? – говорит Секлетя.

– Тетка Секлетя, – поднял он от сковороды руку, – тетка Секлетя – это я себе, этого вы не понимаете... Это только мы, печники, понимаем...

– Колюха, а дымоходов-то ты сколько сделал?

– Тетка Секлетя, ведь вы, старухи, не понимаете, что такое дымоходы?

– Так ты объясни, я и буду понимать...

Съел всю картошку и говорит:

– Вот, примерно, коробка спичек, это и есть дымоход...

– Так ты не сделал ли дымоходы-то такие, как коробка спичек?

– Тетя Секлетя, тетя Секлетя! Ты только не волнуйся! Не надо! Все будет хорошо... Давай пробовать, готово! Завтра еще

приду... Там, наверху, двух кирпичей не хватает. У меня есть один, да один у Гриши Паяла взял.

Положила Секлетя в печку бумаги, щепок. Зажгла – весь дым в избу! Колюха смотрит, только губами плюскает: то сожмет их – чвакнет, то распустит.

– Тетя Секлетя, это пар! Это не дым, а пар, пар! Ты слепая – не видишь... Ну, давай мне, что я заработал...

– Колюха, я тебе деньги отдам, а как ты напьешься, да больше не придешь. Как я с такой печкой жить буду?

– Ты не волнуйся... Не волнуйся... Я завтра приду и все сделаю... Два кирпича... И побелю!

Взял деньги и с тех пор больше не появлялся месяц. Пришлось писать сыну, чтобы приезжал, перекладывал печку. Так и написала Секлетя в письме: «Приезжай, Митя, в доме от копти жить нельзя!»

## ГЛАВА 20

Затворив за собой калитку, которую он сам сделал Василию Грязнову еще в те годы, когда были у него и жена, и гармонь, и хорошая кепка на голове, Волнушкин дернулся было к угловому дому, где жил с матерью его напарник по шабашкам Борис Адов, но тотчас же раздумал и, развернув свои ботинки, медленно, со стуком поехал домой.

«Если я сейчас найду к Борису, – думал он, – то пропью все деньги. Тетка Секлетя говорит правильно, все-таки я ей племянник. Нет, я оставлю деньги дома, возьму только на две бутылки. Пойду в магазин, заброшу по пути Гришин кирпич тетке во двор для завтрашней работы. Куплю вина, найду к Боре. Возьму у него свой мастерок. Мастерок хороший, не то, что Паялов – тем не лепить, а только брызгаться»...

На половине пути к дому встретился ему Иван, шедший уже из магазина, но оба настолько были погружены в свои мысли, что даже не поглядели друг на друга. А. может, и признаваться не захотели...

Дойдя до своего забора на бетонных столбах, который уже на корню был продан Борису Адову, он увидел, что две рейки у калитки – оторваны. Приладил их на место и стал заколачивать гвозди ручкой паялова мастерка. Вертушка сдала, калитка отворилась. Волнушкин хотел ее снова затворить, и тут увидел, что со двора сквозь штакетник на него кто-то смотрит.

Не веря себе, он присел – из Гришиного кирпича на него смотрел глаз – снизу вверх, по щучьи. Калитка, выпущенная из рук, отворилась, кирпич дернулся... И побежал-побежал по улице, как короткое членистоногое, к лесу...

Волнушкин взмахнул мастерком, а его уже и след простыл. Тогда он схватился за карман – деньги на месте. Затворив калитку, он вошел в дом и приказал себе молчать, чтобы не посадили в сумасшедший дом и не начали лечить от вина...

Волнушкин, Кашкаданов и тысячи других разрушенных, пропавших мужиков... Кто знает, может, их разрушение и не лишено смысла? И только затем и жили они, чтобы слепо сунуться навстречу колеснице неумолимого рока и какой-нибудь мелочью, как в случае с кирпичом, хоть на полметра, а оттереть эту колесницу от намеченной жертвы.

Кашкаданов умер, не подкинув другие, *важные и злые*, а, может, и *антисоветские* документы – для Иванушки с Ильей; да еще намекнул о преследовании колымской фотографией, которую Порфирий Байков раздобыл ему тайком от Пассажинова. А Волнушкин взял и утащил кирпич к себе во двор и запер его там на те самые часы, в которые кирпичу надо было действовать. И, кто знает, не случись бы этого, вернулся бы Ивняков живым-здоровым в старый крестьянниковский дом на волжском бульваре?..

## ГЛАВА 21

Когда Иванушка-дурачок пришел из магазина, то сказал весело:

– Какие хорошие у солдат штаны – сунешь по бутылке в карман и не видно! – и затем громко поставил эти две бутылки

на стол в кухоньке – одну за выбитое стекло, другую – за наружное оскорбление. Да буханка хлеба и кулёк с килькой соленой: «на рубль – сто голов», как говорили в магазине. Но Ивняков выпивать отказался наотрез...

– Несмысленный сам себя погубляет раздражительностью, а глупый – гневом! – сказал Илья Муромец, да так спокойно, так к месту: Ивняков подумал, что это про Ивана, а Иван подумал, что это – про Ивнякова. И оба остались довольны, рассевшись вокруг стола.

– Пить не буду, мне пора, – повторил Ивняков уже не таким жалким голосом. А они, точно забыли о нем... И ответ не пишут... Опять пошло: как да как он, Шитиков, мог услышать их разговоры?..

Погруженным в глубокое сновидение жизни, им приметилось, будто они в своих странствиях где-то встречались с сегодняшним посыльщиком. Только тот ли? Или хоронится от их памяти в будничном виде, не признаётся?

Так часто в лагерях, выпивши, вспоминал Иван: на Тяхтеряхе этот Скорик тебя убить собирался по указке воров... А на «Партизане» – он уже доходяга! Едва ноги таскает, котелок с углями на груди для обогрева. Что, не узнаешь меня, Скорик, скотина?.. Никакого Скорика я не знаю! Я Решилов!.. Впрочем, о таком поэте, Ивнякове, Ваня слышал и в прежние годы, когда еще в здешнем городке малое время прирабатывал. Но тот поэт был молодой, зарос волосом, кудряв. Тут же – тень той личности...

Поэтому квартиранты Григория Паялы не скрывались перед Ивняковым, говоря о своей судьбе: может, клонет посыльщик, откроется на какой-нибудь их случай – настоящий он Ивняков или нет?

Ивняков тоже – и обижен-то, и крепко сомневался, припоминая, как зимой, стучали и грабились на колокольне. Да не эти ли двое, проходимцы! Что было потом – он не помнит – хватил лишку...

На их многие вопросы ответы мог дать только Владимир Дмитриевич Шитиков, да и то, как видно из его письма, не полностью. А до Умирзакова, решающего судьбы проданных слов

и мнимых людей было пока им, как любил выражаться Иванушка, *и палкой не докинуть...*

– Выведывает, поможет ли мне Ядвига?.. И Ядвига и Баба Яга, наверно, ждут-не дождутся нас у тяти в деревенском посаде. Сюда им спуститься не можно...

– Так и быть должно, – сказал Муромец. – Они – бабы: ушли домой, за забороло...

– Или к баушке Лебеде! – сказал Иван.

– Да, или к баушке Лебеде. А мы у вала бились...

– Значит, они нам не помога, – сказал, точно споткнувшись, Иван. И тут же: – Слушай, Гриша, я завтра вставлю стекло... Но ты скажи, у этого Шитикова нет ли шрама на шее, один мой знакомый ему *заделал козу...*

– Откуда мне знать? Что я – фершал? – сказал Паяло равнодушно. – Я ему за воротник не заглядывал...

Иван глянул на Ивнякова:

– Я тоже не заглядывал, – тихо, но упрямо сказал Ивняков.

– Нам надо уходить, – сказал Илья.

– Лето-то поживите у меня. Я ведь всем говорю, что вы дачники, – сказал Григорий, которому очень нравилась такая жизнь: и сыт, и пьян, и нос в табаке, а если делать нечего, то начнет Ивана-дурака жестяному да медному делу учить.

– Уходить надо, Ваня, по верному пути, обневолить нас хотят, – продолжил, раздумывая, не слушая Григория, Муромец. – Стой, а как это ты в людей входил? У тебя ведь *подчастую* такое бывало?

– Сам не знаю, как, – сказал Иван. – Все то, что было, разве объяснишь? Как загонят семерых в один кафтан, так всему научишься... А Ядвига как из старухи стала молодой прекрасной полячкой?

– Значит, все-таки волховал? – сказал Муромец неодобрительно и опустил глаза. – Кабы она, Ваня, ребеночка себе не добыла, пока мы неизвестно где шатаемся...

«Старый, а на уме – такое!» – неодобрительно подумалось Ивану, хотя и вспомнилось ему тут же сладостно, как он с женой

телесную любовь творил. И пока они перебирали разное былье из своей жизни, необъяснимые случаи из старопрежнего, Гриша Паяло, опять опьянев, гримасничая, стал выворачивать покоровьи свой лизун и пододвигать стопку Ивнякову, и выкрикивал повелительно:

– Пей, сынок! Дядя Гриша не обманет!..

Пальцем – на бутылку:

– Видишь, в ней три лика...

Потом, когда язык его совсем закоснел, никогда не пьянеющие Иван и Илья спросили у Ивнякова, где теперь выплавки петровские хранятся? Ивняков ответил, что пока там же, то есть в кладбищенской церкви... А можно ли будет вечерком в нее войти и при помощи тайника резчика Петрова, который, оказывается, был ведом Ивану, попробовать выбраться в деревенский посад?

Ивняков отвечал, что это дело не его, куда они хотят выбраться, но если они дадут слово, что ничего не унесут из музея, то он тайно впустит их, поскольку ключ ему Тускляков может дать в любое время. А про мастера Петрова, да и вообще про выплавки, он поэму драматическую пишет, только закончить не может; потом и про Филиппку-богомаза прочитал стихи. Илья с Иваном заслушались, и Ивнякову даже подумалось, что Ваня этот, он, оказывается, и не злой, а только – обидчивый...

И оба вечных странника снова примирения просили: Иванушка еще раз в магазин быстрехонько сгонял – а потом *для прилику* степенно пожали руку Ивнякову и проводили его до калитки. Вослед ему:

– Да друг друга лицезрением и собеседованием утешимся! – высокоумно примолвил Илья.

По Волге, невидимый за домами, плыл теплоход, с палубы раскатисто по тихой вечерней воде пело радио. Постояли на прохладе – до чего хорошо! – и в силу нездешнюю – не верится! Иван чихнул так, что пробиравшаяся у тына по улице соседская кошка присела и оглянулась на них опасно.

Но, пока Ивняков до дому, не торопясь, шел, хмель подвыветрился, и, как часто бывает при пьяном примирении, вспомнил,



как они его притрепали, и опять загорелась обида: «Как бы не так!? – переживал озлобленно он, убыстряя шаги. Будут вам ключи! Ты меня видишь – я тебя – нет! Вот вам какие ключи надо... Безымень людская, утешители!»... И опять томительно подступала и задергивала душу сумеречная пелена, что в каком-то, будто не в этом мире, он уже сталкивался с такими *заугольными людьми*, как называла таковых Секлетей Грязнова. Особенно обидно ему было, что они приняли его за какого-то темнилу, самозванца, то есть не за настоящего поэта... Да еще за ворот, гад, хватает! Ну, Володя Шитиков, ты у меня запляшешь!..

## ГЛАВА 22

Войдя в дом, Ивняков сразу же пошел к Шитикову, дернул-ся – дверь закрыта. Тогда он затряс ее, что было мочи... Тряс и молчал, не зная, что скажет сейчас Шитикову...

Мякнула по-кошачьи дверь в большую комнату, в сумрачном ее растворе появился Иван Константинович:

– Кто тут такой? – голос тревожный. Даже дверь полностью отворить боится.

– Где Шитиков? – спросил Ивняков, не опуская дверную ручку, его охватило такое сильное волнение и слабость, что он боялся упасть.

Крестьянников усторожливо, будто не веря, что перед ним Ивняков, и не отворяя шире дверь, высунулся головой в кепочке в коридор, вытягивая шею:

– Саша, это вы?

– Я... я! – раздраженно вырвалось у Ивнякова. – Где же Владимир Дмитриевич-то?

– Уехал... Сразу же уехал, – выйдя за порог, иным уже голосом заговорил Крестьянников. – Ой! – всплеснул он рукой. – Заходите ко мне... заходите, я вам все расскажу...

– Уехал, – повторил Ивняков, чувствуя, что ему не сойти с места от прихлынувшей слабости. Дверь шитиковская качнулась, поплыла...

– Саша... Саша... – встревоженно шагнул к нему Крестьянников... И Ивняков услышал, что он втягивает воздух носом...

– Нанюхался! У них! – насилиу выговорил Ивняков и нетвердо зашел к Крестьянникову в комнату. Сел за стол, сразу стало легче... Сидел, не зная, что ему говорить...

Крестьянников засуетился, заохал, но ничего определенного пока не высказывал. Да видно и не знал, как начать разговор. Пошел на кухню, ставить чайник на плитку. Смущенно, уже за дверью в сумраке он сказал:

– Только вы ушли, Владимир Дмитриевич приходит ко мне и говорит, что вы подружились с нехорошими людьми и что вас они.. – Крестьянников запнулся: – Да-да, так и сказал: убить могут! Да... убить... – повторил он уже более твердо.. – А я уж и старый, да и понять-то никак не могу... А он уже вещи собирает и – в машину. Вроде как испугался. Я говорю, так вы и заявите в милицию скорее! Он: я туда и еду. Но мне к тому же надо срочно уезжать... Я спрашиваю: куда он ушел, зачем, за что его убьют? Почему вы не едите его спасать?..

Ивняков слушал весь этот сбивчивый рассказ, и вялая, насильственная улыбка облепляла его лицо.

– Можно я у вас покурю? – спросил он.

– Ой, курите, курите... Я сейчас... блюдечко дам, – засуетился Крестьянников. Он был с полотенцем через плечо – так пришел из кухни и, верно, от волнения забыл о нем...

– Ой, Саша, кровь! Вы ранены? – воскликнул он испуганно, пододвигая чайное блюдечко для пепла.

– Кровь? – вскинулся тот, будто очнувшись. – Это не моя... Это Ивана-дурака.

– Какого дурака? Вы с кем-то поссорились?

– Нет. Это он порезался о стекло... Я ему заклеивал щеку газетой...

Иван Константинович, глянув на Ивнякова внимательно, успокоился, видно, не найдя в его лице ничего особенного. Из деликатности он не стал выспрашивать, какой такой дурак и почему порезал себе щеку стеклом.

– Какие времена беспокойные, – проговорил он чуть даже су-  
рово и снова покосился на Ивнякова – не пьян ли? – Да-да... А я-то  
тут... Да-да, – забормотал он и ушел на кухню.

Но пока он там заваривал чай, снова разволновался, на-  
столько тревожными были для него дневные воспоминания.  
Он, прихватив чайник полотенцем, вошел и снова возбужденно  
заговорил с порога...

– Я по нему вижу – что-то случилось... Бегаёт-собирается.  
А я-то и сказать ничего не могу, как услышал это: его могут убить!  
Ушел на улицу, стоит у машины и говорит сам с собой – я думал,  
уже о вас, Саша, уже сообщили о вашей смерти... Да... да... Кри-  
чу ему. А он вбежал и про каких-то беглых заключенных и что  
его попросили помочь... Последить! Нам, мол, писателям, всякое  
приходится. Вроде как опасная командировка... А он – вам ее до-  
верил... Так что же вы молчите, Саша?

Дужка чайника стала жечь руку сквозь полотенце, Крестьян-  
ников торопливо прошел в комнату и поставил чайник на пол.

– Ну, и чем же это кончилось? – спросил, как можно спокой-  
нее Ивняков.

– Да вот ничем. Вы пришли. Ой, а я сначала жду-жду –  
ни того, ни другого... И решил сам уж пойти в милицию. Он ведь  
мне сказал, куда вы ушли – к Грише Яблокову...

– Сказал, значит, думал, что вы и заявите... Молодец... –  
Ивняков подул на чашку, прихлебнул...

Крестьянников сидел, глядел на него, еще не решив, сердить-  
ся ли за причиненную тревогу или радоваться, что Саша, хоть  
и не в себе, и помят, но – цел-невредим.

– Конечно, про Григория Яковлевича разное в том конце го-  
ворят, – начал, с заметной трудностью подбирая слова, Ивняков. –  
Что и свет у него по ночам горит, и дачники какие-то такие...  
Но это все старушечьи выдумки, Иван Константинович. Не в ка-  
кое он меня особое место не посылал...

Ивняков замолчал, верно, не зная, что соврать дальше...  
Да и сил у него не было... В душе пустота-пустота, вокруг все чу-  
жое-чужое. Но все-таки хоть и кое-как, и с натугой, а договорил:  
придумал и договорил:

– Достоевский, Иван Константинович, когда «Преступление  
и наказание» задумывал... ходит по комнате и бормочет. Сосед  
подслушал и подумал, что он кого-то зарубить хочет... Пошел, за-  
явил в полицию. Вот и Шитиков, наверно, про чекистов пишет...  
И, чтобы, значит, ярче...

– Да ну? – улыбнулся не веряще Иван Константинович. Ему  
понравилась эта мысль, все так быстро разъясняющая. – Да..  
да... причудливый человек... Про черный лик... Про то, другое...  
Да... – забормотал успокоенно Крестьянников.

– А я в сосняке был, да на земле, на корнях посидел... Раз-  
бирает всего, ломает... Полежу... – говорил вяло, не слыша его  
Ивняков.

– А медку? Я сейчас медку! – привскочил с места Крестьян-  
ников.

Но Ивняков, делая протестующие жесты, замахал рукой  
и ушел в коридор, и вдруг спросил оттуда: – А вы, Иван Контанти-  
нович, не видали – у него шрама на шее нет?

– Это у Владимира Дмитриевича-то? – переспросил Кре-  
стьянников. – Как же, есть... Да, есть... В ту субботу в баню вме-  
сте ходили. Он мне говорит: вы мне, Иван Константинович, спину  
не потрете? Я и вижу на шее... – Крестьянников уже стоял в две-  
рях и показывал руками, какой шрам у Шитикова...

– А я-то думал, что он меня опять обманул, – сказал Ивняков,  
берясь за ручку своей двери.

– Как обманул?

– Да думал, сочинил, что у него шрам... А он, значит, и есть  
тот самый...

– Какой тот самый? – опять удивился тревожно Крестьянни-  
ков.

– Да такой... причудливый... ну, творческий!..

И Иван Константинович, услышал, как Ивняков, накидывая  
крючок с медной цепочкой, запирается изнутри. Давно уже Кре-  
стьянников не слышал, как побрякивает эта цепочка. Сколько не  
жил у него Ивняков – никогда не запирался. И Иван Константино-  
вич тоже пошел, крепко закрыл на большой крюк входную дверь,  
что, впрочем, он обыкновенно делал каждый вечер перед сном.

## ГЛАВА 23

Ивняков сразу же забылся черным, глухим сном; сон, как ему показалось, длился всю ночь: в нем вдруг вспыхнуло целым и затомилось все, что сегодня случилось. Вот он заворачивает на улицу, выходящую в сосновый бор, вот забелело – вишни в огороде у Бориса Адова. Доски посерели забора: вся пыль с дороги – на вишни; ветки их тоже посерели, а лепестки цветов чистые, как иней. И тут он перевернулся на другой бок и, будто дернулся ближе к сновидению – и сквозь эту, тревожно возникающую, разряженную внутренним, темным светом картину, проступила другая: камень серый на углу забора, придорожный валун, обмякло, по-слоновьи круглился: дергались на нем, как на проявившемся лице – морщины, выдавались надлобья. Странная галка, поджидая Ивнякова, сидит на кирпичной трубе Секлетеино дома. (Она свила гнездо в трубе русской печи: потому что её из экономии дров Секлетей не топила)

Серый камень корежится, как слоновья голова, силится открыть глаза. Глина дороги образует какие-то странные, полуживые образы, они тужатся, как и камень, корчатся. И корежатся дома, заборы, печные трубы, хотения их идти за Ивняковым вытягиваются вослед смутной цветной оболочкой, пузырем окутывает его. Лики вещей давят, переливаются... Но смутный свет слабеет, улица становится крепче, обычнее, глина только слегка волнуется, как покрывало; заборы и бурые дома – все дышит, успокаивается...

Ивняков, открыв глаза, уставился в сумрачные стены... На самом деле весь этот сон длился пятнадцать-двадцать минут.

Солнце только что зашло, и в комнате, настоящей темноты еще не сгустилось. Он стал бесцельно следить за изменением сумрачных пятен на стене. Тьма висит бессильными комьями...

Кажется, ему не будет сегодня сна. Он садится на постели, чтобы отогнать два ясных, спрашивающих лица. Одно беловатое, другое – смуглое, с черными, жесткими бровями. И в чем же ваш вопрос? – спрашивает Ивняков... А сам все вглядывается. И чем глубже вглядывается, тем быстрее находит ответ... Иванушка-дурачок рвет себе ворот гимнастерки и говорит: завтра вечером мы

придем на кладбище, нам надо уйти по выплавкам... Как это нам уйти по выплавкам? – спрашивает Ивняков. – Вы же меня убьете?... И вдруг, задремывая, точно со стороны увидел Илью с Иваном, привязавших какого-то самозванца ко вратам и долго спорил в их мире; прожил там целую жизнь. И это было такое мироощущение, о котором прежде он лишь догадывался, что тот мир – настоящий, и он там жил всегда, и сродни ему до черточки, как корнями к нему прирос – и вдруг его пересаживают куда-то в другое...

Темный сильный покой, покой из темного света – и он, Ивняков, будто бы уже не он, и комната не та. Окно, вон – стрельчатое, и потолок – сводчатый... Он стал опять с темным желанием вглядываться и узнал, что он уже в кладбищенской церкви, лежит на столе в библиотечной каморке. И хотя осязание убеждало, что под ним не стол, а знакомая железная койка, темная ниша окна осталась прежней, церковной, Значит, за стрельчатым окном черные мраморные памятники? И хотя он думал об этом вяло и не нашел ничего необычного в том, что спит на столе в кладбищенской церкви, а за окном мраморные памятники, но так же лениво продолжал противиться наваждению.

И все это темное, внутреннее, отягощало сон, лежало в душе, как камни в мешке, и через эту тяжесть он чувствовал свою душу и как напрягаются его духовные органы, чтобы освободиться от этой тяжести; как нагружаются они, будто бы помимо его воли, работой.

И напрягся так Ивняков духовными своими органами, закрепился за вставшим где-то высоко над ним образе, как бы чистой, прозрачной женщины.

Она там шла,  
как по воздуху:  
спокойное, прозрачное  
лицо ее  
поворачивалось  
и, будто бы звало Ивнякова за собой,  
в тихость, и ясность,  
и чистоту свою, теплоту.  
А Ивняков видел ее откуда-то из глубины,  
как со дна, из воды...

Духовные органы его напрягались из последних сил, чтобы различить четче текущие, туманные черты. Но раздался какой-то внешний, случайный звук. Ивняков открыл глаза, глянул в черный потолок, перевернулся на бок, лицом в черную полуявь-полусонь.

И лился-лился на него сверху –  
чувствовал затылком –  
черный луч,  
будто это сама ночь глядела на него  
и напивалась своей странной силой.

Ивняков будто бы открыл какой-то тайник другой, вечной жизни, а вся здешняя – где-то в стороне; и во временном измерении той, тайниковой жизни, найденной, она уложится в одну минуту и сгаснет, и он снова очнется, проснется в тайнике...

Но он очнулся опять со своим темным желанием – здесь, в убогой комнате, в прежней жизни, и вдруг всё забыл, поняв, что явление тайника было – жалкими грезами.

Воля успокоилась на этом, и этим же успокоением он еще глубже ушел во тьму, утонул, растворился, комната стала большой, раздалась так, что он перестал ее ощущать.

В самую тьму, когда необъятная ночная тишина заставляет тревожно затаивать дыхание, и каждый случайный шорох, как движение чего-то живого, Ивняков встал, подсел к столу, чтобы отогнать от себя всю эту пытку из яви и сна. Уныние, теснота и печаль наполняли его, казалось, прямо из ночи. Он не включал света, будто бы все еще не вышел оттуда, из оболочки грез, и преждевременный свет, застав его там, может принести только вред.

Он сидел, курил и пробивался сюда, к темной пока лампе, к столу. И, пробиваясь, он мостил себе дорогу невещественную из тесноты, из засыпавшей его, как в обвале, тоски. И еще он мостил дорогу из мыслей, что, может, это и есть тот, развоплотившийся мир, который обещал показать Шитиков? И вот завел его и бросил... в каком-то бесконечном коридоре, в недоступной стране, от которой все люди, да что люди – камень, пучок травы – и те, так далеки, что казались чудом невиданным!

Кто теперь ему поможет? Что такое поэзия? Что ему, человеку, в ней делать? И вся эта страна, все ее предметы здесь при ночном размышлении стрекозили, прыгали, как кузнечики, жгли, кусали. Это были слова недописанной поэмы. И у слов были, как у кузнечиков, выпуклые, аспидные глаза, и глаза кололи насмешливым блеском...

Он снова лег уже под утро, когда белый туманный свет наполнил комнату. Глаза не закрывал и все смотрел на угол простыни, выбившейся в ногах из-под одеяла... И вдруг понял, что давно уже смотрит на белую, призрачную, как из живого дыма, женщину...

Да она не одна. Вон, Илья Муромец, такой же белый, дымчатый, а рядом Иванушка... Да зачем они сюда пришли? Что скажет Константиныч? Или не терпится меня заполучить?.. Призраки сидят, понуря головы, как над покойником. Ивняков, удивляясь, хочет их окрикнуть и видит, что плечи их дымчатые сотрясаются от хихиканья... Они хихикают... хихикают... Весело становится и Ивнякову, он тоже начинает хихикать, но как-то внутренне, внешне он лежит и продолжает осмысленно спрашивать: сейчас придет Константиныч и наругает меня, что я вас впустил... И женщина тут...

Приподнял голову, собрал волю, вглядываясь в них, чтобы лучше различить дымчатые черты, но белые тени стали таять. И в то же время Ивняков услышал, как мимо двери прошел по коридору Крестьянников в уборную. Уже встал – значит, это мне не приснилось?.. И подумав примерно про то же, что подумал Волнушкин, когда увидел, как на него глядит кирпич своим бело-голубым глазом, Ивняков впервые за всю ночь крепко, как убитый, уснул.

## ГЛАВА 24

В словоиспытательной мастерской работали все зеркала. Уже не только Бесталанный Ворбаб, Философ, Гомозейка были вытурены в темное зазеркалье, но и Иван Петрович Белкин,

которого никогда не обременяли *постановочной* работой со словоматериалом. Да и самого словоматериала оставалось не так много – с десяток самых невзрачных словоиспытателей, еще ни разу не бывших в деле, жались по углам в тених. Но дошел черед и до них. Дверь кабинета стремительно распахнулась, в красноватой полосе света появился Пассажилов и сказал:

– Объявляю полную мобилизацию!

Долго, неловко, большинство по-крабьи задом, чтобы, может, в последний раз взглянуть на приятные стены своего вместилища, убрались они в темную глубь рам, всосавшую и быстро растворившую их...

Тогда Пассажилов позвонил в колокольчик.

Солдат медленно вдвинулся в растворенную настежь дверь мастерской и остановился, удивляясь пустоте.

– Сюда, сюда, служивый. Хватит тебе по тылам отсиживаться, – и Пассажилов, вынул из кармана платок, обер ближнее зеркало.

– Не могу знать! Мы не научены такому, ваше державство! – гаркнул солдат.

– Я кому говорю! – взвизгнул Пассажилов. – Нахлебник! Никакой мысленности от тебя...

Солдат окаменел по стойке «смирно».

Пассажилов подскочил, завернул ему крышку ранца, вложил два кирпича словоматериала.

– И с ружьем, ваше державство?

– С ружьем!

– Ваше державство, разрешите мне, после того, как я выполняю ваш приказ, застрелиться там, как и подобает благородному российскому солдату?

– Там можешь... – тихо сказал Пассажилов. – Это даже лучше... Неожиданнее... Вперед!

– Так точно! – Солдат дернулся вперед и пошел, как в атаку, на зеркало.

Теперь в зеркало должен был погрузиться новичок, похожий на Ивнякова. Для напутствия Пассажилов позвал его за собой в кабинет. Но до кабинета не дошли, на скорую руку свернули

в подсобку, где новичок сочинял поэмы. То ли сторожка такая уютная, то ли клетушка, как у кладовщика на заводе или начальника колонны на автопредприятии. По стенам с рисунками листы в полутьме белеют, в углу у стола корзинка проволочная для мусора. Да и не хотелось полного освещения мнимому Ивнякову: страшновато еще ему было при всей надежде. Настоящая участь его не решена. Он искательно смотрел на Пассажилова, преувеличенно изображая всей фигурой робость и почтение. А прибеждался потому, что некое крепкое ядрышко внутри так ему подсказывало, и он чувал, что начальнику – не раскусить его. А еще укрепляло его и то, что глаза-то у Пассажилова бегали туда-сюда, значит, тоже имел в чем-то неуверенность...

Пассажилов, боком присев на стул, вынимал из ящика стола тетрадки с поэмами и, заглядывая в них, торопливо приговаривал:

– Драматические фантазии – с собой... Там по ним и действуй... Так-с! Они тебе, конечно, втолковывали... что сзади смотреть... Толстой и Достоевский – отстойки такие-то и такие-то... – Пассажилов приклонился к столу, чтобы быть поближе глазами к Ивнякову. – Так и они тоже, если сзади посмотреть, испытатели слов – отстойки нашей трагедии развоплощения... В этом задача – всех превратить в отстойки, попроще...

– Так это же ведь – глум! Сзади-наперед смотреть! Мультик!.. Все превратить в мультик! – заведя руку за спину и посунув кепарь с затылка на лоб, подивился притворно Ивняков. Он, так и не присев, стоял перед начальником.

– Так ты и есть Сашка Глумец из Глинников! – широкорото, с удовольствием, захохотал Пассажилов, откинувшись на стуле: – Мультик! Все современное – мультик?.. Правильно мыслишь, Сашка Глумец... Так и действуй там! – И прогласил: – Мы, лютым ядом воскормлены, в бездонных пропастях геены отыщем золота и кровь! Так-с!..

Те же стихи раньше Ивняков слышал и от Бесталанного Ворбаба.

– После постановки, когда они заманят Илью с Иваном, мне не нужна станет эта шелупень...

– А я?..

– А ты станешь зав. мастерской, – притиснув ладонью к столу стопку тетрадок, встал Пассажилов. – Там будет карусель, – махнул другой рукой пренебрежительно. – Ты смотри, на неё не садись...

И продолжил, приободряя, толковать про карусель уже на ходу, по пути к зеркальному словоиспытательному снаряду.

Вверху, на потолке, ослабев, матовые лампы теперь только гущали потемки, и тут, опять трусом себя почувствовал новичок: «Хорошо было им, Толстому, Достоевскому...» – не к месту вспомнилось болтовство канувших испытателей слов.

Но Ивняков-глумец полностью не доверял своим сомнениям: раз я отслоек, то как я могу себе доверять?.. А уж подошли – тут он увидел смутную живую тень за зеркалом – у стены, в углу. Стало опять не по себе, и засосала внутри какая-то пустота: «Эй ты, вихляй!» – окликнул он себя внутренне. Но это тень уже вошла в него комом пустоты – одновременно с тем, как он погрузился в колодец зеркала. И, окинувшись в чернеть бездонной пропасти, как при проблеске далекой молнии, ему увиделось запоздало, вдогон, будто за столом в предбаннике с ним разговаривал Шитиков, а не Пассажилов. И сразу же страшные крики ударили в слух. Будто заорал телевизор, дробя какое-то слово на звуки, уже не разобрать: трап-трап-трап! – Как камень – на щебенку: осколки слов запрыгали, ударяясь о стенки обозначившегося длинного жилого коридора, выкрашенного синей краской.

Но все оглохло, отхлынуло – Ивняков уже чимчиковал по коридору. А память его быстро впускала в себя помыслы, – злообразуя нечто: в сером света он теперь отчетливо, с подробностями вспомнил, как Шитиков его отправлял к Пассажилову в словоиспытательную мастерскую; и прояснение тут же стало обыденным, даже скучным.

Уже спокойно по полутемной лестнице многоэтажного дома – он спустился к выходу. Быстро пошел по знакомой улице. Пыльная пустота затулья с хребта зеркальной рамы улеглась в нем, а на лице отозвалась – тусклой знающей улыбкой.

Под мышкой у него была черная «кожаная» папка – её впопыхах впихнул ему Пассажилов, а в папке – поэмы, которые он насочинял в подсобке словоиспытательной мастерской...

Шитиков уже выехал навстречу на красном автомобиле...

От образа к образу – путь через провалы: тайна, неисполнимая задача, как та, что задает царь сказочному Ивану-царевичу: построить в одну ночь мост хрустальный через реку, дворец на берегу, город и т. д. Но тот с помощью царской дочки с задачей справляется: «Ложись спать, Иван-царевич, утро вечера мудренее!» Больше добавить нечего...

Пассажилов вскочил по приступку к словоиспытательному снаряду на столбиках, долго, ругаясь, прилаживал к запястьям присоски шлангов. Только устремил глаза на зеркальную книгу – как, там, в углу, где ушел в атаку солдат, сдавленно, как из-под воды, раздался выстрел и вверх медленно поднялся темный призрачный фонтан.

Пассажилов ухмыльнулся, и тотчас книга завибрировала, и будто тени звуков расщепились, затряслись в ней серыми иглистыми занозами: сбились в подобие двух острых старушечьих профилей: выгнулись серповидно нос в нос, будто ругаются и вытягиваются, образуя черную букву, как бы «Н»... Кто это, Баба Яга с Ядвигой, грозящие из своего убежища, что нет, они в развоплощение Иванушку-дурачка с его товарищем не дадут?.. Пусть о том думает Пассажилов! Мы ж придаем тому мало значения не от незнания предметов, возбуждающих удивление, но от презрения к бесплодному труду, связанному с ними; мы обращаем внимание на предметы более важные.

...Пассажилов изогнулся, прихватил одной рукой кирпич словоматериала и сунул в зазор между профилями, как между отбойными молотками. Профили вгрызлись в землисто-бурый с цветными прожилками состав. А он вспыхнул разноцветным сиянием. Тогда Пассажилов быстро отсоединил руки от шлангов и глядел, как в зеркале возникают и ломаются, плавающая, разноцветные буквы.

Но как будто отслоек в мастерской один остался неприметный – в тених жался в дальнем углу... Полуобраз какой-то безлика... Чей?.. Вдруг Пассажилову послышалось, что кто-то тихо, но резко окликнул его: «Эй, вихляй!» – так, что он, подчинившись, сделал несколько шагов в угол, к тому зеркальному щиту, откуда

послышался оклик: там с темного хребта, в затулье, точно согнулась какая-то шевелящаяся пустота – и голубой бритвой резанул взгляд Ивнякова. Пассажира даже качнуло от неожиданности: Ивняков же теперь всю *щурует!* – не успел подумать он, как тотчас же вздохнул свободно: уф, *поглазилось* от усталости! – Для того, чтобы освободиться от напряжения, побежал быстро по лестнице вниз, мимо высывающихся из дверей кабинетов одинаково гололицых в единообразных костюмах людишек; такой же костюм стоял теперь и на вахте вместо лубочного солдата. Тот самый, что прислуживал Пассажирову в кабинете, маленький толстый человечек с отечным оловянно лицом идиота – губы торчат вперед.

А пустота с пыльного зеркального хребта, с затулья, засела в Пассажиrove комом и ослабилась наружно широкомордой злой улыбкой: дело сделано! Теперь Иванушка-дурачок и Илья Муромец были обложены плотно.

Злые образы захватили *космос нэтос*, мысленный космос – имущие озлобить нас, развоплотить. Словеса светозарные, звезды мысленной тверди, люди нашего короткого, быстро преходящего времени продали дьяволу. В России о заблуждении и слепоте душевной прельщенного народа теперь поболеть некому: проданные слова – мнимые люди. Скривленные колеса разума: гоп-гоп-гоп! трап-трап-трап! – далеке сотворили нас от пути правого, чуждых праведной мысли.

## ГЛАВА 25

Небо над сосняком застыло сизое, перетомленное от жары. На опушке – деревянная беседка. В ней с утра кто-то сидел, долго что-то писал на столбике. Потом пошел по картофельной меже к дворовой, ветхой пристройке с прикрывиной, забрал по колено в нагретую крапиву. А там, в живой зелени – неживая, медная сквозит, самоварная. Берег Паяло железо – на угол сруба пристройки чего только было не понавешано: скобы, старые пилы лучковые с веревочкой на раме, *стахановки*; двуручный скобель. Было много гвоздей-костылей кованых и дверных пробоев под навесом наты-

кано в пазы бревен между досками и кольями, приставленными к стене. Вон, и ось тележная, и струг специальный – дранку драть...

В то время как раз Илья Муромец и Иванушка-дурачок начали собираться в кладбищенскую церковь, чтобы проникнуть в неё через колокольню: Ивнякова с обещанным ключом больше не ждать. У Иванушки никаких вещей не было, поэтому он больше говорил, все никак не мог отделаться от мысли, что Ивнякова они отпустили рано, а то и вовсе зря.

– Надо его было, Илья Муромец, *потерять*, – повторял он.

Илья Муромец, не отвечая Ивану, стал сряжаться; тут же, во дворе, увязывал в узел телогрейку и ватные штаны, *всю свою сбрую*, как он говорил. Потом стал прилаживать на себя вынесенные из подъезбища доспехи, боевой шлем был уже на голове. Он кивком пригласил Ивана поправить ему на спине подол бархатной рубахи, обшитой стальными пластинами. Иван, всё обдумывая: проворонили они посыльщика или нет? – не переставал вполума спрашивать:

– Пошто ты куюк-то на себя напялил?.. И так жарко – сто потов сошло...

Илья всё так же молча привешивал меч. Вот сряжается, вот сряжается... Тут Иван тоже замолчал и уперся тупоконечным взглядом в нагрудную броню. До него дошло:

– Илья Муромец, ты што делаешь?

– Дурак говорит, а умный делает, – сказал просто Муромец.

Иван пропустил эти обидные слова мимо ушей, потому что они не дошли до него, такое его забрало удивление.

– Бери документы, – сказал Илья Ивану... – Эй, Гриша! – крикнул он зычно, словно Григорий был не тут же, во дворе. – Ты нам дровец беремечко не дашь?

– Да ты што, Илья Муромец?

– Ваня, давай-давай! Бери ящик из избы на растопку, закладывай в огонь документы... Я – дело делаю, ты – смотришь. Договорились?

– Илья Муромец, да ты што? – притопнул Иванушка.

– А то!.. – И он в нескольких словах объявил, что от Паялова дома до кладбищенской церкви пройдет с боем и увечьем, а документы предаст огню на площади перед собором. Потому что:

– Обневолить хотят Илью Муромца!  
– Это ты из-за того, что Шитиков в последнем пункте написал?

– Да, – сказал Муромец. – Ста-вы люди вечные, а станете простыми, подлыми, документальными... Сначала Муромцевым ему стань... А потом еще чем? Знак антихристов прими, номер?.. – Илья не договорил.

– Ну, ты даешь, Илья Муромец! Я одного Ивнякова хотел потерять, а ты – весь город на ногах унести! – недоуменно поводил глазами Иванушка.

– А ты думал – чикаться буду? – и он хлопнул ладонями в богатых верхонках... И снова крикнул колоколистым голосом:  
– Документы!.. – и они вошли в избу.

Иванушка-дурачок в избе распоясался, забушевал: чем-ста мы будем со всем миром противиться?! И так скажет, и этак, и привскочит, и притопнет дерматинным сапогом. И тычет-тычет рукой чуть ли не в глаза Илье Муромцу...

Илья Муромец тогда опустил стрелу наносника, свел свои черные брови и молчит, ждет, пока из Ивана вся дурь выйдет.

– Ты же сам ведь говорил, что гнев губит глупого, а бессмысленного – раздражительность. Почему нам не уйти по-тихому, по-спокойному?

– Потому что, Ваня... – не выдержал, выкрикнул Муромец. И взад-назад заходил по избе.

Григорий Паяло, которому очень не хотелось, чтобы квартиранты покинули его, сидел на чурбане перед печкой-временкой и думал: «Жили бы все время здесь. Чего им надо? Я бы им даже и дом подписал. Хоть и не любят документов, а деньжонки у них бывают... Да если надо, так такие здоровые мужики и без документов заработают. Пойдут шабашить, как Коля Волнушкин – за целый колхоз всего наделают. Хорошо бы нам, старикам, с такими людьми было жить. Пусть бы вместо себя других вечных людей на постой прислали... Тогда я бы перекрестился рукой и ногой»...

И он, поднявшись, смело вклинился в спор: подошел к двери, встал на пороге, крестом раскинул руки и вдруг вскрикнул, зали-

шись горячими слезами, раскрыв комически длинный, беззубый рот:

– Никуда я вас не пущу! Куда мне, старику, без вас – в богадельню?

Спор сразу замолк.

Глаза светлые под русыми бровями и темные под черными – пристально, долго оглядывали непромытого старика в клетчатой заношенной рубашке и брезентовых, прожженных на коленях штанах.

– Ну, вот, Илья Муромец, иди, руби его! – крикнул, задыхаясь от волнения, Иванушка. – Ты на таких-то... эй! Уж не те мы с тобой! – и он отвернулся к стене, а Илья Муромец вздохнул и, придавливая хлынувшую к сердцу жалость, забормотал:

– От черной немочи, Гриша, пей... не вино, а горсть еловых шишек положить в чайник и... и...

Но договорить рецепт богатырю не дали...

Гамлет, Гамлет, где ты бедный?

Может, Гамлет это я?

Череп самовара медный

Подняла рука моя

На задворках... Лебеда,

Как зелена вода,

Засосала его весь...

– Закривлялся на улице чей-то голос, то переходя на глухой бас, то, завывая тенорком.

Иванушка дернулся, у Паялы опустились вниз руки, которыми он держался за косяки, а Илья Муромец только усмехнулся мрачно... Кривлялись, как у артиста, – продолжали наполнять избу балаганные слова.

Голос этот Иванушка первый узнал: неужели Ивняков? – и, напустив непонимающий вид, шагнул мимо Паялы в дверь.

Паяло постоял-постоял и – за ними: на улице день-то какой Бог дал!



Дальше события здесь, на окраине нашего города стали твориться такие, будто она превратилась в клубную сцену, а жизнь на ней и вся действительность – в драматическое представление. И все – благодаря одному организатору, массовику-затейнику, вышедшему из сосняка.

## ГЛАВА 26

Илья поменьше, Иванушка – побольше, конечно, удивились бравости и веселости неожиданно нагрянувшего Ивнякова. Иван уже с укором совести вспомнил, что предлагал его *потерять* полчаса назад. А Ивняков вот – и зла не помнит, как я его за грудки таскал. И тут же порадовался Иван: значит, свой парень... Бог не выдаст, свинья не съест!..

Ивняков стоял на заросших лебедой и крапивой задворках; увидев Ивана, несколько отступил и, встав на старое тележное колесо, покачнулся и чуть не выронил из руки помятый, круглый, пупырём, самовар без конфорки и ножек – как череп медный в зеленых пятнах яри.

Когда показался из-за угла, завернувший зачем-то сначала к поленнице, Григорий, Ивняков, играя серыми, странно, дымчато сияющими глазами, возгласил приветствие ему в стихках.

Умолк, сурово приступил к ним и, выставив вперед, как официант, пупыристый самовара, попросил, тоже в стихках, Григория сделать из него дымник – и не бесплатно, конечно.

И Григорий, поддавшись лицедейству, изумленно принял медный череп, не зная сам зачем. Но Ивняков его тут же у Григория из рук выхватил.

– Ха-ха-ха-ха! – нарочито басовито расхохотался. И опять – головой помавая с плеча на плечо, как болванчик, жгя их дымчатой голубоватой поливой глаз – скок назад, через колесо. Встал пристойно и объяснил:

– Скоро драматическую фантазию мою в доме культуры будут ставить. Уже договорились с директором Хламовым... Да и репетировали уже: «Ска-ажи-и мне кто-о-о-ты!» – пропел

он хламовским тенорком, нарочито оглядываясь по сторонам и изображая, что сообщает по секрету. Да так это передразнивание у него вышло ловко, что Иван даже отшатнулся, а Григорий, представляя, какой у него самого неприятный бывает вид, когда он лизун выворачивает, хрипло засмеялся, и в этом смехе был слышен треск, всхлипы и вообще: работа всех дыхательных органов.

– А мы уже готовы! – бодрячком этаким, понимающим, моргнул ему Иванушка. Но тут же добавил:

– Ключ на кармане?

Ивняков его ослепительнозубую улыбку, подбитую изнутри угрозой, встретил такой же точно улыбкой – только зубы были в его улыбке не все:

– Тусляков уехал в командировку!

И две улыбки, как две тарелки, встретились в воздухе и разлетелись вдребезги. Так точно в каком-нибудь романе взбешенный глава семьи, узнав об измене своей жены, и в богато убранной столовой увидев ее притворный смех и лгущие глаза, вдруг схватывает, что попадает под руку со стола – громовой удар, крик!.. И вдруг становится тихо, так тихо, как обычно бывает только перед скандалом. Но здесь тишины не наступило, все шло, как в жизни, своим чередом.

## ГЛАВА 27

Пошли с задворок под окна избы, на старую, врытую в землю лавочку.

– Уф, жарко-парко... – в аккурат, как тогда, во зеленом саду перед судным крыльцом, – бормотнул к чему-то сам себе под нос Илья Муромец.

Шум, смех, стихи ивняковские, дым коромыслом, но Иванушку так всего и передернуло, хотя он едва расслышал. Повернулся к богатырю, а у того глаза – веселешеньки, он и сам не заметил, как эти слова у него вырвались.

– Сколько время? – спрашивает.

– Два еврея, пятый час! – неизвестно к чему, воскликнул, привстав с лавочки Ивняков.

Он уже наобещал, что прочитает драматическую фантазию про Григория Паялу, в которой первой, конечно, понарошку, умирает не жена, а сам Григорий. А жена, Пея, наоборот, его хоронит. И такого еще нагородил, что все смеялись довольные, хотя, если вдуматься, смешного тут ничего не было. (Так какой-нибудь краснобай хлётко поддельвается под простецов, зная, как надо разговаривать «с чернью»). Он успел уже уговорить всех сходить вечером на массовку и покататься на художественной – так он и сказал – карусели, где он в летнее время подрабатывает массовиком-затейником.

Все-таки он признался, что его вчера потрепал изрядно своими ручищами Иванушка... «Поэтому вынужден был себе немножко разрешить!» – повторил он, звучно щелкнув пальцами себя по горлу. А Тускляков еще вчера отправился за чем-то в деревню (но ключ-то он обещал и слово давал!) и, значит, должен он, поэт, сегодня, чтобы быстрее время прошло, весь день развлекать своих друзей, держать марку культработника. А завтра ключ будет на кармане, и поэт проведет их к выплавкам. Пусть же нынешний праздничный вечер гостям запомнится надолго...

– А ты хотел весь город на ногах унести! – шепнул, смеясь, Иван Муромцу. – Видишь, как нас встречают! Чай, уж все знают, кто мы, а?..

Иванушка немножко подзахмелел, чего с ним никогда не бывало: наверно, от славы. Илья, улыбаясь, молчал и ел хлеб с солью: наедался перед походом. Он так и сидел в полном снаряжении, с мечом. Весь сопреп. От огня и меча удалось отговорить, но в притворном, рабском виде он ходить между людей наотрез отказался.

Гриша Паяло был тоже очень рад, что квартиранты хоть на денечек, но остались. Он выпросил у них на память все документы. Они ему не только все документы оставили, а и девяносто рублей денег приложили «из своих теплых рук», как сказал Иванушка.

Паяло сначала денег не брал, но Илья Муромец пристрожил: – Тогда сожжем!

– Так возьмите себе хоть половину, – просил жалостливо Паяло.

– Я уже в задник отложил тридцать пять рублей, – хлопнул себя по заду штанов Иванушка.

– Ну, а я пачкаться не буду, – отвернулся от них богатырь.

На щеках у него выступил румянец, лицо помолодело – солнце льнуло – и у Иванушки оно добрело, как тарелка белых оладышек, только со сковородки. Григорий зазвал всех в избу – там прохладнее.

Илья с Иваном и хозяин расселись по лавкам у стены, поэт перед ними, как сказал бы Григорий, начал приставляться у печки, вскакивая иногда на чурбан; ящик, давно уже убран в заулок, за печку, где и было вообще-то его место, пока хозяин не жил, а каровал без квартирантов.

## ГЛАВА 28

– «Григорий Паяло», – драматическая фантазия... – объявил посылщик от Шитикова. И никто не догадался, что перед ними исподний, левый Ивняков-словоиспытатель, отличный от правого, настоящего Сашки Ивнякова, и что драматическая фантазия эта – зады, вроде черновиков, недописанной поэмы настоящего Александра Ивнякова, культработника, к тому же её еще коверкают; и что тут, поистине, правая рука не знает, что делает левая.

Обозначая место начала действия, он развел руками, показывая:

*Задворки. Поэт по колено в крапиве. И начал гласить сызнова:*

ПОЭТ

Гамлет! Гамлет, где ты бедный!?

Может, Гамлет – это я?..

Череп самовара медный

Подняла рука моя

На задворках... Лебеда,

Как зеленая вода,

Засосала его весь...

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО  
Это кто горланит здесь,  
Мнет крапиву?!  
Я для куриц  
Сжать ее хотел, – *нахмуясь,*  
*Тут Паяло говорит...*  
*А поэт стоит, молчит...*

ПОЭТ  
Эх, старик, ты много жил,  
Светлой кровью оловянной  
Самовары ты лечил!

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО *про себя:*  
Пьяный, черт?.. Конечно, пьяный...

ПОЭТ, *указывая на крапиву:*  
Вдруг напомнила она  
Мне злострастье – дочиста  
Всю ее я повалил...

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО, *вспыхивая:*  
И плетень мне поломал!

ПОЭТ  
Только выломал голинку...

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО  
Если б я тебя застал!

ПОЭТ  
Я поставлю четвертинку...  
*Молчание*

Ивняков гласил, как бы потешаясь над стихами, даже глумясь, но тем напитывались они для неискушенных зрителей

какой-то особой, худой привлекательностью. Может, это и были уже скупленные Шитиковым еще в Ярославле у Ивнякова слова?.. То есть душетленные, как назвал их шепотом Порфирий Байков в словоиспытательной мастерской...

– Ладно! – *вдруг сказал Паяло,*  
*Сигареты достает...*  
Курица закокотала,  
Видно, яйцо снесет, –  
*Говорит Паяло снова.*

– Жарко, – *говорит Поэт.*  
*Воодушевляясь:*  
Огорожен белый свет  
Не плетнем, а синей синью...  
Преют паданцы, картошка  
Бело-розовым цветет...  
Дом Паяло твой теплыню  
Щели все прогрел, и кошка  
Вон, к воробышку ползет...

– Да, жара, – *сказал Паяло.*

ПОЭТ  
Кротко скрипнет в сараюшке  
Дверь Певучая Петля...

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО  
Самоваров ведь немало  
Облудил я, медь любя,  
Олово и горна запах...

Самовары жестяные,  
Словно головы пустые,  
Вот грохочут!

ПОЭТ

Да... простые

Люди

Знают, что такое труд, –

*Говорит Поэт, –*

Я верю,

Что поэма будет!

Череп –

*Протягивает подобранный остов самовара –*

Этот ты возьми, Григорий,

Сделай дымник из него!

*Заминка.*

Сделай для себя!.. Вино

Я тебе поставлю даром!

*И в саду за самоваром...*

Дочитав до этого места, Ивняков изобразил лицом сатирическую маску: сморщился, растянул рот, и стал выворачивать язык к носу. Григорию это не очень понравилось. А Иван с Ильей зашлись смехом над *потешателем и хитроком*. Как в театре одного актера, потешатель манипулировал руками, кепочкой на голове, изменял лицо, и гласил на разные голоса, изображая героев своей *драматической фантазии*: Григория Паялу, поэта, Григорьеву старуху, музейщика и даже воробья, который клевал корм у куриц из корыта во дворе и летал, подсматривая за поэтом и музейщиком, и знал всё, что творится в кладбищенской церкви... В общем, было видно, что это – человек с необыкновенным даром слова и сильным воображением.

## ГЛАВА 29

Ивняков разошелся, гласил так громко, что было слышно и на улице, и глуховатая старушка, шедшая проведать козу, привязанную на свежей травке за Гриши Яблокова картофелем, остановилась послушать, но ничего не поняла, только вроде как

песню «Когда имел золотые горы»... хором поют. Её хозяин пел на всю улицу Горького каждый раз в день получения пенсии, возвращаясь вечером домой...

ГРИГОРИЙ ПАЯЛУ ЗА СТОЛОМ, *работает.*

Там, где прежде *крант* торчал

Я отверстие увеличу,

Чтоб зимою душу птичью

Дымник, значит, привечал.

Читая, Ивняков неожиданно выхватывал из печурка то напильник, то клещи с молотком, или завалившийся там медный узорчатый самоварный кран и ловко оживлял ими стихи. А тут лучинками, сохшими на печи для растопки, помахал, как крылышками... Потом выдернул из подпечка ухват и орудовал им, изображая сердитую старуху.

СТАРУХА

А какую это птицу?

ГРИГОРИЙ

Воробья...

СТАРУХА

Ну, прикудница! – *говорит старуха,*

Гриша,

Ты не пил бы...

*Но на крышу*

*Уж Григорий залезал,*

*Чудный дымник прикреплял*

*Ножками к трубе кирпичной...*

Будет дымник – домик птичий! –

*Говорил он в тот же вечер...*

*А потом, как выпил:* Ветер, –

*Говорит, – жите земное...*

СТАРУХА

Что такое? Что такое?

В ответ артист комическим движением отвернулся от воображаемой старухи к чумазому челу русской печки, громыхнул ржавой заслонкой, всунулся в устье и заухал туда, как в черный зев великанши:

ГРИГОРИЙ ПАЯЛО

Ветру делаю дома!

Дыму делаю дома!

СТАРУХА

Старый черт! Сошел с ума! –

*Говорит старуха:* пьешь!

Долго ты не проживешь

Гриша, говорю, не пей!..

*А дворовый воробей,  
Враг кота, друг петуха,  
Сидя в тереме высоком,  
Думал: жизнь не так плоха! –  
Вглядываясь в землю оком.  
Думал: зря ты, Вася, так  
Думаешь и, точно пьяный,  
На дворе лежишь, простак...  
На уловку, как болвана,  
Ты меня не подманишь!  
Ведь я немышь!*

– Пахло от воробья, как от смолочура, зато клевал он досыта хлеба и картошки из корыта у беспечальных кур во дворе, – вставил другим голосом чтец. И опять, закатив глаза, отвернулся к устью печки и последнюю строку пропел туда сипло, будто там сидел кто-то, и Паяле мимолетно вспомнилось, как когда-то давно они в печке, настилая на под соломы, мылись с женой и дочек там же маленьких мыли. А поэт уже: – Эх, эх! – распрямился:

Жить бы всем ладком да миром,

Корма хватит. Но сронила

Две слезы – на грудь – во гроб –

Там Григорий: желтый лоб...

И лицо... – как виноватый...

СОСЕДКА

*Увидев, что слеза упала на покойника, с испугом:*

Пея, ты замочишь!...

*Второй соседке:*

Ваты!

*Пее:*

На, утри... Такой уж был он,

Все работал шубутной...

*Пея снова падает на грудь Григорию – убедительно наклонился к слушателям массовик-затейник.*

СОСЕДКА

Ну, замочишь, Пея!

ПЕЯ

Милый!

До свиданья, дорогой!

*Конусы сугробов, как золотые горы,  
Про которые Григорий петь любил,  
Но не ласковы старушек взоры...*

СОСЕДКА

Возчик-то ведь пьяный был,

*Говорит одна, идя в пыли серебряной*

*С Пеей под руку.* – Погода ветреная

Ветер массовый кругом...

*Говорит другая:*

Вот и дом!

ПЕЯ

Бабы, бабы, замело весь путь...

.....

*И калитка билась ветру в грудь...*

Григорий Паяло сначала был оглаушен картиной своих похорон, особенно этими словами: «Милый, до свиданья, дорогой!». Он давно чувствовал вину перед умершей женой, каялся. Как еще в годы совместной жизни задумывалось ему убраться первым, чтобы жена пожалела и похоронила его, чтобы на тот свет он ушел как человек, а не как бродяга! И теперь это тайное чувство в стихах, кривилось перед ним, передразнивало. И как-то глумливо уязвило: чувство вроде и правдивое, пока было на сердце Григория, – тут стало – чем-то не тем. Но хоть и возмущало – одновременно уже и льстило его зачерствевшему сердцу. Он, приотворив темный, длинный рот, слушал, усмехаясь уныло, и словно болезненно услаждаясь. Хотел, да, хотел сначала он, тут же, при гостях, послать поэта «подальше», но нелепость выступления во всем своем безобразии не дошла до него, и не потому, что он успел отхлебнуть из бутылки, спрятанной в поленницу, а потому что продолжалось время издевательства над словом, заразившее народ ложью, время продажи слов и облечения образов человеческих – которое не кончилось и теперь... Пусть прикидывается... *артист!*

ДВОР ДОМА

Что по крыше сапогами

Громыхнуло, как громами!?

ВОРОБЕЙ

Ой, человек,

Дымник снял!

МУЗЕЙЩИК

Двадцатый век...

Но сойдет...

Браду, как глыбу,

В руку взял:

Ну, что ж, спасибо! –

Он хозяйшкe сказал

И в музей свой зашагал.

Васька-кот сощурил глазки...

ВОРОБЕЙ

Дымник мой! Он, как из сказки!

-Был да сплыл, – курнычет кот.

ВОРОБЕЙ

Замолчи ты, обормот!

И с рябинки на рябинку

За музейщиком вослед

Полетел и на картинку

Вывески присел...

– Привет! – говорила ему галка.

ВОРОБЕЙ

Проломлю я купол палкой!

ГАЛКА

Что ты петушишься, брат,

Ведь музей не виноват!...

Перескажем вкратце. Воробей, сгоряча поселившийся за вывеской музея, упрям: недаром беспечальные куры чуть побаивались смолокура, лебезили, как пред петухом. Он летит с рябинки на рябинку проведать их. Вот и площадь, и собора кринки голубеют перед воробьем...

А во дворе ходят куры пред корытом хмуро. Не кладутся, не клюют корм. У, дуры! – шепчет бабка, – под топор бы вас! Вдруг летит родимый, постаревший. На забор садится и, конечно, чик-чирик! Послушайте рассказ! Про богомаза Филиппку...

И все курицы дивились: неужели все это в музее случилось? Что же тогда такое музей? А воробей не мог объяснить, потому что среди куриц один только петух понимал, что это такое ...

И опять сидит воробей на вывеске, слушает, о чем говорят музейщик и поэт. И не знает, что скопила бабка свежих яиц полтора десятка: хвалит – не нахвалит петуха.

Воробей слушает, но и сам не все понимает. О чем они спорят? Музейщик только начнет новую повесть рассказывать – Поэт оборвет: надо тебя вывести на чистую воду! Вроде кто-то у кого-то что-то украл... нет у самого себя украл... «На пушку меня берешь?» – кричит Поэт и выходит на паперть.

Воробей все-таки сам до конца не понимал, кто такой Поэт, и решил лететь за ним, следить, чтобы потом курицам пересказать всю жизнь Поэта и объяснить, что такое поэзия.

А Поэту – чего, он слышит: чик-чирик! Он воробья не замечает. Он шагает к дощатому сарайчику автостанции.

Воробей передохнул. Поклевал с голубями крошек. Если Поэт куда-то поедет, то за автобусом не так-то просто лететь...

Но нет, не стал Поэт автобуса ждать. Пошел. Тихо, успокоенно. И остановился у дома Григория Паялы. Посмотрел на голую, без дымника, трубу: сидит Арина, рот разиня!

Курицы сбежались. И воробей начал им чирикать, что скоро все выяснит.

Тише, тише, курочки! Вон, он стоит, Поэт, за тын держится... Видно, придется мне сегодня сразить его...

А поэт, стоя у тына, думал:

Двор, двор мой, выдерган из грядок лук и репка. И в саду порядок. Яблоньки стоят одна к одной. Приготовились листочки сбросить. Осень, осень! Золотая осень! Бабка кличет курочек домой...

Бабка вышла во двор со старой кастрюлей: вынесла курицам корм: типы-типы-типы!..

Пахнет деревянное корыто теплым хлебом... Кушайте досыта! Петя кокотнул и воробьи – прыг-прыг-прыг – к корыту подступают, из-под лап у куриц выбирают...

А один в сторонке: не клюет, за сторожа стоит.

Теплый еще куричий корм парит в осеннем воздухе... Бабка приговаривает: «Клюйте, ешьте»...

Двери, крашенные синей краской, крыша, крытая железом, красной. Двор-дворок, как сердца ты кусок...

В миску с водой упал сморщенный яблоневого листок.

Курицы завывали шеи – пьют.

Васька-кот, нет, я не обознался. Васька-кот, ты, видно, с кем-то дрался, или заболел? Глаза мутны... Стар ты, брат... И вот тебя под старость – отнесут в мешке к ветеринару. Даст укол, чтоб меньше маяты и тебе, и старой твоей бабке...

Воробей вусмерть умотался, летая за Поэтом. Почти час просидел на корявой ивушке у чайной, иногда для разнообразия прыгал по её затоптанному деревянному крыльцу, дожидаясь Поэта. Некоторые люди выходили едва теплыми, такому и на голову сядь – он не почувствует. А вот под ногами у таких мешаться опасно – он не видит, куда ступает.

Поэт же был в норме и слушал какого-то тощего мужика, грозившего в чайной: «У меня рука не дрогнет!» – и стукавшего кулаком по столу.

Как я могу узнать, что такое поэт? – уныло думал воробей. Вся эта затея – курам на смех... Но зачем, зачем они просили: поскорее, братец, прилетай! Расскажи, как ты его раздолбишь!

От усталости воробей, забыл осторожность, да к тому же и судьба его в последнее время избаловала. Когда поэт, это уже было около полуночи, пришел домой и открыл форточку – воробей присел устало у окошка...

Подсмотреть! – воробей решает наспех, чтобы утром курам на смех про поэта рассказать.

Ночь. Поэт ложится спать. Ему снится что-то страшное ... Просыпаясь, он садится за стол и пишет...

## ГЛАВА 30

– Перекур! – объявил тут Ивняков.

Но он так вошел в роль, что голова его в серой кепочке, которую он то и дело ссаживал на стороны, ходила, как на шарнирах, глаза горели ледяным голубым огнем. И нос у него будто длиннее

стал, и лицо какое-то темное... Иван, впервые рассмотрев это, удивился: какой темнело!..

– А тебя за ошорок потаскают, так ты лицом не потемнеешь? – подоткнул поэт Ивана. – Ха-ха-ха! – басом своим актерским...

Иванушка сидит, тоже хахалится, хлещет себя ладошками по ляжкам солдатских штанов.

– Где, – говорит, – ты начерпался всего такого, где так наблатыкался, в лагере?

– Там же, где и ты! – управляет своей кепочкой Ивняков. И так ее к голове примастырит, и эдак. – В культпросветучилище!..

Особенно, когда стихи читает, кепка у него вроде как целым костюмом становится. Сдвинет так – он Паяло. А снимет да затвердеет лицом этак – точный Иванушка! А сам всё Шитикова проверяет: хотел-де своё «я» показать с расспросными речами да пунктами! Сам-де он пункт, а не драматург... Ничего у него не выгорит!

– Значит, он спину нам показал? – смеется Иванушка. – Значит, тью-тью?..

Илья, тоже понимающе посмеиваясь, вынул из кармана недоенный кусок хлеба.

– Долго мне баки закручивал... Да я попросил Константиныча, тот его и махнул с квартиры! – Нёс, как телега по кочкам, Ивняков. – Только я все-таки не пойму – как он Петровым стал? Что там произошло, в Глинниках?

– Так он тебе говорил, что он – Петров? – насили вытолкнул из себя Илья Муромец. И упали у богатыря, звякнув сталью, руки: долит его смех внутренний – наружу никак не пропихнуть.

Вдруг глаза напучились, нагрозились. Забухало внутри... Подавился. Машет рукой...

– Не смейся с куском во рту, – говорит Иванушка да как ухнет его по спине – да как тут же привскочит – по железу-то больно! Руку отшиб...

– Ух-ух-ух! – досмеивается богатырь. – Не выдумывай!..

Ивняков руками помахивает, плечами поворачивает – как Илья Муромец: того больше смешит.

– Ну, ёшь твою... – с усталым смехом мотнул головой Григорий. – Как Чарли Чаплин!.. – Оговорился, у него получилось:

«Как Чапли Чаплин!» Он ведь и сам любил приставляться, и было язык выворотил, да Ивняков на середину пола, поближе к ним, сидевшим у стола, выскочил. Кепочку сорвал, руки раскинул, как ворон крылья. Вдруг отвернулся в сторону, как актер для перевоплощения, крепко по лицу кепочкой провел, и лицо Паялы стало трезвым. Паяло захрипел – то ли смех, то ли крик! – стоял перед ними: *один патрет*, как сказал бы Иванушка – Владимир Дмитриевич Шитиков:

– Да я и есть мастер Петров!.. Ха!

...Давно сбило, стесало время круглые щеки, прилизало волосы, вытянуло нос и выставило скулы. И многие, действительно, подмечали, что с годами стал походить Ивняков на своего учителя Владимира Дмитриевича Шитикова. Но подмечаемая схожесть была скорее внутренней, она угадывалась по подражанию в голосе, по жесту. И здесь в закопченной, обшарпанной паяловой избе, если уж точно сказать, то выступавший был похож не на самого Владимира Дмитриевича, а на его образ из сонного видения, в котором как-то с надежным человеком поэт Ивняков пришел его «брат» и обманывали перед началом дела – «вот, почитайте наши рукописи!» То есть сон тот приснился еще в Ярославле Ивнякову настоящему, правому, культработнику, а не левому, исподнему, словоиспытателю Ивнякову, какого тогда еще и в появе не было.

Узколицый, остроголовый, наклонившись горбато, как ворон, обходил он с протянутой кепочкой притихших, довольных развлечению зрителей. Иванушка не выдержал этого «приставленья», и хотел было бросить ему в кепку окурков. Но поэт, поймав его жест, снова отпрянул на середину пола – басом:

– «Отступник». Древнерусские сцены!

## ГЛАВА 31

Это «драматическая фантазия» была в той же манере, что и «Григорий Паяло», *налево* переиначивающая стихи *правого* Ивнякова. В ней будто бы продолжалось шитиковское воспоминание только в стишках, о деревне Глинники, сожженной татарами.



Вот из подвала вылез он, Шитиков, или отступник Кудиныч, как его стали называть. Все горшели перебиты, на холме стоит лес свиловатых березок... Но кто же это, такая страшная?

По середке деревни,  
И бела, и румяна,  
Здоровенная баба.  
Как синя щука, коса:  
Она косит, она огребает,  
А грабли  
Человечьи персты вместо зубьев...

– Кто будешь, краса? – взвыл он сдавленно и вперился в свою, сжатую в кулак кепку.

– Прочь, виденье ада, –  
*Говорит отступник, –*  
Я пойду, повешусь!..

Баба говорит:  
– Вешаться не надо,  
Зной какой стоит, –

Эти слова он пропел бабьим голосом и пробормотнул, будто бы передразнивая Илью Муромца: уф, жарко-парко! –

Почернеешь, миленький,  
Косточки иссунутся,  
Вид твой будет к Богу вопиять,  
А тебе прощения у Бога не видать...

– И он встал, как певица, сложив руки с кепочкой на груди, изобразив ими пышность, и запел:

– Забудут Глинники,  
Забудет Русь  
Твою измену...

– И, выбросив руки вперед, рывкнул за отступника:

– Я вскрою вены  
Твоей косой!..

И дальше – бабьим голосом и баском Кудиныча: пошел сгать со слова на слово, со слова на слово – закончив их свадьбой.

Вкруг ракитова куста они венчались –  
Ворон руку с кольцами принёс!..

Илья, Иван и Григорий Паяло, слушая, забылись: им казалось, что читает он минут двадцать. Хотя прошел уже час, если не больше...

Повторил он последнюю строчку, посмотрел пронизательно и, насунув кепочку козырьком на глаза, снова принял свой будничный образ...

Кричали, хлопали в ладоши, как в театре. «Парень свой, повторял Иванушка забывчиво, ничего тебе с таким талантом здесь делать, айда с нами в деревенский посад!»...

Ивняков, вскочивши на чурбан, раскланивался: видимо, был смущен таким успехом.

– Ой! – вдруг уколупнул он себя в затылке... – Папочку-то со своими сочинениями я там, на задворках забыл... И – в дверь... Хотя вроде папки у него и не было, или не обратили на неё внимания? «Может заговорился и по нужде выскочил – приперло!» – подумал Паяло.

Не скоро он вернулся. Но как время прошло – опять никто не заметил: тары да растабары. И когда он появился на пороге, какой-то растерянный – с папкой или нет? – опять никто не обратил внимания. Потому что поставил со стуком на стол сразу две бутылки водки, и, замолкнув, все, уставились на них, и пропустили мимо ушей, как он, непонятно усмехнувшись, пробормотал чуть слышно себе под нос: «Вот, черт, чуть не утащили!»

– Давай, налей, и читай дальше! – крикнул ему и затосковавший в воспоминаниях о жене Паяло.

Он так и сделал и, уже сев на чурбан, более спокойно, дочитал полностью – о том, как отступник Кудиныч собирал выплавки и жил в лесу с Бабой Ягой. Как сделал деревянного Ивана-дурака и деревянную царевну ему в жены, и как они приехали на сером волке в Петербург к князю, что Иванушке, конечно, не очень-то понравилось, только он виду не подал: «одно дело – в жизни, другое – стишки!»

## ГЛАВА 32

Больше всех, заглушая неприятный осадок в душе от деревянного Ивана, восхищался поэмой Иванушка-дурачок, его успокоило и рассмешило, что поэт и Бабу Ягу задел. Давно пора было! Да так правильно вывел: она, действительно, петь любила. Бывало, дерет пол с дресвой в сенях и вот поет, вот поет...

Он кое-что даже запомнил наизусть, особенно про себя: хоть и деревянным обрисован, а вроде – ничего, приличный. Вот, он, примерно, подходит к лесной избушке. Правильно! Он же не помнил, каким образом и откуда он появился в тёмном лесу царства, которое они потом назвали серебряным... А тут, примерно, описано как появился...

И все в себе или про себя Иванушка-дурачок – проговаривал припевки Бабы Яги: то к Кудинычу: «Перед добрыми людьми пройду белыми грудьми!» То к Ивану, «то есть, как бы ко мне»: «Перед мальчиками пройду я пальчиками!.. Раздайся, народ, меня пляска берет!.. Эх, пошла! Эх – ха!.. Шел я лесом, видел беса: на пенечке бес сидит. Эх! Обрезает с дрына кожу – прлушубочек кроит!»

Илья Муромец судил трезвее: конечно, спохватывался иногда он, эти лицедейные фантазии – «прелестные», то есть в добре не показывающие добра, но что же – все нам суровиться да с постным видом ходить?.. Напоследок и повеселиться можно, подавлял свои, как ему мнилось, малодушные предчувствия и пустые приметы, богатырь.

## ГЛАВА 33

– Однако, Ваня, и критика есть, – заметил все-таки Илья Муромец, переживающему постановку Ванюше – вроде как мы... – И он, встав, постучал маклыжкой руки по чурбану, с которого послушно поднялся Ивняков.

– Ну почему ты так, Илья Муромец? Сразу же и – критика! – И он схватился спорить с Муромцем, доказывать ему свое про то, что «прошлое, можно-де критиковать!»

Григорий дремал с торца стола в углу, у переборки, на «хозяйском месте». Осоловелые глаза его скозились в окно, стариковская муть их вдруг вспыхнула живыми бликами:

– Ну, чего смотришь, как *мутузко*? – попытался выговорить он, но с первого раза у него это не получилось. Пробовал пять раз. На шестой погрозил в окно кулаком с зажатой в нем потухшей сигаретой.

Илья с Иваном, сидя на лавке по другую сторону стола, спорили, напирая друг на друга, будто собирались бодаться лбами. Стукали друг дружку по коленкам. Но тут оба повернулись к окну, куда погрозил Паяло, и увидели, что за ними наблюдает любопытное лицо: кто-то смотрит в избу, зайдя со двора. Причем, Иванушка, разглядывая это лицо, продолжал запальчиво расхваливать поэму Ивнякова, которого, по его мнению, Илья принижал:

– Ну и чернушник этот Шитиков! У него не язык, а тарара во рту! А Ивняков? Ивняков – он и Петрова, и Кудиныча, и... – И Иван, обронив последнее слово, затих...

Все в избе теперь устались на приветливо глядевшее на них из окна женское лицо: широкоскулое, волосы гладко стянуты назад, костюм темный, строгий. Глаза кажутся маленькими на таком широком лице, да к тому же она прищурилась, улыбаючись...

Тук-тук-тук! – раздалось в другое окно, в большой комнате, где пол был у печки земляной. Илья Муромец вскочил, глянул – там в стекло уперлась козырьком серая кепочка Ивнякова. Ах, да они, заспорившись, и не заметили, как он вышел... вот артист! А с тылу избы в маленькое мутное оконышко, глядевшее в сосняк, унизанное пыльной паутиной с дохлыми мухами, тоже потюкало

робко, по-домашнему: там зазывно проглядывал уже знакомый женский образ.

Ивняков же сквозь стекло – слышится глухо:

– Это контролерша наша вас зовет... Пора!

– Надо хоть бутылки убрать, а то, как не у людей, – сказал Илья Муромец.

Иванушка встал против облезлого зеркала, застегнул ворот гимнастерки, ремень поправил. Русы волосы пригладил пятерней. И скомандовал по-солдатски бодро:

– Дядя Гриша, спать!

Илья Муромец в дверь – навстречу Ивняков.

– Недостойно нам, богатырям, в чужом виде ходить, – ответил Илья сдержанно, наткнувшись на вопросительный взгляд Ивнякова.

– Да что вы... что вы... Все понятно! – заводил руками, заиграл глазами Ивняков. – Все чин по чину...

И впереди, приосанившись, богатырь: рука на рукоятке меча – а за ним все другие, вышли во двор под чистоту вечерних небес. Илье Муромцу сразу же не понравилось, что у калитки за старыми досками забора собралось столько народу. Кроме полной, строгой контролерши – высокий мужчина в полосатой тенниске, да низенький – в голубой тенниске, да еще какая-то старая личность в сером пиджаке и большой кепке. Но что могло не понравиться богатырю? Ничего особенного не было в них. Разве что лица такие личистые: шапкой не покроешь! – и с желтью одинаковой? А у серого пиджака – лицо совершенно бурое, цвета оберточной бумаги, и в зеленой затенке под козырьком кепки.

Люди, как люди... Правда, проживешь-проработаешь с такими в одном учреждении и десять, и пятнадцать лет, и вдруг все чаще под плохое настроение будет тебе думаться... Думать так странно, будто ты попал в какую-то иную жизнь, и вот эти лица, этот в голубой, а тот в полосатой тенниске – инолюди, что кроме лиц-то и нет у них ничего. Живя вместе с ними, разговаривая, ты утягиваешься в какое-то жизненное небытие, где нет уже России, нет живой души, нет тебя самого, и хочется схватиться за подбородок и задрать край маски и этому розовому, и тому коричневому – а вдруг оттуда закружится тьма?.....

– Это все наши отдыхающие, познакомьтесь! – выпятив грудь и выкинув руки вперед, голосом конферансье выпорхнул из-за спины Ильи Муромца Ивняков.

– погоди, через порог не здороваться! – сказал Илья Муромец и, миновав калитку, обложив добродушием лицо, стал здороваться с отдыхающими.

Сначала со старичком в большой кепке – ничего; потом с голубой тенниской – тоже ничего; а с полосатой тенниской – мужчина рослый, широкоплечий: он долго тряс долонь Илье Муромцу:

– Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Ммм... – и вдруг, точно вольтовая дуга прошла по его телу – прогнуло его, как покляпую березу:

– Ай! – но Илья Муромец уже выпустил его руку, а то бы сок из неё потёк.

Ну, потом пошутили. Посмеялись, мало ли чего в компаниях бывает; и пошли в сосняк, на Каменку.

В то же самое время и Коля Волнушкин стоял во дворе у калитки и смотрел, как дачники пошли гулять. Он был очень в хорошем настроении, хотя на лице его это ни в чем не выражалось: все то же неопределенное, почти вечное страдальчество, все так же глядят и, будто не видят глаза, но там, за покровным материалом лица – всего много, и все такое хорошее!

Во-первых, вчера половину денег, сдернутых с Секлетей Грязновой, хоть и пропил с Адовым, но другой половины еще и на сегодняшний день хватит. Во-вторых, столбы бетонные, уже с неделю, как проданные Адову, все еще стоят на корню, значит, вроде как пользуется он ими бесплатно.

Еще он и вот что задумал, и тоже приятное: пойти к Грише Паялу, отнести мастерок да и выставить на стол бутылку, чтобы знали, что Волнушкин, когда у него деньги есть, один не гуляет. Не может он один пить, хоть и из бригады ушел, такая уж у него душа!

Он уже не раз выезжал в своих ботинках во двор и прислушивался, и по голосам, пробивавшимся из Паяловой избы, стал догадываться, что Паяловых квартирантов не удивишь – у них и своего хватает. Поэтому он придумал еще лучше: сходить к ним

и просто отдать мастеров, и, может, сегодня они устыдятся и нальют. А про то, как с ним намеренно обошлись немилостливо, он уже не помнил, зла на душе не держал.

Стоя с мастерком на своем дворе, подслеповатыми глазами он вряд ли рассмотрел, что за наряд на Илье Муромце. Да и народа собралось вокруг богатыря много, заслонило; когда все пошли к сосняку, Коля подумал, что к Паяле к одному ему еще лучше идти, у Паялы и попросить можно: дядя Гриша, налей!

И он уже отвернул вертушку и переправил одну ногу через маленький порожек на улицу, как вдруг почувствовал, что левую его руку что-то сильно дернуло, и, будто ток прошел по всему телу, почти так же, как после рукопожатия Ильи согнуло и полосатую тенниску; и Коля Волнушкин схватился за бетонный, уже адовский столб, и увидел, как по глубокой пыли – побежал-побежал мастеров вослед за идущими к лесу дачниками...

Тогда он, пошатываясь, со слезами на глазах, проехал в избу – один ботинок так и не доехал, остался в сених. Лег на лежанку и заплакал вслух, думая о том, как вино погубило его жизнь.

Со стороны сосняка смотрелась, восходила неприступно высокая сизота небес, будто зола сгоревшей вечности, и на фоне её, в прорвавшемся луче заката, бледно-салатный свет замолодевших березок слабо зарделся на опустевшей улице. Будто это пустота с пыльного зеркального хребта *тамошнего* – ослабилась наружно широкомордой злой улыбкой: дело сделано! Теперь Иванушка-дурачок и Ильа Муромец, необдуманно вступившие в лес с мнимым Ивняковым, были обложены плотно. Не вернутся они к Григорию Паяле.

## ГЛАВА 34

– Товарищи отдыхающие, прошу вас взять чуть левее, выйдем прямо к устью Каменки! – весело погоняет их Ивняков.

А Ильа Муромец обложил лицо доброхотством и знай в сторону идет, будто не слышит, можжевельные кусты да молодые сосенки так и хлещут по сапогам...

– Ой, а я тут весь капрон изорву, – говорит контролерша.

– Товарищи, товарищи, – забежал Ивняков вперед, загораживая дорогу.

А Иванушке да Илье Муромцу потому не охота по тропке идти, что там, на окраине заброшенного поля, у загущенного молодого соснячка схоронили они своего ратного товарища. Зачем это, не с умыслом ли нас через могилку его безымянную ведут?

Тогда высокий, в тенниске, у которого одна зеленоватая желть из лица здесь, в лесном свете, глядит – возмутился:

– Так мы, товарищи, и на вечер опоздаем... – Он шел со своим спутником позади, нарочно отставая.

Все встали, поглядели по сторонам на алеющие от косога солнца прогалы между красных стволов и затопали послушно за Ивняковым по тропке. Заповедные сосны расступились, и неприветливо затемнел загущенный молодой соснячок. И опять встал Ильа Муромец. Там, в небольшом впалом песчаном месте на окраине поля, где были зарыты останки Блуканова, скормившего себя орлу, там, прямо на могиле, горел костер!

Ильа Муромец хотел было что-то вымолвить, но лишь подвигал бровями и пошел быстрее прямо на костер. Иван, размахивая руками, со злобным лицом опередил его, оттолкнув с дороги Ивнякова:

– А вам кто тут, в лесу, палюшку разводить разрешил?

Ивняков догонял его испуганно. Полосатая тенниска посмотрела на голубую – понимающе ухмыльнулись друг другу, и так, в подобиях, продолжали переговариваться взглядами.

– На уху выехали? Вино распивать? – сек их криком Иванушка, а сам рассматривал, не разрыта ли могила.

Вроде ничего, все в порядке. Ивняков, раскинув руки, словно загораживая сидящих у костерка, зататорил, оправдываясь:

– Это товарищи из области... Разве бы нам разрешили самим такой спектакль поставить? Это актеры из тюза нефтеперегонного завода!

– Актеры – так, значит, им и на природу наплевать? – уже, весь выкричавшись, продолжал только внешне негодовать Иванушка. А сам все поглядывает на актеров: вай-вай-вай! Ну и

лица... Поперек себя шире! Так куклы раньше в деревнях шили из холщевых обрезков, набивая опилками: голова – круглым мешочком, безлица, и бумажным, нарисованным лицом накладным обернута. Точно! – вспомянул Иванушка и оглянулся подозрительно назад, на двоих в теннисках.

– Товарищи городские, им сосновая здравница в диво... Вот и вышли чайку на природе попить... Ладно, товарищи! – вдруг резко обратился Ивняков к актерам. – Пора!

Илья Муромец медленно, с длинным лязгом вытянул нестарую сталь из ножен, все от него попятнулись, а он с грустным по-бабьи лицом завалил костер ломтями подзола. И молча по обочине поля прошли на берег Волги.

Тут Иванушка увидел свежие, широкие пни и снова стал ругаться, что лес – заповедный, а местное начальство продало его на спил тресту газовиков. Второй секретарь райкома-де разрешила.

Вот и база отдыха... В поливе, то есть на участке берега, затопленном весенним половодьем, среди осоки на фоне замершей вечерней Волги стояла старая двухэтажная пристань, даже и надпись была оставлена. Ни Илья Муромец, ни Иванушка-дурачок не знали, что базы отдыха на ней фактически нет, потому что санэпидстанция запретила использовать пристань в качестве здравницы по отсутствию санитарных условий, а, попросту говоря, из-за того, что плавучий дом отдыха, закупленный газовиками, не имел ни туалетов, ни другой сантехники.

Если бы Иванушка-дурачок и Илья Муромец знали это, то они бы, наверняка, заинтересовались, как это необитаемая, уже второй год гниющая в поливе пристань, не только заполнена отдыхающими, но они еще и ставят спектакль «своими силами»? И как эти силы живут в каютах, где давно уже все, что можно, снято и унесено местными жителями?.. Уж не сила ли это нездешняя? Нет, разговаривая, как и две тенниски: больше в подобию, намеками – они равнодушно поглядывали на Волгу.

А свита поджидала, пока отдыхающие, засучив штаны, брели к ним с пристани к берегу.

Илья с Иваном не стали их ждать, пошли вперед за Ивняковым.

## ГЛАВА 35

В устье Каменки на просторном травянистом берегу, где грудился заготовленный булыжник да приткнулась к нему на цепи старая лодка, стоял балаган, сколоченный на скорую руку. Он был покрыт той сетчатой мешковиной, которую обыкновенно употребляют для театральных декораций в окрашенном виде. Но Илья Муромец и Иванушка-дурачок даже не остановились у балагана. С детским удивлением, выкрикивая друг другу:

– Смотри! Смотри... – Пошли к карусели, раскинувшейся цветным колесом дальше на мыске берега: плотно подступали к ней разлапистые, тесно стоявшие сосны, а понизу, в заутенье, темные осиновые кусты.

Вот было диво, так диво!

Карусель-то вроде обычная, да люльки для катания необычные: сядешь, а напротив – еще одно место. Но не пустое, а занятое. А на этом занятом месте...

– Вай-вай-вай-вай! – опять раскрыл рот Иванушка – сидит старик, как живой, только притих, и улыбка у него притихла.

А лик-то, лик! – из коричневой земли-рыхляка, и поливой молодой, блескучей, полит – от того и улыбка такая живая.

– Я сюда сяду! – кричит Илья.

– Нет, я! – перечит Иван.

– У тебя еще материнское молоко на губах не обсохло... Вон тут их сколько, идолов-то этих! – ярится Илья. – Мне старику по чину со старыми сидеть... Ты знаешь, что мое имя значит?

– Что?

– Илья – значит «крепость Господня».

– А мое... И – хотел сказать Иван, но у него вырвалось «ой!» И он забыл про крепость Господню... Царевна!.. Он потянул карусель, чтобы сама она, царевна, подъехала к нему. Карусель ни с места...

– Илья, пособи!

– Товарищи, – вскричал за спиной Ивняков. – Товарищи... – и такой укор был в его голосе, что оба обернулись.

– Товарищи, товарищи... – еще несколько раз повторил Ивняков растерянно... И все отступал. Взгляд – дикий...

– Да что такое? – взъерепенился Иванушка.

– Просьба к отдыхающим занять свои места! – требовательным голосом объявила контролерша. – Не ломайте карусель. А еще военнослужащий, – подошла она к Ивану. – И поэта не обижайте. Надо же по порядку. Сначала литературно-художественная часть, а потом развлекательная...

За каруселью под толстой сосной стоял деревянный поставец, шкаф, крашенный охрой, с открытыми дверцами, а на полках: лапоть, рубель и валец для белья, черная глиняная корчага, стеклянная четверть из-под водки, серебряный николаевский рубль. Рядом стояла старинная дубовая лавка, а на ней липовая зыбка-загибка, но Илья Муромец на эту рухлядь даже не посмотрел, а Иванушка посмотрел, но ничего не сказал.

Когда Ивняков их увел к балагану, и контролерша там уже лгисто говорила Илье Муромцу: «У вас костюм хороший – как раз для первого ряда» – из ольховой заросли вышел старичок, лесной объездчик, посмотреть, не зажгла ли компания костра на неполюженном месте. Он с удивлением оглядел балаган и подошел к поставцу. Сразу же около него оказался экскурсовод, тоже из отдыхающих, и объяснил:

– Это декорации к нашей постановке. То есть выставка народного древодельного промысла... Вы знаете Тусклякова?

– Как же, слышал... И в газете читал, – кивнул объездчик.

– Вот Тускляков и помог нам... Он музей под открытым небом хочет открыть. А это первый опыт – выставочный киоск...

– Да... не на что смотреть, плохо жили! – опять кивнул объездчик с уважением и пошел своей дорогой, думая: «В таком шалмане даже переночевать нельзя, а они какую-то выставку со спектаклем затеяли. Да, люди нынче пошли не то, что мы».

## ГЛАВА 36

Брезентовых раскладных стульев, стоявших перед балаганом, всем не хватило. Уселись, кто на чем, и, как всегда, стали ждать.

Ивану и Илье уступили первые места и стулья самые лучшие. Пока они дивили собравшихся своей необразованностью перед каруселью, на «малой сцене», как это называли все вокруг, а, попросту говоря – на вытопанной домертва земле впритык к балагану появилась декорация: половина целиковой березы, обряженная в огромный сарафан. Сучки были грубо обрублены и торчали во все стороны, как бивни.

Больше никаких декораций не было, потому что спектакль ставился по новой моде, для людей знающих, поэтому и декорации по-домашнему отсутствовали. Или были «вынесены за скобки», как кто-то сказал за спиной богатыря. Речь шла, видимо, о карусельных идолах.

Кроме березы в балагане стоял еще стол и чурбаны, как у Гриши Паялы, для актеров. Они, не стесняясь, готовились прямо на виду: устанавливали поудобнее чурбаны, раскладывали тексты ролей перед собой. Костюмы у всех одинаково скромные, темные; подстрижены коротко, тоже одинаково; присмотревшись, можно было узнать в этих ребятах и кэгебистов, особенно по выправке; ходят, как строевики: руки – на отмахку, ноги – враскид, по-пруссски носками вверх...

– Что-то мне не нравится вся эта затея, Илья Муромец. Как в тайге, в лагере, – заждавшись начала, заметил со знанием дела Иванушка-дурачок.

– Я там не был, – буркнул, приготовившийся дремать, богатырь. По сторонам он не смотрел. Ему не терпелось, когда закончится весь этот шалман и можно будет, как когда-то на коне – покататься на карусели.

Иван еще хотел что-то добавить – так и подсасывало на сердце! – но тусклая мысль его отбегала и рассеивалась...

Постановщик, поэт, да и все лицедеи хотели, видимо, чтоб у них было не хуже, чем в столичном театре. И разговоры зрителей были такие же значительные, исключительно о политике. Кто-то сказал довольно громко:

– Профаны, даже синтетика не видели...

Другой, как и обычно бывает при каждом интересном спектакле, говорил, что здесь под именем главного героя выведено

одно очень высокое лицо. А прочие, более мелкие обличительные намеки упрятаны так глубоко, что их и... И дальше только шепот, а потом, забив его, кто-то ляпнул за спиной почетных гостей: ну и что-де, что Илья Муромец... вот если бы Микула Селянинович – это бы и было воскрешение мертвых... Как у Тимофеева! Тс-с! – остановили его. Хорошо, что Илья не услышала, а то за это критиканство наломал бы рога, как выражался Иванушка.

Наконец, все было переговорено, а спектакль все не начинался.

Томление зала передалось и артистам. Они о чем-то посоветовались. Ивняков встал и объявил самым обыкновенным и уставым голосом:

– Товарищи, представление по техническим причинам задерживается до наступления полной темноты! Просим своих мест не покидать...

И он взял прислоненный к стене кол с плакатом, обернул к снова зашептавшимся зрителям. На плакате название спектакля: «ВЫПЛАВКИ. Драматическая фантазия».

Иванушка-дурачок, напрягая в сумерках зрение, прочитал это слово по складам вслух, а Илья Муромец в уме. И у обоих сошлось. Помолчали. Подумали, что не зря на седалищах карусели было много чудных образов из березового наплыва: всё какими-то кренделями. Потом Иванушка начал шептать:

– И чего это им наш Петров задался? Все про него плетут... А про меня вот – маловато...

Снова смирехонько помолчали-подождали. И потом Илья Муромец, подумав: «Ну, наверно, какую-нибудь охальщину готовят», – пригнулся к Иванушке:

– Помнишь, как ты рассказывал, что с Петровым да с лучшим по лесу блудились?

Иванушка хотел ответить, но тут в балагане с боков зажглись два ярких, разноцветных луча и задвигались, как большие усы, щупая сцену. Вперед, к плакату выступил ведущий Ивняков. Он также исполнял роль и Кудиныча, и Петрова. По сюжету эта драматическая фантазия продолжала две первые, продекламированные в избе у Григория Паялы.

– Кудиныч уже живет в девятнадцатом веке, – объяснял из балагана Ивняков. – Нашим зрителям известно, что Кудиныч – это отступник, изменник, получивший долгую жизнь, которого может сразить только Илья Муромец! Прошли столетия, исчезла с лица земли деревня Глинники. На холме Покойники у Кровавого ручья кипит новая жизнь... – И, выступив вперед, поклонившись знатным гостям, он вывел, указывая на березу в сарафане:

Погляди-ка ты, Илья Муромец,  
На березу эту на покляпую,  
Изрослась она в сук да в болону.  
Как пристигла тебя, добра молодца,  
У березы у покляпой ночка тёмная,  
Обуяла тебя во сыром бору...

За спиной его с одобрительным шепотком актеры сплотились в хор, и мощным былинным стихом величали Илью Муромца по-ученому: «крестьянским сыном, старым казаком и дородным добрым молодцем». А Иванушку – пропустили, ему стало завистно, и он, делая вид, что поудобнее рассаживается на креслице, сказал ни к селу, ни к городу: «пой, пташечка, пой!» Но Илья не обратил внимания: хор распелся, да так складно, как век Илья Муромец не слыхивал:

Вон уж, у того холма Покойники,  
Там стоит, растет част ракивов куст.  
А под тем ли под кустом – заутеньце,  
В заутенье две баклажки глиняны.  
Там в одной баклажке вода родниковая,  
А в другой-то во баклажечке добрый квас.  
Вон уж, у того ли Ручья Кровавого  
Молодица молодая жнет во поле рожь.  
Молодица хороша, купава, да несчастлива:  
Она ребеночка себе в девках добыла,  
Ребеночка, дитя заугольное, зазорное.

Заугольное дитя на ополье сидит,  
Глупыми глазенками таращится:  
Все на красные цветики глядит.  
Как увидело оно красны эти цветики –  
Вспоминало оно сказ старой бабушки  
Про «васины кудри», красные цветы.  
И зашлося плачем дитя заугольное:  
– Ты не трожь, родна матушка, красны цветы –  
Это волосы человеческие кроваво цветут  
Которых горшелей убили злые татарове!  
В те поры к ним с горушки старичок спускается,  
Ликом – молодец, румян, да волосом-то он сив да сед.  
А на спине несет чурбан березовый,  
Свиловатый, бурый да чудной чурбан.  
Молодуха, где-ста у тебя – ты испить воды подай!  
А сам глупому парнишке улыбается:  
– Ты, глуздырь, смотри, какой большой!  
Неразумное ты чадо человеческое,  
Дитя заугольное, зазорное,  
Как по виду, по породе-то ты Филиппка-богомаз вылитый,  
А по разуму бы ты был первый мне помошничек!..

На другое лето молодлица в том же поле жнет.  
Идёт тот же старый матерой человек,  
За спиною несет выплавку, свиль березовую.  
Говорит отчестливо, просит воды испить:  
– Бог в помощь, молодлица! Ты мне, старому, испить подай!  
Уморился я по жаре, свиль таскаючи...  
А кто он, стар не сказывается, не называется.  
А рубаха на нём посконная, лапоточки берестяные.  
Не воды ему подносит молодлица – квасу доброго.  
Не успела оглянуться, а уж нет старого,  
Будто бы примнился стар, поглазился,  
Лишь баклажка – насухо пустым-пуста,  
Да трава на месте, где стоял он, стар, – распрямляется...

Иванушка хотел кольнуть богатыря, что «тут на тебя пьем, Илья, какой-то то намёк, а, может, и подначка», да махнул рукой. Потому что хор уже отступил во тьму. Остался один Ивняков. Тут контролерша, встав с другой стороны, как это обыкновенно бывает на сцене, стала добавлять подробности, подпевать, но о чем, не всё можно было разобрать, потому что рядом в лесу послышались удары топора: рубили дерево, потом начали трещать сучья, и чей-то голос закльктовал в динамиках балагана, подвывая и напирая на «о».

Стук топора, точно перерубающий стихи, стал затихать, а голос из лесу – приблизился. И стало ясно слышно, что он кривляется, вытягивает слова, подгоняя их к рифме. И зрители, сидящие в темноте лесной на последних рядах что-то свое стали прибавлять к стихам, передразнивали их.

Иванушка-дурачок обернулся и, не выдержав, одёрнул:

– Тише, сапожники!

Но Ивняков под крышей балагана, наоборот, то улыбался, то морщился, вслушиваясь в помехи и, делая вид, что вот-вот начнет говорить что-то серьезное. А на Иванушку зрители недоуменно зароптали, потому что у них по сценарию была так намечено: начинать представление из зала и даже из лесу. Лесные хулиганские голоса еще докрикивали последние слова, то визгливо, с верещанием, то глухим басом разговора между молодухой и старичком Кудинымчем, когда они встретились в поле в третий раз... «Как зовут дитя? – Зовут?.. Васяткой... Васятка!..

Васятка тянется к бурой березовой выплавке, а мать оттаскивает его от подозрительного старичка: волос сед, а ликом – молодец... «Не старайся, милая, все равно ведь он ко мне придет! Ха-ха-ха!» И в задних рядах захохотали, снова пошел треск по лесу... И так часто во время спектакля возникали глумливые клики и непонятная лопотня из темноты. А законные актеры на свету настраивались на них серьезной игрой и получалось – будто передразнивали их со своей стороны. Плутало эхо по лесу, звуки вытягивались, как деревья, становилось страшно, точно кричала ночь, все предметы ожили, как резонаторы голоса поэта. И эхо это странное, будто не откликлось, а само закликало...



Лесная ночная невидь еще докрикивала свое, а Ивняков-ведущий уже гласил свое, будто переводил этот хаос на серьезный лад.

Тут опять, уже повязанная по-деревенски платком, как акулина, вступила контролерша и запела ярким, визгливым голосом канавницы:

Отстает Васятка  
От родимой матери.  
Посмотреть –  
Так ладный,  
Точно перстенек.  
– Так ли, милый Вася,  
Живут твои приятели? –  
Не впервые мать ему  
Говорит в упрёк...

Ягодка скатилась  
С сахарного деревца,  
Покатилась во поле,  
Красная, а там  
Только что собралась  
Обернуться девицей –  
Ан, уже досталась –  
Лакомкам-дроздам...

Матушке родимой  
Эта песня нравится.  
Я же ведь не девица, –  
Вася говорит.  
Мать в его волосья  
Накрепко вцепляется,  
А Васятка терпит,  
Столбиком стоит.

И контролерша, сорвав с головы платок, сделала им некий отчаянный жест, намекнувшим на что-то неприличное... И бы-

стро прокричала ту запавшую Иванушке в память частушку про то, как и из чего «сидя на пенечке бес полушубочек кроит...»

Опять зашумело, заплутало по лесу: скрипучие стоны, лопотня, восклицания тянулись из тьмы, из нутра деревьев или сквозь землю, а один голос шарахался: будто кто-то там – перебежал, выкрикивал, путал. А другие – тяжелые, стелющиеся, природные звуки и их тени, как слепые, ловили его своими повторами, искажениями, но только со стонами натыкались друг на друга. Да и зябко же стало у воды, и туман от нее сырой, хоть телогрейку надевай. Начиная с этого места, актеры в одинаковых костюмах стали уходить из балагана и исчезать в темноте, «за кулисами», а оттуда появлялись уже в старобытном платье – точными копиями скульптурных декораций с карусели, так, что Иванушка сначала подумал по простоте, что это сами идола карусельные и есть. И отступник Кудиныч, и древоделы, и Баба Яга. Еще женского пола в балагане была лишь контролерша в черном костюме. Другие женские роли исполняли те же ряженые молодцы с накладными волосами, грудями и бедрами. Глумилище! – не одобрял это про себя Муромец.

Ивняков гласил, а идола сначала стояли, покивывая, делая жесты; потом у них прибавилось разговора. Ивняков вставлял только ремарки...

Зрители долго хлопали, когда на стол сам прискакал и установился зеленый стеклянный штоф в виде медведя. Иванушка даже повернулся к Илье и улыбнулся чудной, мечтательной улыбкой: «Во как!»

## РЕЗЧИКИ

На столе медведь  
Зелена стекла:  
Хорошо медведь ходит,  
Хорошо наливает.  
А Кудиныч угощает –  
Ладонь тепла  
На плече твоём лежит –  
Много обещает.

– В каменной Москве, –  
Так Кудиныч,  
Подпив, говорит, –  
– Времена, мой дорогой,  
Изменилися...  
Там избушка  
На одной ноге стоит  
Сама Баба Яга  
В большой милости...

Она замужем теперь  
За Иваном-дураком,  
А Иван-дурак, Васятка,  
Стал царевичем.  
Серый волк ему  
Стал добрым конем...

Говорит Васятка:  
– А мне не верится...

– Что ты, Вася, говорит  
Тут Кудиныч,  
– Миша, ну-ка ты!  
Подойди к его стакану,  
Сделай вид,  
Вася, глупый ты!

Все изделия  
Древних лет  
Деревянные  
И даже – лапотки  
Поднялись в цене  
До больших монет...  
Аль с тобою мы бесталаные?!

Аль у нас с тобой  
Нету сверл, дрелей,

В пропиловке мы не смыслим,  
Аль не резчики,  
Аль карманов нет  
Для больших рублей?!

Говорит Васятка:  
– Делать нечего!

– Двадцать пять копеек  
Кубометр – всего:  
На дрова как бы ты  
Заготавливаешь –  
Погляди-ка ты в окно,  
Сколь берез там свело,  
Сколько свили-то...

– Ну, ты и заговариваешь! –  
Говорит Васятка,  
А сам лыка не везет,  
А медведь зеленый  
Ему подмигивает:  
Он-ста в гости придет,  
Его матке подмигнет,  
Скажет: – Васю отпусти! –  
Дело выгодное...

– Ну? – Кудиныч ему  
Уж угрюмо говорит:  
– Что ты, чадо человеческое?!  
А Васятка окосел,  
Он под стол норовит,  
Засыпает, рычит:  
– Мы-ста резчики!

В ЛЕСУ. КУДИНЫЧ И ВАСЯТКА  
Сосенки, как церковки зеленые.  
– Ты не трогай, сосенки казенные!

– А рябинки? – Вася говорит,  
Глядь, а под рябинкою сидит –  
Девка... А Кудиныч за бок – хватя:  
– Видно, померещилось опять, –  
Говорит Васятка: – Девки нет!  
Видно, тут, Кудиныч, чертов дед  
Подшутил...

И тут попалась липа,  
Он ее срубил за ради лыка...

Закурить собрался... – Эй, ау!  
Где Кудиныч?..  
– А змея траву  
Простегнула перед лаптем. – Эй!  
Заблудился с липою своей, –  
Говорит Васятка...

Но лесник,  
Как из-под земли пред ним возник:  
– И зачем ты липу-то срубил,  
Я ж тебе, Васятка, говорил!..

– Вот осина, – говорит Васятка, –  
Горькая...  
– Конечно же, несладко, –  
Говорит Кудиныч, –  
– Когда в спину  
Всадят кол из дерева осины!

Вот березка – извилась винтом.  
– Свиль ее, Васятка, топором  
Подсеки-ка! – говорит товарищ:  
– А потом – пилюю...  
Что тарацишь  
Ты глаза, Васятка?!  
– Я боюсь,

Болона какая!  
– Ты не трусь...

– Нет, Кудиныч, это не к добру,  
Свиль такую не свалю ни в жизнь...

– Неужели не по топору?  
– Нет, Кудиныч, сам ты гоношись!..

Молодой и старый,  
Вышли они из лесу...  
За плечами тащат  
Бурые горбы...  
Говорит Васятка:  
– Больше я не вынесу!..  
Зеркалом за поясом  
Блещут топоры.

Говорит Кудиныч:  
– Ладно, хватит,  
Вымочим,  
Высушим в тенечке.  
Бурых лешаков  
Вырежем  
Да выручим  
Денежки и – точка!  
Подивим резьбою  
Младых и стариков!

– Купят ли?

– Васятка!  
Не мути мне воду! –  
Говорит Кудиныч:  
– В Питер отвезем...  
– Боже мой, Кудиныч!..

– Здесь же ведь народу  
Нету подходящего,  
Сбыту не найдем...

#### РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Плотнику товарищ клин,  
Потому что плотник  
Мыслит топором,  
А тебе товарищ один  
Нож  
С обыкновенным острием.

Ты и так им, ножичком,  
И этак,  
Чтобы вышел ладный лешачок:  
Волосы из веток,  
А лица-то нету,  
Только нос – крючок.

Кулаки по пуду, точно самовары,  
А по телу – травы...

Над копытами кудит Кудиныч...  
Тут Васятка может отдохнуть...

Козьи, коровячьи, лошадиные,  
Все копытца – силятся шагнуть.

#### ЗА ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

– Ты не езд, Вася, к Яру,  
Много денег не теряй, –  
Говорит Кудиныч, – а по праву  
Первому, Васятка, наливай  
Своему учителю. Тогда –  
Выпил и закашлялся, но в спину  
Бил его Васятка: – Не беда!

Дорогой Кудиныч, перва рюмка  
Завсегда колом, вторая – соколом...  
А Кудиныч поперхнулся, да как хрюкнул  
Под его веселым кулаком.

Лешака посадили за ради  
Праздника,  
Даже налили стопочку:  
– Пей! –  
Тут Васятка, хоть пьян,  
А глядит – у проказника  
Деревянного – рот до ушей! –

Рюмочку уж хлобыстнул,  
Вторую  
Наливает...  
А копытце – цок.  
Говорит Васятка:  
– Ты колдуешь?..  
Говорит Кудиныч:  
– Я, сынок!  
Залился горячими слезами,  
А Васятка головой трясет...  
И глаза защурил: пред глазами  
Лешачок сидит, орет:

– Дорогой Кудиныч,  
Полегли все глиняники,  
Ты один в подвале  
Скрылся, просидел...

Ну, налей мне, миленький,  
Ну, налей мне, миленький,  
Уж такой у нас с тобой,  
Братец мой, удел!

А Кудиныч ему мигает...  
А лешак все пьет, все пьет.  
Тут Васятка глаза открывает...  
Понимает, что он лыка не везет.

#### ТРОИЦА

Утром встали. Говорит Кудиныч:  
– Надо  
Съездить в церковь...  
Да и тронем в путь.

#### Троица.

Весеннюю отраду  
Колокольный звон вливает в грудь.

Едут. Девушки березки  
Завивают у реки  
И гадают: чьи вы дольше  
Не завяните, венки?

#### ДЕВУШКИ

Мы, березки, к вам пришли  
Со яичницею...

– Подожди, Кудиныч, – говорит Васятка.  
Вылез из телеги, к девкам подошел.  
Пели девки складно, пели девки сладко,  
Так и захотелось: взять – поднять подол...

Вдруг старуха черная идет,  
Голова ее, как метла,  
Растрепана,  
И в руках старуха несет  
Зелень ветки,  
От солнца теплую...

Над наличником, над окном

Примастырит,  
Помянет родителей.

#### СТАРУХА

Вы уж стали давно  
Зеленьем ветьем,  
Из могилы пахнув томительно  
По весне молодым теплом...

Ваши души в березках теперь...  
Поселились на лето летеньское...  
Я к зиме уберусь,  
Лягу в ту же постель,  
Вот мы, милые,  
Тут и встретимся...

Вдруг ударил перекатами  
Колокольный частый звон.

Пашни дрогнули за хатами,  
Дрогнул чистый небосклон.

– Шла свинья из Питера,  
Вся спина истыкана –  
Отгадайте, – говорит мастеровой.  
Ребятишки отгадать не могут,  
– Тятя, тятя! – кличут на подмогу  
Для загадки самой, что ни есть простой...

И выходит тятя,  
И борода – в горстку.  
Говорит, не глядя:  
– Это же наперсток...

А мастеровой на глаза – козырек  
Лакированный,

И блеснул глазок:  
– Ну и головы  
Вы дубовые, –  
Говорит мастеровой:

– Загадаем мы загадку вам сегодня  
Неотгадливую...  
Тятя шурится,  
Лопатку  
Бороды своей полавливая...

ТЯТЯ  
– Слаб для стенки, парень, слаб.  
В Питере-то возле баб  
Находился?..  
Нос-то у тебя не провалился?..

МАСТЕРОВОЙ  
В Питенбурге денег много,  
Только даром не дают...  
*Толкая:*  
Уступи-ка мне дорогу,  
Не считай, братец, за труд...  
*Драка...*

Вот заходят они в церковь,  
Да под синим куполом,  
Прямо в образ оком целясь,  
Кланяются, глупые.

А на головы листовки,  
Или прокламации.  
Боже! Троица! Неловко!..  
Кудиныч рад стараться.

Он портретик из кармана  
Вынимает – видят: царь!..

КУДИНЫЧ  
Чтобы не было обмана,  
Поцелуйте, государь  
Вора вид не выдержит...

ТЯТЯ  
А кулак мой выдюжит...

МАСТЕРОВОЙ  
Это что еще такое?  
Кто ты будешь, старый черт?...

КУДИНЫЧ  
Чтобы не было разбоя,  
Взять скубента в обработ!

МАСТЕРОВОЙ, *выняв* револьвер:  
Это вам не по нутру,  
За свободу я умру!..

ТЯТЯ  
Сеня, сзади! Ванька, в ноги!..  
Что наган против оглобли?..  
*Свалка*

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ЦЕРКВИ  
– Отходили хорошо... и дело! –  
Говорит Кудиныч...  
Под хмельком  
Едут резчики,  
Уж солнце село...  
И роса парит под колесом.  
– Что, Кудиныч? –  
Говорит Васятка, –  
– Помешал он, что ли,  
Нам, скубент?

– Ты не видишь, что ли,  
По ухватке, –  
Говорит Кудиныч:  
– Элимент!..  
Этот нам напортит,  
Из нагана,  
Волю дай –  
Всех в Питере убьет...  
Волка... Даже дурака Ивана...  
Кто же наших лешаков возьмет?..  
– Так, Васятка. –  
Говорит Кудиныч...  
– Знать, не зря мы наломали спину,  
Труд пропал бы...

– Это факт, пропал...  
Ехали, уж путь в лесу лежал.

#### ПЕТЕРБУРГ, ВЫСТАВКА

*Деревянные Ванюша-дурачок и царевна на деревянном сером волке*

ВАНЯ  
Я Ванюша-дурачок,  
Я поймаю на крючок  
И тебя, Васятка,  
Будет те несладко...

*А Васятка говорит:*  
– Волк твой не кусается?..

ВАНЯ  
Как же, у меня сидит  
За спиной красавица...

У деревянной царевны в руках появился пук лучины, подобие того, каким играл масовик-затейник в избе у Паялы, она обмахивалась лучиной, как веером, и напевала:

ЦАРЕВНА  
Висна пришла, и цвоточки расцветают,  
И стибильками нежно шилистят...

ВАНЯ  
Лешачков-то хорошо ли раскупают?

КУДИНЫЧ  
Хорошо, Ванюша, не лежат...

КНЯЗЬ, *входя:*  
Всем-то сторонка родная украшена,  
Быстрою речкою, черною пашнею...  
Звонами праздничными колоколов...  
*К Ивану:*  
Что же, Ванюша, как ты здоров?

ВАНЯ  
Я тоскую по избе,  
Я тоскую по печи,  
И по бабушке Яге  
Сумлеваюся в ночи...

*ЦАРЕВНА поет, играя своим лучинистым веером и глядя на князя:*

Сторонушка наша звездами утыкана,  
И вот я такую звезду подняла...  
Такую великую, такую великую...

КНЯЗЬ ИВАНУ:  
Не правда ль, Ванюша, царевна мила?

ИВАН

Там, в лесу, настоящая Баба Яга.

Эта – что!

Ее сделал Кудиныч.

ЦАРЕВНА *умильно*:

Князь, он сам, как моя костяная нога,

Посмотрите...

Не правда ль?..

КНЯЗЬ

Конечно – дубина...

ЦАРЕВНА

Он и сам деревянный,

И рожка – наливчик,

Щелей –

Конопатить –

Не хватит румян, что ни делай...

ИВАН

Это только не хватит у вас,

У б...

КНЯЗЬ КУДИНЫЧУ:

Много ль ты потрудился над ножкою белой?..

КУДИНЫЧ

Да не я ведь – Васятка...

КНЯЗЬ

Васятка? Но ножка, *mi chor!*

Даже можно ко мне

Посадить на плечо...

*Царевне:*

Аль неправда, красавица?

ВАСЯТКА *тоже ей:*

А тебе-то, изменница, нравится?..

*К Кудинычу:*

Я влюблен, Кудиныч, я влюблен...

КУДИНЫЧ

Князь мой, вам от лешаков поклон!

ЛЕШАЧКИ

Братько, чекай, чекай, чекай!

ЛЕШАЧОК

Я каче, чека и чи!

*Все вместе:*

Одну девочку зачекали,

Помалчивай, молчи!

КНЯЗЬ

Что ж, немного страшны,

Но копытца...

КУДИНЫЧ

Только ступят на камень –

Тотчас же водицей

Наливается след...

КНЯЗЬ

Что?

Простой ключевой водой?

КУДИНЫЧ, *показывая на Васятку:*

Что вы? Нет! Посмотрите, ведь он же – хмельной!

ВАСЯТКА ИВАНУ:

Я влюблен, а ну, Иван,

Если выну я наган,



Устоишь ты,  
Или нет?..

К ЦАРЕВНЕ:  
Эй, царевна, дай ответ...  
Меня любишь или нет,  
Только дай – я срежу вмиг...

ЦАРЕВНА  
Мне Кудиныч не велит...

КУДИНЫЧ КНЯЗЮ:  
Значит, оптом? Лешачки  
Здоровы, как мужички...

ЛЕШАКИ  
Кулаки по самовару,  
Ибо мы из тех берез,  
Что еще и при татарах  
Свилью обросли от слез!  
*Кулаки к носу князя:*  
Ой, крепка наша свиль,  
Наша сказка – былъ...

КУДИНЫЧ ВАСЯТКЕ:  
Цыц, на место!  
Эй, Васятка,  
Мы вернемся –  
Я тебе  
Таких девок хошь десятки  
Сделаю в твоей судьбе!

ВАСЯТКА  
Мне, Кудиныч, надо эту,  
Ане то? Ты видел это?  
*Вынимает револьвер*

КУДИНЫЧ  
Где ты взял наган,  
Пацан?  
Ты же мне судьбою  
Дан!  
Твои силы  
В эти жилы  
За стаканчиком стакан  
Перелил я...

ЦАРЕВНА ВАСЯТКЕ:  
Милый, милый!  
Успокойся...

КНЯЗЬ  
Хулиган!..  
Он – не сделан?.. Может – дуб?

КУДИНЫЧ  
Что вы, князь? Обычный луб!

ЦАРЕВНА  
Успокойся... Ой, в меня  
Он стреляет!.. От огня  
Деревянно мое тело  
Посмотрите... почернело!

КНЯЗЬ  
И дырочка насквозь!

КУДИНЫЧ  
Ты, Васятка, это брось!..

ЦАРЕВНА  
Умираю!..

КНЯЗЬ

Лешаки!

Или вы не мужики?!

Что, Кудиныч?

КУДИНЫЧ

Ваша честь...

ЦАРЕВНА

Мечь, мечь, мечь...

ЛЕШАКИ, *подступая*:

Братька, чекай, чекай, чекай,

Я каче, чека и чи...

КУДИНЫЧ

Что ж наделал ты, Васятка?..

Разорвали на куски!

МУЗЕЙ. ПОДЕЛКИ ИЗ БЕРЕЗОВЫХ ВЫПЛАВОК.

ПОЭТ, *вбегая*:

Останови, музейщик, этот бой!

МУЗЕЙЩИК

Мой милый, ты в музее... что с тобой?

ПОЭТ

А это что?!

МУЗЕЙЩИК

Да выплавки... А что?

ПОЭТ

А где Васятка? Где?

МУЗЕЙЩИК

Тебе нехорошо?..

Поэт,

Тебя мы любим...

*Вдруг, подбегая к дверям:*

Эй, люди, люди, люди!

ПОЭТ

Мне снилось, как я воробьем

Летал в былом –

Все подсмотрел я под окном и опознал!..

Какие – люди?

Выплавки?.. Вот эта свиль?!.

Да это и не сон – а быль!..

Васятку...

МУЗЕЙЩИК

Воробьем летал?..

Ты – болен!..

ПОЭТ

Нет, я шутить не волен!..

Скажи мне, почему твое лицо

Кудиныча лицом покрылось...

Кто ты?!

МУЗЕЙЩИК, *злобно отступая*:

Ага, замкнулось, наконец, кольцо

Твоей поэмы...

Горестней работы

Тебе не видеть... Что, не узнаешь,

Того, из Глинников? Да, это я!..

Твоя душа теперь, поэт, моя!

ПОЭТ

Эй, люди, люди...

Я с ума сошел...

## МУЗЕЙЩИК

Как хорошо, что ты ко мне пришел...  
Эй, выплавки,  
Скрутите вы его винтом,  
Сляпушьте в пожелтевший том...  
Сюда, ко мне на полку,  
То пропадет без толку,  
Действительно, с ума сойдет,  
Такого не перенесет...

## ВЫПЛАВКИ

Братька, чекай, чекай, чекай,  
Я ка-че, че-ка и чи!

## МУЗЕЙЩИК

Уж как бедного поэта  
Разодрали на куски...

## ЗАВЕЩАНИЕ из стола ПОЭТА:

Лик прекрасный, ты дрожишь у глаз...  
Не тебе ль Филипка-богомаз  
Вывел брови, вывел, словно сад,  
Очи – в глубине его дрожат  
Только две торжественные сливы...  
Две слезы... Ты взором сиротливым  
На меня из синевы, над полем  
Золотым глядишь – и я не волен  
Тайну твою вечную узнать...  
Кто ты будешь – Родина ли мать?  
Или?...  
Скажешь мне опять...  
Меня люби...  
Я же говорила: не ходи!..  
Призрачная ты, и вместе с тем  
Ты – плоть...  
Мне же... Да поможет мне Господь!

## ГЛАВА 37

В темноте за спинами Ивана с Ильей зрители хвалили глумилице; кто-то пропищал тонкоголосо, что господину Тимофееву, русскому Гете, да и Кукольникову это бы «очень-очень пришлось»! Тут рецензент многозначительно умолк, а голоса вокруг только дакали... Но до Ивана с Ильей если эти голоса и доходили, то они их пропускали мимо ушей. Раз Ваня прицепился слухом, и мысль у него подхватчиво пронеслась: «Да, кукольники хорошие!» Ему же особенно понравилось в постановке, как его изобразил актёр: и всё одним говором, так, что появлялись как бы просто из слов: волос русый, сапоги, штаны военные, кепарь – «один патрет»! Да и застылая маска лица в цветном луче стала схожей. Ваня, увидев второго себя в балагане, даже крикнул постановщику: «Ура! Ура!» – чем озадачил Илью Муромца, подсадовавшего, что он-то бы не позволил так свой образ переиначивать каким-то лицедеям-полуночникам – и хлопнул ладонью нетерпеливо по седалищу: брезент под ним повлажнел от росы. Да и снова увлекся глумилицем... Потому что, действительно, ватные, размалеванные личины актеров, словно впитывая слова, в темноте все ярче мрели жизнеподобным светом своего сияющего вещества.

Ивняков прочитал последние стихи погибшего, разодранного выплавками поэта, и, все захлопали, да так сильно, что Илья с Иванушкой обернулись назад, удивляясь: сколько много народу к балагану собралось! Причем, раз-другой выкрикнули и их имена. Кто? В темноте было и не различить. Пока вокруг хлопали и кричали, Илья и Иван стояли, не на сцену поглядывая, а туда, где заманчивая карусель стала совсем неразличимой.

Обоим в целом понравилось представление, хотя они из солидности и не хлопали, и не кричали «бис» и «браво». Илья Муромец молчал, только смутная улыбка, прорвавшаяся на лицо помимо богатырской воли, выдавала его чувства. Про себя же он смущенно думал: «Почему же святые люди, калики перехожие, шляпы греческие, говорили: не ходите в театр, там страсти, гибель ваша, там блудниц кажут, и, над чем надо плакать – над тем смеются, глупота!»

– Сила! Сила, а? Илья Муромец, что – у тебя язык за щеку завалялся? – возбужденно говорил Иванушка, глубоко засунувший руки в карманы своих солдатских штанов. – Ну, пойдём кататься? – и они двинулись в темноту между складных стульев, в гомон, в тени, в чирканье спичек, но:

– Товарищи, а теперь развлекательная часть или... забавные декорации! – выкрикнул Ивняков, стоявший на своем месте ведущего у смутно белевшей афиши. И два прожектора, горевших по бокам сцены, дернулись, заскользили цветными лучами по темной толпе, и темнота там ожила, зашелестела и повалила вперед на невидимый мысок берега, к воде. Но цветные брусья развернулись, скользнули по основным стволам и, показывая, куда идти, уперлись в карусель, там, в сияющем пятне стояла озабоченная и злая контролерша, а к ней уже лезли, напирали, махали руками...

– В очередь, я вам говорю, в очередь! Да что же это такое? Мне драться что ли?.. Не продам билетов! – кричала она.

Да какие тут билеты? Так, для острастки, по привычке грозились... Хотя, может, билеты были у всех гостей уже и загодя куплены... Кроме Вани с Ильей.

– Илья Муромец – да нам и места не достанется! Да ну-ка, ты! – толкнул Иванушка чью-то темную спину. – Разогнаться что ли, да дать! Алё!

Цветной луч двигался, шастал, но не освещал даже всего творившегося, наоборот, часто уклонялся в мутную невидь. Илья с Иваном были обжаты со всех сторон будто столбами, но нельзя было различить, кто эти столбы без лиц, только напирают, поталкивая, выносят к карусели. В этом, жестко давившем на бока мраке, пробирались и актеры, то исчезая в луче случайно, то появляясь, мелькали их «жизненные» личины. Слышно было, как их в темноте хватили тяжелые цепкие руки и придерживали так, что они вякали утробно от толчков и тычков.

Илья Муромец поправил шапку, положил руку на рукоять меча и медленно, как бульдозер, пошел, напирая на передних... Кто-то упал...

– Кишки выпустят!  
– Батюшки, караул!

– Не видишь – гости! Ха-ха-ха-ха! – захихикали из темноты вокруг выкрики.

– Ну, шустряг, ну, шуруют! – притворяясь добродушным, выговаривал Иванушка-дурачок, глядя, как контролерша с искаженным лицом хлопает рукой по полосатой спине того, высокого, в тенниске:

– Слезай, без масок вход воспрещен! Что, из-за тебя все ждать будут?

Квадратные, оплывшие, глыбологицы люди взгромоздились на катальные места. А тенниска-то полосатая, черноволосая как раз напротив глиняного старичка Кудиныча, которого наметил себе Илья Муромец, села и вцепилась в поручни – только спина от ударов вздрагивает.

Иванушка рванулся, чуть отскочил назад да как резанет плечом:

– Это мое место! – и задержался рывками, как по трясине, вперед: под ногами что-то лежало и шевелилось. Он подумал, что если уж на старика-глиновика позарились, то моя-то царевна давно занята!

Илья Муромец, как опешил, так и стоит, не видит, что какой-то ком-человек: вместо лица – щит сурикового цвета – вытянул руки вверх, уперся ему в подгрудье, кожились, и замер, как надолба. А сбоку тоже кто-то юркий с птичьим лицом, так и подковыривает, так и подковыривает в латы, пищит: «Бери, бери его на калган!»

– Ах, вы, стрел вашу возьми! – сказал Илья и, раскинув руки крестом, загреб всех в охапку и пошел вместе со свалом вперед...

Суриковый щит запрокинулся, упал навзничь, Илья осторожно, как на лёд, поставил на него ногу и попробовал: держит? – и шагнул другой, прошел. С рук срываются, окорачь ползут и не обижаются, а – смеются и ругаются зазорно.

Контролерша, рядом с которой ходил ходуном, уговаривая всех Ивняков, перестала бить по спине полосатую тенниску. Руки в боки – и захихикалась на обвешанного людьми Муромца:

– Всю сеть на себя намотал, сом! – едва сумела выговорить она.

– Ильюха, брось сюда стяжок! – секанул яростный крик Иванушки.

Но Илья по голосу понял – притворяется, пугает того, кто его место против царевны занял.

А полосатый, что против старика сидит – как закаменел, облохмачен весь от ударов, так и замер, вцепился и сидит, хоть кол ему на голове теши...

Всё немного поутихло, пообмякло, воздух вокруг, и тот отпотел, теплым стал.

– Дорогой Илья Муромец! – вдруг с каким-то привизгом, тряхнув головой, дернулась вперед контролерша – нагнела на лицо улыбку: – Вы в первом ряду сидели? Вам... – Но не договорила.

Илья, на всякий случай, быстро руку в карман за рублем: а рубля нет – все деньги у Иванушки в заднике.

– Я из-за тебя колено расшиб! – вдруг взрычал совсем рядом, как показалось сначала, истошный выкрик.

Контролерша, не договорив Илье, пропустила его без билета, а Ивняков: «что еще такое?» – прикрикнул и – так и закипел весь. И один цветной сноп отделился и сунулся на крик в самую темноту, а там – в десяти шагах – вода черная:

– На, получай! – там руки над головой; и в руках – кирпич большой с живым глазом: бух его в невидимую черную воду!

Свет наполоз шире – стало видно лучше:

– Васятка, это ты тут дебоширишь! – крикнул уже более спокойно Ивняков.

– Да мы уж тут по колено в воде стоим! – раздалось, жалуясь, несколько голосов: – Что же нам – тонуть?

А Васятка – он тоже стоял в воде, у груди дикого камня, для починки мостовой заготовленного – схватил в бешенстве булыжник и – бух в воду за кирпичом, и второй – бух!

– Что же я, как обсевыш в поле? – схватился он за третий, да так, упершись руками в камни, и заплакал... Это Иванушка-дурачок вышиб его с места напротив царевны.

Свет медленно сполз с Васятки и встал на свое место. Все призатихло, слушая всхлипы из темноты. Слышно как в ней мнутса

да кто-то чихает от прохлады ночной... А кто-то по дереву стучит.

– А кто же будет статульный мастер?.. Ох, хороша! – выступил тогда ласковый голос Ивана-дурака из улегшегося шума. Иван удачно ссадил своего соперника и теперь разговаривал с деревянной царевной...

Мнимый Ивняков был уже там, у груди камней, и тихо уговаривал Васятку. «Ты пойми... ты пойми»... – слышалось... Так и вошли в свет – Васятка держался за Ивнякова, мокрый по пояс, водил бумажным, на скору руку нарисованным лицом, изнутри подложенным ватой. От глаз до рта бумага была надорвана, и подкладка стеганная под ней виднелась хорошо.

– Он выплывет, а ты, если не на этот, так на второй круг сядешь. Не вздумай самоходом за каруселью бежать, – предупредил сурово его Ивняков. – Не бойся, все уйдем...

– Товарищ, слушай, я кому говорю! – тут же тронул он за плечо полосатую тенниску озабоченно.

И товарищ дрогнул, оживая.

– У вас костюм хороший. Вам бесплатно, – запоздало улыбалась с приклоном Илье контролерша.

– Меня не собьешь с ног, я всегда спиной к забору стою, – говорил богатырь возбужденно. И взгромоздился, поправив меч, на седалище. Карусель так и накренилась на сторону.

– Илья, ты? – довольно, радостно окликнул его голос Иванушки.

Но Муромец уже не слышал:

– Не затем мы сюда по черной стезе пришли, чтобы в очередь стоять! – говорил он сам с собой, вглядываясь любовно в, будто облитое глазурью, лицо чудного старичка-глиновичка. Как живой, улыбается, вот-вот кивнет, и точно занимается, занимается изнутри лицо жизнью, принимает, утягивает в себя твой взгляд.

Да и вокруг, когда большинство мест на карусели было занято седоками – образы напротив них замрели изнутри мерцанием, будто их состав превращался, оживая, в помесь притворного света и вещества.

– Спроси, кто статульный? – спрашивал из темноты Иван, но все были заняты рассаживанием.

Тогда Иванушка закричал:

– Ну, поехали!

Опять нет света, только шелесты, только шорох. Все вглядываются в скульптурные декорации насупротив себя, улыбаются, что-то бормочут.

Васятку посадили к Бабе Яге. Он одной рукой прижал к вате оторванную бумажную щеку и склонился к ужасной старухе, будто жаловался.

Были уже заняты и самые затрапезные места с бурыми, бесформенными лешаками. Все седоки в неверном свете были личистые, будто в масках. «На местах поедут только эти, вы – добирайтесь своим ходом!», – отрезала оставшимся гололицым актерам билетерша. (Эти гололицы, наверно, только и уцелели из десанта, и вернулись в мастерскую.)

И против князя сидел какой-то оплывший пузан, и на деревянной лошадке, и на волке кто-то охал и ворочался в полумраке. И с налетевшей, вздрагивающей в нем мошкаррой, устало висел странный, ослабленный, едва освещающий цветистым своим крапом контуры тел, балаганный свет...

Вдруг зеленый горб Бабы Яги дернулся, она будто клюнула острым лицом в лицо Васятке, тот радостно ойкнул, схватился за поручень руками, от чего оборванная щека опять отвалилась у него, и карусель сдвинулась с места.

## ГЛАВА 38

И свет сразу же потух, будто умер... Пахнула в лицо Муромцу свежая волна воздуха, и он засмеялся, поправив шапку, потому что свет тут же, будто ожил: блики его, как оспинки, вьевшиеся в добрый глиняный лик старичка – вспыхнули от движения: свет, ушедший вглубь этого лица, разгорался все сильнее и сильнее.

– Ваня, давай! – гаркнул колоколист Илья Муромец и захохотал еще громче, и в середине, на пяточке, в ответ пьяной радости движения – Ивняков задекламировал нараспев:

Карусель несет меня:

То со смехом, то с испугом

Мчит по замкнутому кругу,

Балаганами маня...

– Ас-са! А-ха-ха-ха-ха! – хохотал Иванушка.

– Ох-хо-хо-хохо-хохо! – колоклисто гудел Илья Муромец.

– Их-хи-хи-хи-хи-хи-хи! – заливался вздрагивающий Васятка... И, наливаясь мерцающим светом, рдели, разгорались карусельные образы.

И – маревко света затускло вокруг каждого.

Сам я, что ли, раскрутил

Эти пестрые личины?

Сам – опора, сам – причина!

Сам легко на круг вскочил!..

– взвизгнул в темноте Ивняков...

И карусель стала сливаться в светящийся круг, будто в каждый образ изнутри был вложен огонь. Как будто чья-то холодная рука просунулась под расстегнувшуюся гимнастерку к Иванушке-дурачку и вошла между ребер, и стала щекотать сердце. Сжимая его, взвесила в стылости пространства: сердце вздрогнуло, как зверек, и все тело, будто лишилось оси: еще миг и перевернешься вниз, как фигурка в тире, и понесет, понесет вниз головой, оставляя клочья вечного мозга на камнях, пнях и земляных выбоинах.

А деревянное лицо – белое-белое, а глаза, как два синих зеркала – это она, царевна, и держит сердце, студит его. Вбирает всего тебя, вманивает... Давай, карусельщик, давай!..

Узнала... узнала!.. «Карусельщик, давай!» – хотел выкрикнуть Иванушка. Но белое-белое лицо отодвинулось... умерло... пошли по нему мелкие морщины трещин...

Метался в поредевшем свете, медленно, будто нехотя, возвращаясь на пяточок, голос Ивнякова. Карусель уже остановилась.

Уже вяло выкрикнул Ивняков стишок встав перед самым Иваном, но тот понял только одно слово: «целую!»

– Карусельщик, давай! Целую... Целую! – кричал он.

Илья Муромец красный, как медный самовар – стоял уже на земле, держась за седалище, ухал, перехватывался руками, чтобы не упасть от головокружения. Он собирался выговорить: «Уморил... уморил, старичок!» И не видящими, залитыми смехом, как поливой, глазами все глядел на глиняный лик.

– Что, голова закружилась? Сейчас отойдет! – кричал Иванушка и топал ногами. И не видят они, что только двое стоят у своих седалищ, что куда-то пропали многие их соседи в темноте. Нет Васятки с надорванным бумажным лицом, нет тех, что сидели против выплавок, нет сурикового щита, покалеченного сапогом Ильи Муромца; кружатся у них головы, глаза впились в манящие личины, зовущие вглубь себя, туда, откуда будто вот-вот скажется слово, и – такое хорошее...

– Уй, хватит суетлазить. Этот круг поеду на коне, – едва выговорил Илья Муромец. И снова: «Ха-ха-ха!» Так и шел, кидало его от смеха из стороны в сторону. Ивняков подскочил и помог ему на деревянного коня взгромоздиться, он сидит, от смеха вздрагивает, как копыта на телеге.

«На лице же нашего нового товарища, гласившего стихи, незаметно было ни малейшей усталости – а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивлявшего толпу». Так вспоминал бы Гомозейка, если ему бы удалось возвратиться в мастерскую. Но никто из личистых испытателей слов и прочих ученых людей с берега Каменки туда не вернулся. И не вернется никогда: цветной глинистый порошок, оставшийся от них, вывезен в некую пустыню плоти.

...А Иванушка сел снова на прежнее место, взял за плечи царевну и глядит в темные, черничные глаза.

Сто раз крикнул: «Давай!» На сто первый, когда терпенье лопнуло, – снова полетела карусель. И снова, вздрагивая, уходит Иван, заваливается внутрь, в затаскивающие туда всю душу, глаза царевны. Думает: «Это любовь! Никогда я так не любил!»

Очнись, добрый молодец! Почему вокруг такая брякотня, стучанье, скрежет? Почему уселся за твоей спиной против огромного зеленого медведя-штофа, точно такого, как в кладбищенской церкви, только в полсотню раз больше – кирпич-человек с шершавым красным ртом? Почему так злобно и нетерпеливо, остро, как осколками стекла, выглядывают на вас эти актеры, жмущиеся к своим седалищным двойникам и трясущиеся, как заждавшиеся пассажиры на ночной станции? Что там за страшное, как сырая деревянная гнилушка, лицо, в белой плесени, как в пуху? Что шепчет на ухо контролерше Ивняков? Как попала сюда, в центр карусели, на пяточок береза? Почему Ивняков посадил на нее контролершу и, злобно зыркнув на вас, прометнулся между светящимися тяжелыми выплавками карусели?.. Все, уже поздно!.. Все быстрее разгоняется карусель...

Радостно вознесся, свился с движением Ивнякова голос. И сердце выбросилось из груди Иванушки-дурака и провалилось в синюю яму... Амба! И хохот застыл на одной, как заезженная пластинка, ноте...

– С круга мне сойти невмочь! – вдруг зарычало, содрогая карусель, все полуживое-полуминеральное круговращение образов...

Илья Муромец схватился за шелом. Да так и застыла рука: лицо морщливое, бровь нахмурена, а другая бровь еще смеется, и морщины смеются, и вырастает, вырастает вверх, как Нужда или Доля, та темная, в черном, что стоит в центре, и вращается вместе с каруселью. Выше, выше, и по ней растут березовые ветви, и темное надвигается и давит на карусель, втискивает латы в богатырскую грудь.

Сквозь меня быстреей, быстреей,  
Расплываясь, повторяясь,  
Даже сердца не касаясь,  
Мчится жизни круг моей.  
Крепкий обруч из железа  
Гроб охватывает мой...  
Карусельщик, я живой!..

– Карусельщик, дай я слезу! – Илье показалось, что это выкрикнул он, а не Ивняков. Илья выхватывает меч, чтобы отрубить себя с живым черным конем от толстой ветви, на которой он вращается, все быстрее и быстрее, теряя разум, потому что каждый круг обручем набивается на душу... Дернулся – будто прирос! Замахнулся мечем...

– Эй, Ваня! – и голоса-то нет... Как из-под земли стоном стонет только...

Да это и так уж земля – в землю укручивает их карусель. И застыло, раздернутое смехом, как у деревянного солнца, лицо Иванушки-дурака, и деревенеет, деревенеет – как до этого было у липовой царевны. А та теперь светится, почти живая. И уходит в землю карусель с высокой, темной, как дерево, женщиной, прижавшей тусклое зеркальце к груди. Зеркальце чуть мерцает. И груда булыжника, пни, деревья вокруг, все прыгает, сорвавшись с места, обращается в каких-то существ и вращается с каруселью. И все вещи из поставца, как демоны, зашевелились, заголынгачили, а рубль серебряный покотился колесом: царская голова на нём то задирает бороду, то вставала на маквицу.

Последними прискакали, ударяясь о сосновые стволы, бронзовые часы: на одной чаше – Зевс, на другой – Амур. Боги спрыгнули с чаш, а сами весы обратились в двуголовного зверя и, пособачьи вцепившись во что-то запищавшее, ушли под землю с последним кругом. И только меч Ильи Муромца, как плуг, еще чертил, резал землю, рвал коренья. Себя-то бы Илья мог отрубить, а до Ивана-дурака было далеко, не достать.

Только многосветлой звездой стоявший ангел видел, как карусель слилась во вращающийся пламенный меч, отрубивший хоровод образов, тающий в мгlistой глубине, и как вычертился в ней невнятно лик черной богородицы, той, что иссунула когда-то темные уста из стены ко грешному иконописцу; она же и притворяющаяся костром оземленелой радуги – тьма в обезображенном храме. Ангел со своей мысленной тверди видел, как она же обернулась и пустыней плоти, долиной живой глины, куда сбрасывают прах проданных слов, выгоревший до шлака словоматериал.

А потом стало тихо-тихо. Во тьме взрычал легковой автомобиль, медленно выехал из лесу, прокатил по мертвому городишку и исчез на ярославской дороге. И за грудой булыжника стала видней вода, чуть светлее той тьмы, что плотно обложила лес вокруг Каменки. И начало быстро, как обычно в такие короткие ночи, светать.

... Автомобиль несся по ночному шоссе, на заднем сидении в темноватом свете отвалился на спинку тот, кто поставил свою странную *драматическую фантазию* в лесном балагане. Уже во второй заход он уезжал отсюда с Шитиковым в Ярославль, совершая тоже карусельное круговращение: запропал там и явился внезапно на опушке сосняка, в беседке. Он несколько не устал после *глумилища*, молчал, курил, полон скромной гордостью: он знал, что те, кто и смотреть на него, *костляка и дряхлеца*, не хотели – лягут по увалам цветной глины в пустыню плоти. И он самодовольно вспоминал Костю-рыбака и его рукопожатие: «На нас с вами, товарищ, у товарища Пассажинова вся надежда». Вдруг Шитиков вскрикнув, резко крутнул руль, заругался. Едва успели увильнуть от заглушенного на обочине самосвала – рубиновый сигнальный огонь задний у него был погашен. Впереди бледно замерцало городское марево, машина вползла в Ярославль и остановилась у дома, где вечный образ Шитиков нашел приют в здешней жизни.

Лифт был еще отключен, и тяжело, долго топали они по лестнице, проламываясь шагами в чей-то слабый сон, и кто-то пробуждался и с необъяснимой тревогой вслушивался в эти, точно к его двери подступающие шаги. Нет, не приснилось; шаги, действительно, все ближе и ближе: странные и одновременно реальные, как в жизни. И опять задремывая кто-то, точно проваливался в их следы, затихающие в душе.

На кухне послышалось шипение газа, громынуло посудой. Шитиков чертыхнулся – палец обжег. А тот, кто приехал вместе с ним, у стола, где книголюбы когда-то копировали старинный синодик, озирался, будто искал чего-то: приглушенный свет сюда едва достигал из соседней комнаты. Наверно, ему нужно было



небольшое овальное зеркало, смутно темневшее на стене: он подошел и долго смотрел в него. Лицо помятое. Глаза открыты, но как спят. Точно смотрят и не могут понять – что перед ними? А перед ними в пасмурном стекле был точно такой же, помятый, серый человек, и такое же подернутое темным лицо, только нос незнакомо острый и конец его едва приметно закрутился набок... Вдруг он сначала тихо, а потом все громче принялся, читать стихи:

– Когда отпрянул морок буден и стихнул крик, я сам себе приснился смутен и темнолик... Я помню поезда ночного куда-то бег, и я у зеркала ночного – не человек... И нос мой длинный закрутился, ведь я не юн..... Сейчас пойду, увижу люди, ваш жалкий страх!..

Шитиков, не включая света, стоял за спиной, в дверях. Постановщик, увидев его, повернулся, кривляясь и выкрикивая:

– Мой сон спасительный растаял! Ни рож, ни рыл!.. Ха!.. Лишь ведьма в будничном обличье журналом шелестит, да статую вождя язычник угрюмо читит...

– Никто тебя не принуждает... сам умеешь маскироваться, – с легкой запинкой перед последним словом сказал Шитиков. – Не бойся, нос у тебя нормальный – это там, в глубинах пустоты, ты такой гнутоносый... Здесь у тебя только прыщик вскочил... Умеешь... *проставляться!*

И оба они подумали одновременно: Шитиков – привычно, а Ивняков с изумлением, впервые, что их мир – никакой не вну-тренний, а самый что ни на есть – *внешний*.

Но оба промолчали.

## ГЛАВА 39

Весь тот день вещи в нашем городе вели себя беспокойно, падали, разбивались, заваливались в такие места, что их нашли через полгода, а некоторые и совсем пропали. Так, Секлетей Грязнова потеряла ножницы, а обнаружила их только на другую весну, все заржавевшие, в огороде. Да и случай с Секлетейной печкой можно отнести к этому. Она сходила за Колей Волнушкиным,

тот стоял, глядел на свою работу и только губами чмокал, пока она его ругала. А потом сказал: «Сколько печек сложил – никто в глаза не плевал... Я не виноват – это кирпичи такие»...

Один шофер повез водку в сельский магазин, и бою вышло выше нормы, то есть, чуть ли не половина, и пришлось у шофера и у грузчика высчитывать из зарплаты. У многих новостроек исчез тес и цемент. Никто, конечно, не сводил воедино все эти факты, и никто никого не обвинял. Только говорили, что снова на Каменку ночью приезжали с сетью браконьеры на самосвалах. По другому слуху, мелиораторы справляли там какой-то свой праздник, а лесной объездчик говорил, что видел туристов у большой палатки с громкой музыкой.

Но все эти мелкие происшествия были заглушены одним – обокрали музей. Тускляков точно даже не мог определить, когда это произошло: он три дня подряд не был в кладбищенской церкви. Покража была: взято кое-что из серебра и бронзы: потир серебряный, дорогие бронзовые часы восемнадцатого века. А зачем прихватили корчагу, лапти, штоф из-под водки и несколько предметов старого крестьянского обихода? Вор точно запутывал следы, сбивая с толку. На мальчишек подозрение сразу же отпало, они бы взяли сабли и пистолеты – те висели на месте. Никакого взлома, никакого безобразия, все унесено осторожно, аккуратно. Проникли воры в церковь, видимо, через верх, по старой лестнице с колокольни.

Тускляков, как все заметили, сильно опечалился, у него это была первая серьезная кража. Когда в милиции его спросили, кого он подозревает, он ответил, что в одном только уверен – это дело не местных людей, а приезжих. Стал припоминать, кто в последние дни из незнакомых был в музее, ведь перед тем, как залезть в кладбищенскую церковь, надо было в ней все хорошо рассмотреть и приметить.

В последний раз перед кражей она была открыта в похороны кочегара с автобазы. Тускляков вспомнил и перебрал почти всех людей, что тогда заходили. Да, были и незнакомые. Да, какой-то большелицкий мужчина долго стоял, смотрел на часы. Предлагал обмен. Разговор был коротким: «Что вас интересует?» «Серебро».

«А что вы можете предложить в обмен на серебро?» «Деньги»... «Так меняться мы не можем, у нас музей народный»... «Будьте деловым человеком, на деньги вы купите все, что надо и для народа». «Нет», – сказал Тускляков. «Ну, ваша воля!» Вот серебро и исчезло...

И никто не узнал, что это была первая проба, разыгранная Тускляковым. Он сам задолго до туристического гуляния в сосняке потир серебряный и часы еще припрятал, чтобы продать кому-то. А потом сунулся в тайник и опешил – часы из тайника исчезли, один потир остался. А кто на крестьянскую рухлядь и на зеленый штоф в виде медведя позарился – так и осталось тайной. Да и не очень вникали в милиции. Вещи у Тусклякова ни в какой реестр не внесены: музей общественный. Все же для близиру: «Хорошо, проверим, – пообещали в милиции. – У Гриши Паялы на улице Горького двое подозрительных квартирантов живут. Без прописки и на военном учете не состоят».

Затем было предложено приготовить фотографии наиболее ценных экспонатов для опознания в розыске. Фотографий – нет. Тогда можно рисунки. Тускляков пошел в дом культуры, в бывший собор, к Ивнякову. «Ивняков будет только вечером, да и то, навряд ли. Бюллетенит. То ли у него давление, то ли острый гастрит», – сказали в доме культуры.

Тускляков, выйдя из собора, сел на лавочку, закурил, подумал с упором, что все эти вещи он спас, сохранил, поэтому имеет на них право. Прикинул, как он будет расписывать мнимую кражу Ивнякову. Посмотрел на бугристый, могилистый, в еще не отросшей высоко траве скат холма – здесь двести лет назад было кладбище. Посмотрел на гипсовую ногу, торчащую из земли, с которой сворочена гипсовая ваза с голубенькими цветочками – вспомнил, что уже писал об этом хулиганстве в газете. Небо над старыми березами низко завалило сизыми и белыми облаками – похоже, собирается дождик Хмуρο и солидно пошел вниз по тропке между свежими зелеными акациями и топольками в кепке, в своём вишневом, без износа, джемпере, одетом на клетчатую рубашку, в черных брюках и хромовых сапогах.

...Что же касается спектакля в сосняке, то в нем скакали, как философствовали бы испытатели слов, не музейные исчезнувшие

вещи, а их образы, сами живые смыслы вещей, провалившиеся затем в иной мир, к силе нездешней, в ту же пустыню плоти, куда сбрасывается прах проданных, выгоревших слов. Пустыня плоти может принять и образ примнившейся Ивнякову черной богородицы: темные её уста – как глиняные уста могилы. А то вдруг прикинется и заброшенной церковкой где-нибудь в вымершем сельце и живой тьмою в ней – матерью замурованных образов...

Тукляков был слишком самонадеян, то есть, толкуя опять же философски, у него все-таки украли, и украли то, что не купишь ни за какие деньги.

## ГЛАВА 40

Ивняков после бредовой, измучившей его ночи, первый день вообще не выходил на улицу. Если бы даже Шитиков и не уехал так предательски, он бы все равно больше не пошел к этим оторвилам, которые чуть из него душу не вытрясли... А, может, это и, действительно, беглецы из колонии?

А Иван Константинович тем временем сходил к врачу, своему бывшему ученику, и попросил того заглянуть, если есть времечко: что-то квартиранту нездоровится. Врач, уверенный в себе, добродушный здоровяк, тотчас и заглянул. Жил он через дом, тут же, на улице, и нашел у больного все, что обыкновенно врачи находят в таких случаях: пониженное давление, следствие переутомления, плохой сон и аппетит. Врач ценил стихи Ивнякова, а песню его про город родной, положенную на музыку мастером по ритуалам и звучавшую в каждом праздничном концерте, даже знал наизусть. Поэтому он выписал Ивнякову бюллетень. Еще немного поговорили о Есенине и вообще о том, как трудно писать стихи, причем врач сказал не без сожаления, что ему даже ни одной строчки не сочинить, и ушел.

У Ивнякова на душе полегчало, но и легкость эта была какой-то противной, призрачной, будто бы только поверхность души чуть порадовалась, зарябило ее свежим ветерком, потянуло к привычным мыслям, он попробовал даже книгу почитать,

но тут же, точно утонул в прихлынувшей изнутри тяжести. Как в воду опущенный, сказал бы он про себя, если бы ему было чуть полегче. Но он был не просто опущенный, а будто затонувший в этой бездонной, замерзшей воде, которую называл своей душой. И тревога, тревога, растущая тревога. Может, они ночью сегодня ко мне придут? Голова, как чужая: знает, что закрыты двери изнутри и на засов и на крючок, а второй раз уже идет проверять.

– Саша, может, вам чего надо? – спрашивает из коридора с участием деликатный Константиныч.

Да, чем бы хоть заняться, чтобы скорее ночь прошла?..

А чем заняться, когда невозможно ни на чём сосредоточиться. Уже слушать ночные звуки, стеречь их – нету сил...

Лег и стал глядеть туда, где занавеска слабо обозначила длинное пятно окна. Чу, там, за ним, кто-то раздвигает кусты... Ну и пусть раздвигает. Уже, наверно, полчаса раздвигает, а все не лезет. Только думается так... И, кажется, что окно стало стрельчатосводным, как в церкви. А тьма – живой, и он будто по всей комнате расплывается, как эта тьма...

Да, нет, это вроде церковь... он лежит опять на столе в кладбищенской церкви... Надо уходить отсюда –...*тяжело – сквозь решетку окна ночь глядит – сейчас что-то случится...*

*Подошел Ивняков покурить и все больше вглядывается... Медленно обходит там кресты темная, стройная фигура, высокая госпожа в черном... глянула – подмыло под сердцем, будто попал в воздушную яму, и весь мир – ее звездные очи, свет звездный... Что же такое случилось?.. Он так и не понял. Только звездный свет... Только душой стал вполчеловека...*

И проснулся!.. И долго еще лежал, думая, что все это видение было – наяву, пока не осознал окончательно: нет: такой его мучит кошмар!..

Утром он сходил, вытащил из-под крыльца небольшой ломик и спрятал его под кроватью... Ну, гады, теперь идите, обоих урботаю!

Так прошла и вторая ночь. А днем участливо охавший Крестьянников рассказал ему о краже в музее. Иван Константинович точно не знал, что унесено. Ивняков затревожился. Тревожность

эта была неприятной, потому что ночь кражи совпала с тем условленным временем, в которое он должен был выпустить в церковь квартирантов Григория Паялы. «Хорошо, что я не попросил тогда ключ у Тусклякова, а то бы... А что – то бы? – спросил он себя и затревожился еще больше. – А, может, они только и хотели обчистить музей с моей помощью... Да что-то не похоже на них, – шепнула ему совесть. – А Шитиков? Почему исчез Шитиков в тот вечер?»

И тут он услышал тяжелые шаги сапог в коридоре и приветливый голос Тусклякова.

– Болеет, болеет, – отвечал Крестьянников, – последний день на бюллетене...

– Так к нему можно? – спросил Тускляков с какой-то печальной задумчивостью, и вся тревога: случайно или нет совпадение с кражей? – опять заходила в душе Ивнякова. «Он знает, что у меня просили ключ? Конечно, знает... Ну, и расскажу»...

Постучавшись, отворил дверь.

– А стоит ли вас тревожить, Александр Федорович? – говорил с вкрадчивым видом простодушия Тускляков, улыбаясь и проходя в комнату.

– Да какая у меня болезнь... так... – улыбался и Ивняков, удивляясь на себя. Они уже давно «выкали» друг другу, телесные их оболочки изменились, стали они людьми зрелыми, людьми средних лет, поэтому и отношения между ними стали, как между людьми средних лет.

Женатым-то и семейным, правда, один Тускляков был – он первым и устанавливал новые, приличные зрелому возрасту отношения. А Ивняков или Дмитрий Грязнов не без внутреннего сопротивления привыкали, как привыкаем мы к новому размеру одежды, облысевшей своей голове или выпавшему зубу.

## ГЛАВА 41

Тускляков, войдя, приостановился и огляделся. Может, он подумал: что же заставляет человека жить так? Пахло курилкой и старой залежалой постелью. Комната по голости и заброшенности

больше походила на камеру. Ивняков, лежавший в верхней одежде, сделал движение усадить Сергея Александровича на продавленную, прикрытую серым одеялом кровать, но тот присел к столу и оказался лицом к рисункам в углу: князь на холме, основавший город; лубочная красавица-осень с блюдом плодов земных, которую можно было принять и за весну: по подолу сарафана у нее пестрели цветы. Еще один рисунок в том же стиле изображал мастера Петрова: бородатый лесовик в картузе, в ужасе вскинувший руки, и торчащие березовые стволы – из наплывов проглядывают темные, невнятные лики...

– О-о, мастер Петров! – с вежливым вниманием заговорил Тускляков, не выдавший еще этого рисунка.

Говорил больше Тускляков, Ивняков, словно пытаюсь выйти из наплыва своих мыслей, вскакивал с кровати и подходил бесцельно к рисункам:

– Да-да, разорвут его выплавки, – вставил он.

– Разорвут, – подхватывал и Тускляков. Он все пристальнее и, не скрываясь, как до этого в обстановку комнаты, всматривался в лицо Ивнякова.

– Что-то у вас лицо сегодня особое, – высказался, наконец, Тускляков.

– А что? – грустно, но уже с любопытством спросил Ивняков.

Тускляков, притворно деликатничая, замаялся и проницательно посмотрел ему в глаза – и Ивняков от этого взгляда почувствовал внутреннюю несвободу и захотел против воли рассказать о ключе.

– Сейчас... сейчас объясняю... Как бы вам сказать... Да, точно что-то знаете... – Тут он снова притворился, что подыскивает слова. – Да, что-то узнали и так крепко затаили, что никому ни за что не скажете...

Ивняков удивился и даже чуть обрадовался: мысли его стали свежее и проще.

– Кошмар сегодня приснился, – вырвалось у него. И он тотчас же глянул в глаза Тусклякову, будто проверяя: понимает ли? Но глаза Тусклякова глядели вежливо и приветливо, не больше.

Ивняков, увлекаясь, торопливо захватывал слова:

– Лютая бессонница... только закрою глаза, засыпаю на спине – и вдруг, кажется, что я переворачиваюсь вниз лицом, будто во мне, в душе, ось, и вот этот вертел, точно не по середине, а вкривь в душу воткнули, и душа вся переворачивается вниз, будто в воздушную яму попадает... – То ли удивляясь, то ли насмехаясь над собой, выводил руками перевороты Ивняков.

Он снова глянул в глаза Тусклякову, увидел в них удивление и грусть и умолк, бессильно улыбнувшись. Он чувствовал, что говорит то, что чувствует, но будто без управления пускает слова, и они идут не прямым путем, а криво, не сказывают, что он сказать хотел... И в мыслях от этого – какая-то кривизна... Он в третий раз уже про себя за эти пятнадцать минут вспомнил, что обокрали музей, и опять неприятная тревога, будто и сам он тут в чем-то виноват, налегла на его речь. И он стал говорить не то, что чувствовал, а то, что надо бы теперь сказать:

– Ой, ведь мне Крестьянников сказал... Что же унесли? Оружие? – быстро, взволнованно, но внутренне отчужденно выговорил он и с удивлением увидел, как лицо Тусклякова отозвалось на эти отчужденные, внешние слова. И, продолжая вглядываться, выслушал Тусклякова о том, какие вещи из музея украдены:

– Часы дорогие: бронза старинная теперь ценится. Видно, профессионал. А вот зачем ему бутылка, штоф в виде медведя понадобился? – сказать не могу... – После этих, уже не впервые сказанных слов всем встречным и поперечным, Тусклякову стало даже скучно: какую бы еще убедительную деталь придумать? – тоскливо подумал он. Да если бы кто и указал на Тусклякова, то никто бы в городе не поверил. Ему и Крестьянников на сохранение деньги свои похоронные отдал: «в надежные руки».

– Я этого медведя описывал в поэме, – сказал Ивняков насильно – про себя же смысл сказанного, отдельно зависший, был таков: да ведь у меня ключ просили перед той ночью!

– Помню... как же, – грустно ответив взглядом на взгляд, подхватил Тускляков: – По столу среди завалов снеди из зеленого стекла медведи важно ходят, булькая нутром, тычут морду в рюмки и стаканы. И подрядчика гремят карманы... как там? звонким серебром?..

– Да, любят серебрецо... – приставил неопределенно Ивняков и снова подошел к рисункам, думая: «Рассказать или не рассказать о ключе? А, может, те двое оторвил и обработали музей, и меня втянуть хотели? – спохватился он и посмотрел на Тусклякова вопросительно. Как комары, налетело и стало нарастать необъяснимо подозрительное чувство, что и Тусклякову Шитиков открывал свою тайну и втягивал в глумоту: «Я и есть мастер Петров!» – и всё остальное, получудесное, жалящее, но ничего не дающее в жизни. И про таинственные, соблазняющие душу сущности, названные вечными образами, и про тех двоих оторвил с улицы Горького – он всё знает, Тускляков, отчего и завалился ко мне и ухмыляется так».

Но Ивняков приглушил это назойливое, разом окинувшее, как сон наяву, подозрительное чувство, тем более, что глаза яркие, внимательные Тусклякова пронизательным взглядом, точно прикасались к его мыслям, будто они их и вызывали и следили за ними одновременно... Мысль туманцем вьется-свивается; лезет всякая чушь в голову, да и действительно в сон клонит, ведь не выпался сегодня после всего этого. И вспомнив полусонное видение, он стал бесцельно разглядывать свою аляповатую осень,

– А я вот как раз по этому поводу к вам и пришел, – услышал он обрывок тускляковской фразы.

– По какому поводу? – переспросил недоуменно, внутренне опять спохватившись, как застигнутый врасплох, и сел, глубоко продавив матрац на койке.

– Да все по этому же, – в тон ухмыльнулся, прибедняясь, Тускляков: – Надо сделать рисунки для уголовного розыска: часы и потир.

– Сегодня сделаю! – обрадовался Ивняков и посмотрел в окно, которое перед тем, как заглянет в него, закатываясь, печальное вечернее солнце, совсем заливалось серостью.

– Торопиться не надо, – говорил Тускляков.

– Я хорошо часы помню. А потир серебряный Митрий Грязнов от своей тетки принес... А медведя рисовать не надо?

– Ну, разве только в стихах, – сказал Тускляков. И они оба, не без натуги, правда, приличненько засмеялись.

– Эх! – Резко перестав смеяться, ударил себя Тускляков по колену и заговорил бойко: – Хорошо, что обокрали! Подтолкнули только... И меня, и начальство наше. Пообещали в райкоме к новому году дом старый под музей в центре... Давно пора! Да я уже в дальних деревнях присмотрел и ветряк, и житницу старинную. Вот и устроим музей под открытым небом на пустыре. Всю старую вымершую деревню перевезем! Уж амбар-то или часовню деревянную никто не утащит... А серебра – не жалко!..

И они снова одновременно прилично улыбнулись, как будто, наконец-то, поняли друг друга, и Тускляков, чтобы порасшевелить и приободрить больного Ивнякова, живехонько рассказал, как плотник Полушкин в Кривце повздорил с председателем, и пришлось ему уйти из колхоза: и отчислили, и землю отняли, и дом колхозный. Устроился плотником и печником в дом-интернат инвалидов: перестроил под жилье алтарь, оставшийся целым от полуразрушенной кривецкой церкви. Потолок перекрыл, росписи на полукружье алтаря не тронул. Пусть, говорит, на чердаке ангелы с нами живут, в середине – люди, мы со старухой, а в подвале, в склепах – покойники: когда-то захороненные хозяева усадьбы.

– В общем, дом вышел – я те дам! – сжал кулак Тускляков

– Не страшится покойников? – удивился невнятно Ивняков.

– Эти покойники сами людей страшатся! От них ничего не осталось!

– Куда они все девались? – простовато удивился Ивняков опять с чувством острого неприятного подозрения, что Тускляков, наверно, тоже знает, каков этот «таинник» Шитиков, и, будто приготовившись слушать, опустил глаза в пол, на затоптанный дерюжный половичок.

– Склепы все были обшарены в революцию, в парке белые парики валялись, все искали золотое оружие, которым был награжден и с которым якобы был похоронен один из владельцев. В одном склепе потом, уже после войны инвалиды нашли один эполет, а в другом чашку чайную почти современную, двадцатых годов... Кто-то водку пил – не чай же!.. Видно, для смелости, когда гроба вскрывали... – Добавил, улыбнувшись хитроумно, Тускляков.

Поулыбались еще сдержанно...

Тускляков бесцельно отведя взгляд вбок, в немытое окошко, продолжил уже серьезно, что эти Полушкины так в своем жилье обжились, что и уезжать оттуда к детям никуда не хотят. Детям-то уж новые квартиры дали. Когда же Полушкин алтарь обделывал, церковь была еще в довольно хорошем состоянии. Он «барабан» шестиугольный церковного верха разобрал, бревна переметил и вниз покидал. Собрал его, прорубил окна и дверь. И сделали в нем магазинчик для дома инвалидов.

– Вот этот-то барабан мы и перевезем в музей. Закончился его долгий путь с неба на землю... – И, рассказав, Тускляков поскучнел.

– Лежи, лежи! – повторил он заботливо, когда Ивняков было встал с койки его проводить, а в дверях обернулся с той пронизательно ласковой, одними глазами, улыбкой, будто между ними только что какая-то договоренность тайная, сердечная заключена, а на самом деле этот ошур лица покрывал лишь самодовольство: «Какой ты молодец, Тускляков! – льстил ему внутренний голос: – Опять вышло всё по-твоему!»

Мысли тревожные Ивнякова на время рассеялись, отвлечлись на Полушкина, на его странное жилище и шестиугольный магазин из церковного верха. Бесперывно куря, чертит на ватмане, выводит Ивняков на одной чаше Купидона, на другой – Зевса, а сам с удовольствием удивляется, как он хорошо запомнил украденные бронзовые часы восемнадцатого века. Они будто медленно, любовно поворачиваются перед ним в мысленном объеме – позируют. И ночное, бездонное отжимается кружком света настольной лампы, а потом кружок растворяется: белый, чистый рассветный час наполняет тусклую комнату. В такой же час пригрезился вполусне Ивнякову странный женский облик, обозначившийся из живого воздушного туманца на стене; Ивняков, засыпая, мечтает о нём, зрячие лики образов и не переводимая на слова песнь заполняет его. Он словно чувствует затворенными веками её плотное, не сливающееся с солнечным светом тепло, и спит, спит, не хочет пробуждаться никогда.

## ГЛАВА 42

Григорий в очках и в майке сидел у топившейся печки-временки, грел паяльник. На коленях у Паялы был подослан толстый брезент, а на нем – «череп самовара медный»... Вдруг стукнуло калиткой, и по двору быстро и почти без ботиночного стука прошел Коля Волнушкин.

Рубашка у него не заправлена в брюки и выпущена из-под замызганного пиджака. Глаза у него глядели хоть и по-прежнему неопределенно, но как-то по-новому. Будто прямо в даль перед собой было устремлено и все лицо Волнушкина, он ничего не хотел замечать, потому что весь был поглощен собой, а попросту – пьян.

Поставил в кухне на стол бутылку и говорит:

– Дядя Гриша, я не жадный...

А на лице-то слезы!

– Ты что – самовар паяешь? Дядя Гриша, я не жадный! В армии были такие... за одну лычку тебя... готовы были... – Он потерял слова и снова стал глядеть в даль, но, видно, и вокруг все хорошо видел. А Григорию не понравилось, что его застали за такой работой, он самовар прикрыл брезентом.

– Ты сиди... Дядя Гриша, ты сиди... Я тебе сам поднесу... Я вижу, ты самовар паяешь...

– Слушай, Колюха, а когда ты мне мастерок принесешь?

– Дядя Гриша, ты сиди, сиди. Ты ведь не как они... Ты что, к самовару что ли ноги приделываешь?.. На, пей!.. Дядя Гриша, пей, я не жадный!

– Колюха...

– Дядя Гриша, дядя Гриша... Что со мной вино сделало? Какой я был мужик!

И он всхлипнул громко. Перебрались за стол, к бутылке.

Паяло, выпив водки, закурил, ждал. Волнушкин тем же неживым движением повернул голову в его сторону – будто кто-то подошел и повернул голову у большой, непромытой, подобранной на свалке куклы.

– Дядя Гриша, ведь и у вас, стариков, такое бывает...

– Бывает, – согласно, слегка захмелев, кивнул Паяло.

Коля подался с лавки вперед и вдруг заговорил рассудительно, рубя воздух перед собой ребром ладони:

– Идешь-идешь, а приспичит – присесть некуда... На улице люди... Терпишь-терпишь, да и опустишь в штаны... А потом еще отпустишь... Ведь и у вас, стариков, дядя Гриша, такое бывает?..

– Что? Я в штаны еще не валивал!

– Дядя Гриша! Дядя Гриша, это полбеды... А вот когда прихватит, да заболеешь...

Еще выпили. Коля Волнушкин долго уговаривал Гришу Паялу никому не рассказывать... Пожали друг другу руки, допили до дна, и Волнушкин, наконец, сказал:

– Приболел я крепко, дядя Гриша... Да и болезнь-то плохая...

– Рак?

– Нет, не рак. Тут что-то – в котелке! – Коля постучал себе указательным пальцем по голове. – Только ты никому не говори!

– Колюха, я сказал... – захрипел со своего чурбана Паяло, вцепляясь Волнушкину в запястье.

– Дядя Гриша, я сошел с ума...

– Брось!

– Не брошу, ты мне говори, что я с ума не сошел, а я все равно вижу, как кирпич сделал мне свинскую морду и побежал... побегал!

– А ты его догнал, да... – встряхнул кулаком Паяло.

– Нет, я себя выдывать не буду. Я не сумасшедший... Это я только тебе, как соседу...

– Коля... спасибо! Милый, спасибо... Никому! – завсхлипывал хрипло, прокуренно Паяло.

Волнушкин, размягченный внутри, хотя по виду это ни в чем не выразалось, подошел к самовару с припаянными медными ножками и сказал:

– А он у тебя не убежит? Как и мастерок-то твой... Ведь не мой, а твой! И кирпич – твой!

– Ну, хитрец, – погрозил ему понимающе Паяло. – Ну, хитрец! Я, Коля, тоже не жадный... Не жалко мне мастерка...

– И я, дядя Гриша, не жадный.

Опять говорили-говорили, жали-жали друг другу руки, потом Волнушкин заметил, что он уже давно смотрит на бутылку, а бутылка пустая.

– Что же квартирантов-то нет? – сказал Волнушкин.

– Квартирантов?... Ты хитрец! – снова погрозил ему пальцем Паяло. – А ты знаешь, кто у меня квартиранты? Милиционер приходил, спрашивал, да я не сказал. А тебе – скажу!..

И, понизив голос, сказал...

– Значит, и у вас, стариков, дядя Гриша, такое бывает? – помолчав, задумчиво сказал Коля.

– Коля, милый, бывает! Тише... – приложил темный палец к губам Паяло. – Никому, Коля, никому...

– Дядя Гриша, и ты никому!

И они, морщась, жали друг другу руки, будто состязались, кто кого пережмет. Потом Коля Волнушкин стоял у своего дома и плакал, что многие вещи могут у него убежать со двора, потому что забора и столбов уже не было, выкопал по уговору и увез Борис Адов.

Войдя в избу, Волнушкин пинал табуретку и помойное ведро и кричал: «Бегите, бегите!» Табуретка и ведро только укорно глядели на него, но не бежали.

На другой день Григорий Паяло пожалел, что проболтался: «Милиционеру друзей не продал, и Волнушкину говорить было незачем. Он хоть и сосед, а – пьяница. А у пьяниц в голове, как в дырявом ведре, ничего не держится», – тяжело думал Паяло.

Раскачавшись к полудню, он стал доделывать дымник. И пока додельывал, все корил себя и жалел, что не ушел из избы вместе с Иваном и Ильей Муромцем. Что же они так загуляли в тот вечер? Даже и попрощаться не зашли к старику...

А когда дымник был доделан, Григорий Паяло, чтобы отбить от себя печальные мысли, сказал вслух, имея в виду Ивнякава:

– Ну, черт, готово! Приходи... Скажи мне, как там они, да четвертинку ставь...

## ГЛАВА 43

Ивняков нарисовал для уголовного розыска пропавшие часы и потир. После этого часто стал заходить в кладбищенскую церковь и рисовать там «шапки» для экспозиции. А Григорий Паяло тем временем все ждал-ждал Ивнякова за дымником. Случайно встретил его в магазине, был подвыпивший и, по-коровьи заворачивая язык в ноздрю, начал стыдить поэта перед народом.

Ивняков, мало его поняв, обиделся и закричал:

– Я не хочу, чтобы меня у тебя придушили и в подполье закопали! От таких друзей – в сторону!

– Ушли, ушли... – заповторял, дав задний ход, Паяло. – Череп сей возьми, Григорий, сделай дымник из него, а? Чего же не берешь? Нет, ты мне четвертинку отдай за работу!..

Ивняков, услышав строчки из своей заброшенной и не законченной поэмы, сильно удивился: откуда их старик узнал? Но от удивленья – и не спросил. Хотя припомнил, что когда выпивал «на мировую» с квартирантами у Григория, читал им свои стихи, но опять же – не про самовар, не про воробья!..

Ивнякова весь день провел в глубокой задумчивости и, видимо, чтобы рассеять ее, заглянул к Паяле. В дом не входил – стояли у калитки. Григорий по ту сторону, Ивняков по эту. Дымник, домик медный, между ними на верее.

О чем они говорили, неизвестно. Ивняков отдал Григорию два рубля, а медный теремок отнес в музей. Тусклякову очень дымник понравился. Но после этих разговоров незаконченная поэма была извлечена из корзинки с разными рукописями, и Ивняков стал делать новые наброски.

Позднее, уже к концу лета, в больничный двор, за старые, в порыжелой извести, оббитые до кирпичей ворота, въехал автобус, и людям было велено поочередно идти на регулярно и бесплатно тогда производившийся медицинский осмотр, флюорографию. Вместе с другими работниками культуры пришел к автобусу и Ивняков. Тут собралась очередь – от самой купеческой, домашней часовни, где теперь был больничный морг. Ивняков злился на очередь, курил одну сигарету за другой и грозился уйти.

Но директор дома культуры – в то время им был еще мастер по ритуалам Хламов – пригрозил: «Если уйдешь, до работы не допущу!»

Все работники культуры вышли из автобуса, как и вошли, здоровыми, а Ивнякову было велено ехать в Ярославль на обследование и еще раз там хорошенько просветиться, потому что у него на легких затемнение.

## ЛЕТНИЙ ДНЕВНИК ИВНЯКОВА

**25 мая 198... г.**

Сегодня ходил посмотреть на старую школу, где когда-то учился у Владимира Петровича Карасева. Вместо старого дома – пустырь и помойка... Отрезал от выброшенного резинового сапога заплатку себе на сапог.

Потом пошел на волжскую косу, где когда-то было старинное кладбище. Сколько сюда до этого не ходил, почти ничего не попадалось. А тут нашел сразу какую-то медную заколку, обломок серебряного колечка и медную монетку с всадником: копейщиком, разящим змия: 1771 г.

**27 мая 198 ... г.**

Сегодня ездил в совхоз, куда в прошлом году ездили вместе с Шитиковым. Пожилая женщина Елена Федоровна Мирошниченко рассказывала, как ее в 1945 году посадили. Была председателем колхоза и, пожалев людей, раздала на праздник, на трудовые, по 100 граммов хлеба. Посадили за халатность.

**28 мая 198... г.**

Страх глубоко в людях сидит, вбит крепко. Ликорозов, ответственный секретарь районной газеты, пропагандист, говорит: хочу из деревни привезти самовар, покрыть лаком. Самовар с медалями, с орлами. Придут гости... Только боюсь – из-за этих медалей с орлами не подумают ли, что я какой-нибудь монархист?

**30 мая 198... г.**

Снился сон, что в кладбищенской церкви идет богослужение. Стоим: я и будто бы моя дочка маленькая, она говорит: «Господи, помилуй!» Стоим у боковых врат, на выходе, которых на самом деле у кладбищенской церкви нет. Выходят люди после службы, и все здороваются, называя себя по именам. Сон коричнево-медовый,



цветной. Люди, которые здороваются, глядят, как единомышленники, единоверцы. Где это происходит, в каких слоях бытия? У меня пока нет ни жены, ни ребенка...

#### **2 июня 198... г.**

Было партийное собрание на антирелигиозную тему. Позвали и нас, беспартийных. Инструктор райкома Бекбоева говорила: каждую Пасху выходим в церковь и смотрим, кто туда ходит и т.д. Крестьянников передал мне старушечий слух, что в прошлую Пасху в церковь, в Поводнево, пришел человек, вся грудь орденами улеплена. Ему все уступили место. А за ним стояли какие-то люди, и все в церкви высмотрели, а потом обокрали. И в эту Пасху в церкви тоже был человек, вся грудь орденами улеплена. Говорят – обокрадут. Не он ли и к музейной краже причастен?

#### **7 июня 198... г.**

Я в отпуске. Вчера снова ходил на волжскую косу. Нашел серебряную копейку 1601 года. На ней вычеканен суровый, в профиль король в панцире, напоминающий западные миниатюры. Нашел бусину и крестик наперсный, обломанный, видимо, семнадцатого века, с покойника. Там же и браслета обломки медного, двенадцатого или тринадцатого века, как мне датировал Тускляков. Все это нашел за полчаса и отдал ему, в музей.

#### **9 июня 198... г.**

Память человеческая сильно похожа на землю. Лежат в ней рядом бронзовый браслет 14 века, и покойницкая серебряная копейка, и окурок Николая Волнушкина, обломки трухлявых костей и недавние битые бутылки. И у меня в голове – газетная заметка и Ильи Муромца, и образ человека из семнадцатого века, картина его похорон. Вот и говорят: поток сознания – зачем его выделять в нечто новое или особенное? Это та же земля.

Прослойки чернозема – как слой сна или обморока: небытия. Рывки погребенных вещей сквозь это небытие. Вещи, обломки, как яркие метафоры, в псалмах. Это то же, что «лирический восторг» старой оды. Человеческая плоть (образ земли). Но не сама земля. Она – земля перевоплощенная...

#### **14 июня 198... г.**

Тайник мастера Петрова. Когда-то мы о нём часто толковали с Дмитрием Грязновым в Ярославле...

Ходил весь день старик по лесу – чувствовал – все живет. Почувствовал, что в нем есть что-то такое, что вперед создания мира было. И это сознание того, что до мира было – и было его «я». «Я», как не мир, не земля – отдельного от мира и земли. И там, где было «я» отдельно, вспыхивали, светясь, сияя, образы родителей. И все это было то, с чем связь его была вечна, крепче жизни. Шел лесной объездчик Петров по лесу, сначала встретился со старушкой матерью-сырой землей... Потом со Христом. Может, в этом и есть его тайник?..

Об этом мы говорили с Грязновым. Где-то за землей, за всем космосом, точно окошечко открылось: квик-квик! Где-то далеко за черной толщей земли – ее, земли, – душа. Так и резчик Петров где-то за болонами свили, за скрутами, наростами. Что мне говорили Илья Муромец и Иванушка-дурачок? В мебели из выплавок есть тайник, по которому можно уйти.... Пробился тайник – пробился родник – рифма. Когда еще в я в Ярославле читал Шитикову незаконченную свою поэму «Выплавки», про резчиков, он открыл мне, что это он сам в столе сделал тайник и заложил в него записку: «Я – Кудиныч из Глинников». Я поддался его откровению... Теперь куда все это девать – похерить, как обман?..

#### **16 июня 198... г.**

Снова ходил на косу. Сильно размыли последние дожди берег. Большие человеческие кости от ног. Много зубов коричневых. Вспомнились стишки, которые писал в юности: «Целый день на старинном погосте волны плакальщицы у ног, где волна безымянные кости вымывает на волжский песок»...

Через восемнадцать лет продолжаю с упрямством дурака: «Там копейщик в короне и латах поражает извивы змеи, серебрясь под волной рябоватой на просвеченной солнцем мели». Опять нашел две серебряные монеты и одну медную века семнадцатого, а то и раньше. Монетки сильно обрезаны.

#### **16 июля 198... г.**

Всего нашел я за отпуск 13 монеток. Сегодня в одном месте сразу 7 монеток. Отдал Тусклякову. Он написал заметку о кладе, на самом деле серебряные копейки это, конечно, деньги на перевоз покойникам. Их в старину клали в гроб или кидали в могилы.

Когда спадет вода, хорошо просматривается могильная земля. Слои рыжей глины, перекопанные во время рытья могил, перемежаются с черными прослойками жирного, слизистого ила. Перегной после трупов.

В куче камней нашел пять черепов, Сверху, с макушки, они, как водяные камни: обильны, зелены от водорослей. Хожу на козу каждый день и смотрю, кем я буду. Забываю и про работу и про многое другое. Глядишь на кости – сирость и простота, и нищета. Реальность камня, реальность глины. Такая крайняя степень реальности, что чувствуешь, как за ней бьется и рокошет прибором сверхреального.

#### **10 августа 198... г.**

Череп... Черный, жирный ил, маслянистый от нефти, прибитой к берегу... *Дальше неразборчивые наброски рассказа, неоконченные стихи...*

#### **21 августа 198...г.**

С того берега... *Снова наброски стихов и рассказа.* Погода портится, на косе в сумрачном свете плохо видать. Хотя каждый камушек здесь знаком. Теперь буду ходить в музей. Грязнов прислал из Ярославля новые материалы про древодельный промысел... Дали и новое помещения под музей. Тускляков говорит – не раньше, как к новому году перееедем в него из кладбищенской церкви...

#### **2 сентября 198... г.**

Сегодняшней ночью – сон необычный! Спускаюсь во тьму, вглубь, в какое-то печальное, темное место. Стал пересказывать сон Тусклякову и запутался. Потому что и пересказывать-то уже нечего: все *там* осталось... Почему-то мне думается, что этот сон связан каким-то образом с жилищем Полушкиных и склепом под этим жилищем. Наконец-то привезли оттуда шестиугольный магазин. Усадьба в Кривце принадлежала дворянам Кожиным, а потом прибалтийским немцам. Штабс-капитан Кожин, участник войны 1812 года за храбрость под Бородином был награжден золотым оружием. Он и другие Кожины похоронены были в склепе под алтарем церкви... Вчера начали копать картошку у Ирины в Зарубине.

#### **7 сентября 198... г.**

Опять тот же сон! Только в подвале кладка на этот раз уже из силикатных кирпичей. И опять смысл не донес – не вынес из сна. Проснулся – все потерял, все снова кажется случайным, извне пришедшим в голову... Читаю старинные книги, выписываю для себя: «Надо удерживаться от решительного заключения о сновидениях. Они различны, могут происходить от различных состояний тела, особенно нерв, от сердца, мыслей, воображения, каковы сии наяву, и, наконец, от влияний духовного мира, чистых, смешанных и нечистых. Дабы определить достоинство сновидений, потребно многое испытание».

#### **12 сентября 198... г.**

В среду пришел в редакцию, Тусклякова не было, разговаривал с заместителем редактора Уховым о разных поэтах, да так, что разругались. Вроде и повод был ничтожный, то есть вообще не было повода, а я, как зверь, закричал, будто в облако темное попал. Он мне говорит: я выражаю свое мнение. Я ему: у тебя нет своего мнения! Ты должен меня только слушать! Я знаю, что такое поэзия, ты – нет! Потому что я ей всю жизнь отдал... Надо видеть образы! Ко мне сами образы являются... Чуть не рассказал про Илью Муромца и Ивана-дурака...

Потом спокаялся. Пал я неизмеримо ниже того, кого ругал разными словами. Вот и записываю себе на память, чтобы в будущем себя столь низко не вести. На душе мутно, расслабленно. Все-таки Ухов меня ценит. Чтобы собрать себя, перестроить, принялся переделывать заброшенную поэму».

Вперемежку с записями в тетрадке – наброски в стихах под общим заголовком «Музейщик и поэт»: как исподняя сторона всякой одежды похожа на лицевую, схожие с «фантазиями», которые так искусно исполнил *левый, мнимый Ивняков* в избушке у Григория Паялы, и спектаклем, поставленным силами испытателей слов поздним вечером на берегу Каменки.

Игрушечные, кукольные образы говорящих птиц и вещей выпукло возникали в воображении и будто упирались в душу своими яркими телами – заменявшими им зрение – они будто смотрели на него всей цветной кожей и простили, как корма, бытия,

то есть не обретенного еще звука, смысла, человеческого слова. (Но так и не допросились – не вылупились полностью из своего гнездилища, исключая – поэмы про иконописца, разбившегося в церкви). Да всё про Гришу Паяло, про его жену, которая давно умерла еще не старой, но теперь проступала в образе старухи, и дымник самоварно светился над трубою их избы...

*В дымнике медяном над трубою, высоко над грешною землею жил да был, драчун и смолокур, воробей, клевал он из корыта хлеба и картофеля досыта, и пшена у беспечальных кур. Перед ним впустую притворялся, словно в стельку пьяненький, валялся Васька-кот в пыли среди двора, потому что куры – понимали: хором Воробья предупреждали: от земли не ожидай добра!...*

Как и на исподней, левой стороне в «драматической фантазии», дымник у правого Ивнякова тоже попал в музей, то есть в кладбищенскую церковь. А воробей, лишившись жилья, поселился за вывеской...

Вроде всё так... да не так! Не было на исподней стороне, (не знали про то ни Иванушка-дурачок ни Илья Муромец!) а на правой, лицевой было, что отступнику Кудинычу дарована была почти вечная жизнь в разных личинах, но лишь до тех пор, пока не родится Поэт и не разоблачит его.

Во многих местах левая и правая сторона затянувшегося сочинения совпадали. В березовом лесу, в который, по преданию, Богородица обратила жен глинников, древоделы выпиливали причудливые выплавки; «из кренделей свили вызволяли ножичком были сказок минувших времен», как написал о том один московский поэт.

Прижитое от иконописца заугольное дитё выросло, и Кудиныч переманил его к себе в ученики – и они тайным образом готовят сеть и яму для Поэта, который уже готов разоблачить Кудиныча, продавшего душу нечисти. Но сначала должен был погибнуть в этой схватке говорящий воробей, потому что он слишком много узнал, подслушивая, и все это рассказывал глупым курицам...

Здесь и далее в набросках Ивнякова всё чаще встречается имя молодой белолицей, синеглазой вдовы из Зарубина, доярки: Ирина Рытикова, Ира, Ирочка...

## ГЛАВА 44

Ивнякову, как видно из его дневника, снилось множество причудливых снов, которые он толковал суеверно. Еще летом во время отпуска он заночевал, загостившись у Ирины Рытиковой: еще с весны у них началась семейная жизнь. Рано утром она ушла на ферму доить коров, а Ивняков завтракал на кухне блинами с творогом и простоквашей. Рядом котик молодой вертелся, терся у ног, норовил на колени вспрыгнуть, так хозяйка его избаловала. Ивняков осадил его на пол, открыл окно покурить, глядя в палисадник, где на черемухе шебутная птица – воробьи всё о чём-то пререкались, перепархивая с ветки на ветку. Отошел окурочек в помойное ведро бросить, а в это время гость влетел.

Порхает под потолком, уселся на верх занавески ситцевой над печкой, потом на опечек, еще нагадит! Сначала Ивняков махал на него полотенцем, выгоняя в окно – бесполезно! Тогда и пришло на ум, как Ирина, придя с фермы, усталая, ласкает котика, приговаривая: «Юрочка, милый ты мой!» Ну, пусть Юрка его и поймает – всё мяско свежее! А воробей, верно, ошалев, как раз перелетел на табуретку, на которой котик любил полеживать: он по-хозяйски подошел, встал на задние лапки в полный рост, передними уперся в поперечину – и деловито прихватил птичку зубами – бедняга даже не шелохнулся.

Ивняков вдруг неприятно удивился совпадению, вспомнив говорящего воробья из сочинения своего, да и сны темные, смутные, и про подвал, и сегодняшний сон чудной, будто бы он с молодыми женщинами едет в комфортабельном автобусе куда-то, и одна стройная, черноволосая, похвалилась, что она его стихи читала под названием «Трусы». (Таких стихов Ивняков никогда не писал! От этого он и проснулся).

Если птица влетит в дом – примета нехорошая. Ивняков, снова закурил и так задумался, что не услышал, как пришла Ирина с фермы, сняла в сенях пропахшую навозом рабочую куртку и резиновые сапоги, пошла к умывальнику и тут увидела перья, кровь, и давай нараспев котика хвалить: «Юрочка мой, добытчик!» А, узнав о происшествии, толковала, что если воробей влетит – это к доброй вести (намекала на женитьбу!) А вот синица – это плохо,

да! Но Ивнякову стало жалко воробья. И что за чёрт подтолкнул скормить его коту? – каялся он. Так и не освободившись от бесплодно тревожного чувства, он, не дождаввшись автобуса, двинул пешком домой. Что-то издевательское чудилось ему в том, что он всё пишет поэму и не может завершить.

В комнате у Крестьянникова – одному не спалось; снилась всякая чушь, что пришли агитаторы – переписывать на выборы в депутаты Верховного Совета СССР, а он распорился с ними. Они все с бородами, тут и Тускляков, тоже с бородой, с ними заодно: грозятся: «Мы тебя уволим с работы!»

Проснулся среди ночи, такой злой. Курил. И, чтобы развлечься, набросал эту «шитиковщину», как он называл про себя: сценку... И не знал, что всё вышло почти, как у левого, исподнего Ивнякова... Только не случайно болезненно как-то посмеялся про себя, – этот сжатый смех не успокаивал, а добавлял тревожной скуки, которая, казалось, прямо из ночи насыщала душу, точилась от лампы, из окна, со стен...

#### ВОРОБЕЙ

*Ночь, Поэт просыпается от кошмарного сна.*

#### ПОЭТ

Это ты, музейщик, черт, виною,  
Что сдружился я со стариною!  
Дымники, иконы... Воробей!  
Не дай Бог, влетит еще в окошко.  
Кис-кис-кис! Ты разленилась, кошка,  
Ну, давай, сожри его скорей!

А она давно глядела,  
Ведь голодная была...  
Раз-два-три! – и, как стрела,  
К воробью метнулась кошка...

А поэт встал у окошка.  
Говорит: вот так вас всех!

#### ВОРОБЕЙ

Эй, злодей, тебе на смех  
Погибаю я... Избавь!

#### ПОЭТ, *отходя от окна:*

Ну, теперь, Поэт, восславь  
Сон свой для веков... Паялу –  
Не забудь. Простых немало  
Сгнуло людей, как воробей,  
Вот этот!..

#### *Ходит:*

Под силу ль одному Поэту  
Все описать  
И правду рассказать?

#### КОШКА

Хочу, Поэт, я спать...

#### Под силу! –

Он говорит  
И свет включает, и тетрадь берет.  
И кошку сытую ногой пинает,  
Ключом в нем вдохновенье бьет...

На неделе пораньше, пока сухо, договорились они с Рытиковой докопать картошку. Хорошая уродилась. «Выворотишь лопатой – как пироги!» – повторяла с удовольствием Рытикова. Рассыпали желтевшие солнечно клубни на полосе за домом, чтобы пообдуло ветерком, подсушило, и пошли обедать. Веселые, игривые. Ирина вымыла в кадке с дождевой водой большую картофелину, похожую на пузана: голова – два приростка вместо рук и – обрубьши ног. На осеннюю, огородную выставку в клуб Ивняков хотел её отнести.

– Я девчонкой с такими вот картофелинами разговаривала. Земляник, земляничок, тебе холодно? Оденешь его в тряпочку какую...

– И что он тебе отвечал? – спрашивал беззаботно Ивняков, откусывая от пирожка с малинкою.

Счастливый будничныи разговор молодоженов за столом – ни о чем.

– А ты вот, послушай... Своего земляника! – вспомнил тут Ивняков.

И прочитал, да и не полностью, свою «шитиковщину». Думал – Рытикова посмеется с ним заодно: накатал же в шутку! А она уперла в него свои голубые глаза: до чего глаза у них были схожие, будто из одной и той же русской полевой голубизны!

– Сашка, нашел, про что писать! Про чужую кощенку – Константинычеву... Написал бы лучше про нашего котика... Правда, Юрочка?.. Пора бы уж тебе... Сено за коровой не ходит, а корова – за сеном!..

Да, пора бы уж перебираться Ивнякову к Рытиковой. Мужа у нее, механизатора, трактором задавило. Привез на ферму комбикорм, грузчики разгружают тележку. А он выпивши был, ушел и лег в лопухи – как лес вокруг.

Грузчики, разгрузив тележку, стали выпивать, тракториста не позвали: он нам не помогал, курил! Тут другой тракторист, уже гусеничный, силос подвез. Сидят грузчики, не едут. Володи все нет. Стали кричать:

– Володя! Володя!

– Да вон он, спит, керзачи из лопухов торчат! – говорит этот, с гусеничного тракторист.

Дернул за ногу – не встает. Лопухи отвел – а у Володи прямо по лицу гусеницей проехано. А позвали бы выпивать – жив был!..

Неприметно продолжалось время издевательства над словом, заразившее души ложью, время продажи слов и облучения образов человеческих, которое длится и теперь.

## ГЛАВА 45

С Ивняковым ничего странного или неожиданного, после того, как в дом залетел воробей, не случилось, жил до самой смер-

ти, как и все. Только выпивать стал чаще. То ночь на квартире не ночевал, провалялся в лопухах на холодной земле, то перевернулся на мотороллере. Сдружился сильно с Глазовым, тогда уже работавшим на кирпичном заводе, с заместителем редактора районной газеты Юрием Петровичем Уховым, которого, как шутили потом в городе, и в редакторы вывел.

Так уж случилось. В доме культуры купили новый магнитофон. Надо было его проверить, как работает. Сидели вечером в опустевшей редакции три друга, выпивали. Ивняков громко читал свои стихи перед микрофоном. А Ухов – он тоже не только стихи читал, но и играл на баяне – говорит:

– Давайте я спою... Записывай!

А Ивняков пьянел быстро, озоровал безобидно, но много, и тут как выкрикнет в микрофон:

– Эх-ха! Выступает редактор потолочной газеты Юрий Ухов!

И Ухов старательно, с пьяным придыханием вывел под баян:

Расцветают голубые  
Цветики на скатерти.  
Нынче девочки гуляют  
Без запретов матери.

Игрой своей Ухов был очень доволен, прежде он всё играл на губной гармошке, а теперь – баян новый, магнитофон тоже новый, звук берет чисто.

Ивняков, озоруя над добродушным Уховым, совался:

– Далеко еще тебе, Юрий Петрович, до настоящей игры! Очень далеко...

Перекрутили пленку. Послушали. Еще раз послушали...

– Далеко... – твердит Ивняков.

А Ухов, желая показать, как выступают те, которым действительно далеко, говорит Глазову:

– Теперь ты спой что-нибудь.

Глазов, с большим носом, краснолицый, ни петь, ни играть на баяне не умел, поэтому изменил голос и заревел, как пароходная труба:

Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!  
Приходи в субботу ту!  
Буду мыться я нагая,  
Покажу, транда какая!

Посмеялись – магнитофон работает хорошо. И забыли.

А уж осенью на танцах в доме культуры, (бывшем соборе), когда собралось человек сто в зале, магнитофон, гроыхавший танцевальной музыкой, вдруг замолк. Шипение бикфордова шнура поползло в уши. И хорошо знакомый голос клубного работника Ивнякова объявил:

– Выступает редактор потолочной газеты Юрий Ухов!

Сначала что-то невнятное, стенающее. А потом как захлестало в стены: Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!..

Все, как потом докладывал секретарю по идеологии случившийся здесь инструктор райкома, чуть не упали. А директор дома культуры Иван Степанович Хламов выскочил в фойе, кричит не своё:

– Подать мне товарища Ивнякова сюда!

Ивняков стоит в фойе, курит. Иван Степанович Хламов опять не своё кричит:

– Товарищ Ивняков, почему у вас транслируется подпольная музыка?

– Рок, – смеется Ивняков, – это уж теперь всеми признано...

Магнитофон с записью унесли в райком, вскоре туда же вызвали и Ухова. Прокрутили. Ухов проявил выдержку, объяснял, что перед второй частушкой Ивняков нечаянно объявление не сделал и тем, по существу, скомпрометировал его, заместителя редактора и секретаря парторганизации. Если спросить Глазова (он на кирпичном заводе глину месит) то тот подтвердит, что он, Ухов, свой номер исполнил без похабства, лирично. Снова включили запись. Райкомовцы заходят, слушают. Заворготделом, рыжая, в крупных веснушках, за что её прозвали «ржавчиной», говорит с укором: это же ты, Юрий! Зачем притворяться? Другие: нет, это не он, по голосу слышно! Председатель парткомиссии, заядлый холостяк, даже записал эту частушку, он собирал по-

хабные: плясал и пел под них, как подопыют на своих райкомовских сабантуях на 7 ноября и под новый год. А за Глазовым никто не идет: он пьяница, да и из партии давно исключен.

Тогда вызвали в райком Ивнякова. Он уперся на своём:

– Я же не пел!

– А почему замредактора – редактором объявил?

– Хотел хорошего...

– А-а, хорошего... – говорит значительно Хламов.

Он вместе с редактором выпивал и рыбу ловил, и жены их дружили. Как редактор услышал про потолочную газету:

– Ну, Иван, такого сотрудника надо увольнять... Или, понимаешь, он сам тебя уволит...

И Ивнякова сослали за семь километров от города в Зарубино заведовать клубом, поближе к Рытиковой, и с намёком, чтобы он дело семейное не затягивал. Да, может, и выправится там...

Сначала из упрямства жил он по-прежнему у Крестьянникова, а на новую работу – на мотороллере ездил. Но все чаще ночевал в Зарубине. Беспokoившемуся за него Крестьянникову говорил, что спит в клубе.

Когда он перебрался в Зарубино окончательно, Рытикова подарила ему под рукописи новую корзину бельевую. Хорошие корзины плел живший в соседней деревне инвалид. Ивняка для плетёва по берегам Волги да островам – сколько угодно.

Ухов очень стихи Ивнякова любил, составлял подборки для газеты. Шитиков к нему в редакцию заходил и взял уже из напечатанных стихов – Ивану Доронину в «Родники народные». Ивняков, услышав про это, вышел из себя. Чуть в редакции скандал не учинил. Я его теперь, Юра, раскусил... Как увижу на улице – оббегаю...

Ухов спокойно, не вставая из-за своего рабочего стола, остановил его:

– Я уж давно, Александр, о тебе думаю... А теперь скажу. И ты не обижайся. Хорошо, что ты женился. Теперь у тебя нормальное питание, жена регулярно готовит пищу. Но надо бросить пить, курить. Смотри, лицо у тебя какое синее. А кончик носа – сизый. Это от курева...

Сам Ухов развелся не только с первой, но уже и со второй женой – она ушла к начальнику автобазы Патетюрину. Схоронил и пятнадцатилетнего сына от первого брака, и теперь дело шло, кажется, к третьему. Себя он держал в рамках спортом и, как он считал, «разрядкой нервов – умеренной выпивкой».

Как Шитиков приехал на следующее лето после «карусели» и остановился у Крестьянникова, он сделал вид, что ничего между ним и Ивняковым не произошло. Точно это не он, а его образ вечный посылал поэта на смерть к Григорию Паяле, где затаился в засаде кирпич и банковали в скрыте Иванушка-дурачок с Илей Муромцем.

Ивняков послушал-послушал его увертливых объяснений, да как крикнет:

– Думаешь, я боюсь тебя, пузырь?

– Сам ты пузырь! – вспылil Шитиков. – Ты должен меня только слушать... Какая невоспитанность...

– Молчи, душеед! – рванулcя к нему, будто драться, Ивняков: – Душеедством кормишься!..

Иван Константинович затолкал его чуть ли не силой в комнату.

– Какая невоспитанность... Ты без меня не закончишь своей поэмы! – кричал из-за спины Крестьянникова Владимир Дмитриевич. Крестьянников и его под локоток взял, в другую комнату проводил.

– Грозит! – яростно жаловался Ухову Ивняков. – Намекает, что не поможет напечататься... Да ведь и так не много помог... Только за нос водил... Я-де – вечный образ...

Сидели в чайной, взяв по сто пятьдесят граммов перцовки да по котлете с гарниром. Ну и по кружке пива, не больше.

– Он тебе и сейчас помогает, – убеждал его Ухов, привычно окутываясь в родной теплый гомонok заведения. – Я-то думал: через тебя и сам с ним поближе познакомлюсь. – Давай, съездим к нему вместе да помиримся. Я и с людьми ниже себя умею держаться прямо, и с крупным начальством. Один раз даже чуть в гости к маршалу Ухову не попал... Наметил, как и представитьcя: я тоже Ухов, только другой...

Ивняков всегда, вспоминая Шитикова, страшно волновался, даже на месте усидеть не мог. А поэмы, начатые еще в Ярославле, у него, действительно, не двигались. Образы их точно вмерзли в лед. Припадешь к этому льду, начнешь всматриваться, а они в тебя из своей толщи всматриваются. Будто не хотят в сеть словесную попасть, на дно уходят. Чем больше пишешь – тем глубже уходят. Читаешь – совсем не то, какая-то насильственная пестрота.... А то и нелепица...

Что изорвет, что в корзину бельевую сунет – унесет в чулан. Успокоится... Тогда они снова, как рыбы, подплывают и глядят. Ивняков был человек неглупый, однажды он вслух погрозил в пространство пальцем, усмехнулся горько и надолго забыл про бельевую корзину. И на Шитикова обижаться перестал, а то и каялся спохватчиво: «Лучше уж образом стать, чем такая жизнь»...

## ГЛАВА 46

Домик у Рытиковой, теперь Ивняковой Ирины, был маленький, грустненький. Купила его мать, да недолго пожила. На другой год мужа Володю вынесли в гробу. Вот тогда Ирина и принесла с фермы котенка: было их у кошки трое, двоих слесарь утопил в жидком навозе, чтобы не стали без хозяев дикими кошками. Коровы у Ирины, как и у каждой хорошей доярки, была своя. Юрочка или Юрок на молочке рос быстро, да такой умный. Не видно его, не слышно, а чуть кто придет в дом – тут, как тут. Вспрыгнет на табуретку и слушает. И руки умел, как собачка, лизать.

Ивняков написал в стихах, что Ирина пришла к нему из сиены-дали сказочной и, пожалуй, так: стройна, белотела, только глаза не сказочные, маловаты, и нос длинный. Оказалась она и сварливой, но Ивняков думал, что как раз по нему такая жена, чтобы сильно не распускался. Жена и муж – веселые. А девочка у них родилась грустненькой, будто и действительно ее нашли в лесу у камушка, (как писал в стихах Ивняков) и она всё не могла забыть, как обернули ее братца козленочком и потащили под булатный нож. Личико, как у матери, и глаза их общим, семейным

цветом голубые – только по-детски спокойные. Редко разбалуются, сидит молча, лоскуточки кукольные перебирает...

– Аленка, ты что молчишь? – начинает свою старую песню жена. – Это ты её, Сашка, своими сказками пугаешь... Сегодня опять мне не давала спать, два раза ночью кричала... А ведь мне в четыре часа надо вставать... Я не в клубе трали-вали развожу...

Юрок выйдет из угла, вспрыгнет на табуретку, водит глазами пристально с лица на лицо.

– Все-то он, милый мой, понимает, жалеет меня! – поет, жалуется чуть хрипловатый голосок жены...

Это Ивнякову в укор. Неправда, Ивняков тоже жалел жену. Помогал ей: и корм коровам в кормушки таскал, и навоз откидывал.

– Доярка – самая проклятая работа, – говорил он. – И навозом, и силосом воняет, и голос хрипловатый от того, что она много с коровами разговаривает и всё криком...

Однажды он пришел из клуба в полночь, стал стихи писать, а угол столом отгорожен – там теленок суточный встаёт на колени, шатается, морду тянет к столу, нюхает бумагу. А глаза темные, влажно мерцающие, как звездная ночь – глядел-глядел в них, да так и не написал ничего. И опять вспомнился Шитиков... Может, я не понял его?..

Встретились случайно в городе, поговорили. Шитиков спросил про «Филипску-богомаза». Обещал заехать, поговорить... Времена-то меняются...

Как родился ребенок, Аленка, – стал Ивняков с ребенком сидеть. Жена раньше положенного срока вернулась на ферму – там вместо нее сунули какую-то пьянь плосколицую, карзубую в красном плаще.

– Из Москвы выслали, а у нас дояркой ставят... Все отбросы к нам, – говорили на ферме. – Только мужиков наших портит...

Терпенье лопнуло. Пришел председатель Пивоваров с парторгом на ферму. Доярки работают, навоз откидывают, корм в корзинах на пупах таскают. Поздоровались и не говорят ничего. Пивоваров дальше с парторгом идут и видят – на загородке, головой свесившись к корове, высланная доярка вист. Валенки с галошами сброшены, подол задран, репа голым гола...

– Мы ничего не знаем, – говорят доярки, – решайте сами. Это, наверно, городские набезобразили... Везут сюда всяких... помощь оказывать...

Пивоваров сначала парторгу велел:

– Разбуди, Олег Николаевич, проведи воспитательную работу...

Олег Николаевич – не добудился.

– Уж её утром механизаторы тут гуртом будили-будили! – вставила, не стерпев, самая голосистая доярка. – Только мужиков портит...

Тогда Пивоваров снял с одного валенка галошу да как хлопнет ей по голоте:

– Вставай, не видишь, кто перед тобой!

А она как понесет! Да всё матом. А с прясла не слезает и в порядок себя не приводит.

Сразу же с фермы Пивоваров и парторг пошли к Ивняковым, просить Ирину, чтобы выходила на работу.

– А куда я дочку дену? – говорит Ирина, перестав смеяться...

– Александр посидит, уплотнит свое время, мы с него общественные нагрузки снимем, – говорит Олег Николаевич.

Юрочка вышел, вспрыгнул на табуретку, водит глазами с лица на лицо, стал Ивнякову руку лизать.

Ирина свою песню запеть хотела, но опять засмеялась, вспомнив про удар Пивоварова.

Ивняков не только не отказался с Аленкой сидеть, но пообещал Олегу Николаевичу в тот же день написать сатирические куплеты про нарушительницу трудового распорядка.

Ирина переделась и ушла на ферму. Бабы ни в какую – мужикам самим пришлось нарушительницу снимать с загородки. Унесли в красный уголок. А Ивняков, оставшийся с дочкой, так увлекся куплетами, что не только нарушительницу, но и Пивоварова с парторгом, и многих других описал. Поэма, не для стенгазеты, конечно, получилась. Прочитал Ухову. Тот слушал с удовольствием и другим по списку читал.

Так и жили Ивняковы в Зарубине. Вроде все не плохо, как и у других. Только жизнь никак не налаживается. «Я не нашел



себя», – жаловался Ухову Ивняков. Вино стал пить. Так ведь и другие так. Вон, самого Пивоварова вскоре за это дело с работы сняли. Приехал первый секретарь обкома в колхоз «Родину»:

– Где председатель?

– А вон, – говорит какой-то недоброжелатель, – на штабеле досок спит...

Пошел к штабелю, а Пивоваров учуял, свалился в бурьян и быстро-быстро уполз в кусты – затаился.

Первый секретарь и смотреть хозяйство не стал:

– Чтоб его больше здесь не было! – повернулся и уехал.

А неплохой председатель был – в пограничниках на таможене служил. В Петропавловске-на-Камчатке беглецов с Колымы, по пароходам прятавшихся, ловил. Я, говорил, уж привык так, где придется, спать. В любую погоду, дождь ли, снег – иду... Закалка!

Сколько ни говорил Ухов Ивнякову: брось пить и курить, тебе врачи запретили! – он всегда одно и то же: не брошу! А почему не брошу? На это он упрямо молчал. Или, забывая Ухова, петь начинал на разные голоса: то басом, то тенором. Кого-то передразнивая... Клубный работник!

– Слабак, – колол его Ухов. – Я такого понять не могу... Я хочу-пить! Хочу – нет. Я несу-несу стакан ко рту, а могу его поставить и не выпить. И ничего со мной не случится.

– Ты можешь, Юрий Петрович, и не выпить... Это правда. Но лучше все-таки выпить! Не так ли?

Не получалось жизни, никак не могла она встать на ноги, так и ползла на коленках по лопухам... Собрать бы её, всю эту жизнь в корзиночку да и упрятать с глаз долой в какой-нибудь чулан.

## ГЛАВА 47

Аленка сидит на диване:

– Папа, расскажи сказку, как старик чертов из берез наделал! Ивняков мягко удивился. Думал, дочка забыла.

Подошел к окну посмотреть, не идет ли жена – не видать, все черемухой загорожено: воздух темный, и тучи – как чернильницу выплеснули в небо – расплываются тяжелыми клочьями.

– Аленка, я тебе рассказывал и уже не раз. Эта сказка длинная еще до твоего рождения написана.

– Папа, а ты жил при царе? – задумавшись, спросила Аленка.

Ивняков стал укорять Аленку, что она не знает времени и не умеет считать, а просит, чтобы ей рассказывали про царя:

– А вдруг у тебя все спутается в голове? Тебе скажи, что я жил при Илье Муромце и при Иване-дураке, и ты поверишь...

Сидел он, как на иголках – жена ушла на вечернюю дойку, велела ему посидеть с Аленкой, да что-то не идет. Сбежать до фермы или успокоиться: еще подождать? Оставить одну Аленку – так придет, заорет.

– Папа, ты Расскажи мне все сказки, что ты сочинил до моего дня рождения... Все-все... – Беленькая, остроносенькая, сложила руки корабликом, глаза сделала большие.

– Все не рассказать...

– Ну, Расскажи не все.

– Что рассказывать?.. Жил один человек. Он расписывал церковь... Видала, она вся внутри в картинках. И обидел этот богмаз одну девушку из села... Сильно так обидел. А когда стал рисовать Богородицу с ребеночком...

– А у нас есть, папа, Богородица с ребеночком в книжке... Я видела...

– Да-да, есть... И вдруг как глянул ей в глаза и разбился.

– Еще Расскажи, – говорит Аленка серьезно. – А почему он разбился?

– А потому что девушку крепко обидел, сиротку... – сердится Ивняков... А на что сердится?

– Еще...

– Еще стояла деревня Глинники, а в ней жили горшели, делали глиняные горшки. И вот пришли татары и у Кровавого ручья порубили горшелей-глинников. Стала вода в Кровавом ручье красной. А жены с детьми все убежали, татары за ними погнались, а Богородица обернула жен березками. Татары со злости

стали их копиями колоты, и от кровавых ран на березах выросли бурные такие выплавки...

Вдруг за окном застучало, зашумело. Ивняков увидел, как Аленка внутренне вздрогнула.

– Неужели дождь? – сказал Ивняков, подошел к полуотворенному окну; как потемнело в комнате, хоть свет включай. Листья черемухи на глазах Ивнякова делались мокрыми, как плакали.

– Что это, папа? – спрашивает Аленка настороженно.

– Значит, придется мне в сапогах в клуб идти... Да не слышишь – дождь! – раздражается он снова. – Что же они там, день рождения что ли справляют?

– Папа, а дальше?... – тихо, притаенно спрашивает Аленка... Ножки выставила вперед, ручки – корабликом в коленях...

– Дальше слушай... В Глинниках был один предатель. Он спрятался в подвале. Вышел, увидел: избы горят, и ходит по улицам страшная такая баба, уф, смерть. С косой и граблями. Он испугался и убежал в лес, и стал молиться богу, деревянному идолу, и тот бог обрастил его зелеными ветками, тоже деревом сделал... А этот бог был бес. Вот бес раз приходит и говорит: вылезай, Кудинич! Предателя Кудиничем звали... Изведи под корень все березки, чтобы ничего от жен-глинниц не осталось. Да не просто так изведи, а с толком. Наделай из них Ивана-дурака, Волка, царевну. Они, как живые, выйдут. И продай все это царю.

Ну, предатель пошел, купил топор, не пожалел дерева-березы, в котором столько лет прожил, срубил под корень. А вокруг как зашумит! Он оглянулся – люди лес валят. Сейчас начнут делать из берез дурака Ивана и царевен...

А бес ему во второй раз говорит: дорогой Кудинич, сделай ты мне из самой крепкой свили десять лешаков... Сделаю, – отвечает Кудинич.

А для того, чтобы сделать лешаков, ему нужна кровь. А там, недалеко от сторожки, где он жил, деревня стояла, и жила одна женщина с ребеночком, Васяткой, мужа у нее не было. Вот Кудинич этого ребеночка и наметил...

– Папа, – говорит Аленка, – а где мама?

– Я сам её жду... слушай, – увлекаясь, продолжает Ивняков. – Он ребеночка уманил, тот вырос. Стал ему помогать, они сделали лешаков. А лешаки-то его и разорвали...

– А как разорвали?

– Так я же тебе уже рассказывал, как... Они приехали с Кудиничем в Петербург. Там Васятка увидел деревянную царевну, влюбился в неё, – торопливо договаривает Ивняков. Чу, дворовая дверь хлопнула, Ирина пришла, надо обувать сапоги, вынести заодно ей ведро с пойлом для коровы.

– Ну, Аленка, мама пришла. Я ухажу. Только рубашку переодену...

– Папа, это ты всё сочинил до моего рождения? А что после?

– После-после... – переговаривает Ивняков. – Что после было, ты не поймешь... Там еще много... Этот Кудинич, отступник, пришел к настоящей Бабе Яге. Стал ее просить: скоро придет поэт и всем расскажет про мою измену. Помоги его разорвать, как Васятку... Вот они и стали поэта-то мучить, приходиться к нему...

– Как приходиться? – глянула испуганными глазами девочка.

– Ну, хоть во снах... по-разному... А то есть такие люди – мнимые...

– Папа, папа! – спрашивает девочка, насторожась. – А там кто ходит – мама?..

– Конечно, мама... Ну, я пошел в клуб... Ты боишься? – смеется Ивняков.

– Ой, не уходи, – подбежала, схватила за руку девочка. – А дядя Тускляков знает этого Кудинича? Помнишь, мы у него в музее были? Расскажи про музей...

– Все ребенку голову заколачиваешь? Помог бы жене! – толкнув дверь ногой, недовольно встала с ведром на пороге жена.

Тут Ивняков осердился, что пойдет в дождь на ответственный вечер в сапогах, что он уже опаздывает, хотя ему положено там быть первому, как завклубу... Он оттолкнул дочку. И, ничего не ответив жене, стал, взягивая ногой, сбрасывать сапог...

– Нет, пойду в ботинках, – сказал, сдерживаясь. – А что мне ей не рассказывать? – она ведь так не сидит?

– Я тебе говорила, что не говори про Богородицу да про чертей... Вчера ночью закричала, приснилось, что тараканы по подушке бегают...

– Я ей вчера ничего не рассказывал!

– Ведь над ней в школе смеяться будут! Не говори ей ничего про Богородицу! Тут стоит с Машиной Ниной. Та: Богородицы нет! Наша – Богородица есть!

Девочка хваталась за мать, дергала её за черный, пропахший фермой, халат.

– А ты про Богородицу там и выступи на концерте-то, или про чертей! – не отступалась жена и ушла к печке: мять в ведре вареную картошку корове в пойло.

Ивняков зашумел. Тут барин этот раскормленный – через порог и на табуретку. Другой кот хоть бы приласкался, а этот уставился зелеными блюдцами: говори, говори!.. Лучится из глаз презрение, душу вытягивает...

– Я тебя на мясо вместе с телятником сдам! – присел Ивняков да как ткнет ему кулаком в морду... И выбежал из дому, и после вечера клубного домой не пришел.

Прожил почти неделю у Юрия Петровича Ухова в райцентре. Говорили от души и всё о любви. Ухов хоть и развелся со второй женой, но ему очень не нравилось, что она стала любовницей начальника автобазы Патетюринина.

Прошлой зимой были районные лыжные соревнования. Первый лыжник – Патетюрин Николай Павлович. Вторым – Ухов Юрий Петрович. И никому такое распределение мест было не обидно до тех пор, пока не пришла в прошлый раз и не встала у финишной ленточки Любовь Водошникова, экономист, разведенная жена Ухова. Та самая, что выписывала деньги на похороны Кашкаданова.

Патетюрин первым разорвал финишную ленточку – она ему захлопала и «ура» закричала, а как Ухов вторым въехал – отвернулась... А ведь у Патетюринина законная жена есть, она и встречать должна, а не моя, бывшая, обиделся Ухов.

В эти осенние хмарые дни Юрий Петрович во что бы то ни стало наметил победить Патетюринина, «взять реванш», как он говорил в азарте. Он уже два раза по пустынным местам бегал по утрам не как обычно, а с лыжными палками. Глазова, работавшего теперь сторожем у Патетюринина, допытывал, не узнал ли о беге с палками «этот красюк»? Если узнает, наверняка, подражать начнет. Это ведь только в нашем городе никто с палками не бегают. А в больших городах все так тренируются.

Глазов смеялся за спиной Ухова и говорил:

– Ведь могут подумать, что он с ума сошел... Дождь, ха-ха! А он бежит к Волге с палками... Не топиться ли?

Но бег с палками не помог, и на нынешних зимних соревнованиях Патетюрин опять занял первое место, и опять Водошникова ему хлопала. Да и Ухову, пришедшему к финишу вторым, хлопали: одна молоденькая, простоватого вида буфетчица, и ее подруга – не молоденькая, но умевшая казаться молодой, повариха, будущая вторая жена парторга Лихорозова. Молоденькая же буфетчица была уже как бы третьей женой Ухова, а хитрившая подруга пока – хорошей знакомой Ивнякова. Чуть с косинкой, с частой улыбкой – повариха... Эх, Ивняков!.. Вот, что значит своя воля: она заводит в неволю! Его не было на соревнованиях. Он все-таки волей или неволей, но вернулся к жене и дочке в деревню.

Бодрящийся Юрий Петрович с лыжами на плечах и в шапочке с пампушкой стоял и обсуждал с буфетчицей и поварихой, куда теперь идти разрядиться, чтобы снять напряжение. Повариха хихикала, двигала по лицу улыбку. В махеровой красной шапочке буфетчица застыло ждала. Ухов раздумывал вслух: может, махнуть к Ивнякову на лыжах в деревню, в клуб, семь километров пройти, еще раз проверить свои возможности? Он говорил это, а сам глядел, как по улице подъезжает к ним лошадь, и сразу не мог понять, что такое везут на санях? Небо морозное, в голубом огне, зыбким золотом занялись нестерпимо яркие сугробы по сторонам улицы. Толсто укрытые снегом крыши – цветут, и дышать легко, и в душе чисто. И скрипы чистые, звучные – только для того, чтобы их послушать, пойдешь. А почему бы и не махнуть

в Зарубино? – решился уже Ухов, и в это время заиндедевевшая бурая лошаденка, громко погоняемая возчиком, проехала мимо. И Ухов увидел, что возчик сидит на каком-то корыте, сначала до него не дошло, что это – гроб такой, голый, грубый. А за розвальнями, такие же обиндедевевшие, как лошадь, весело скалясь, бегут собаки... Пристроились хвост в хвост.

Возчик опять хлестнул лошадь, что-то подпевая про себя. Собаки бежали ровно, не отставая в снежной, серебряной и зыбкой пыли.

– Какого-то пьяницу, верно, везут... как собаку, – сделала удивленное лицо повариха.

Повариха все делала на лице – и удивление, и страх, и улыбку. Может, от того, что косинка была в глазах, и она хотела изгладить этот недостаток продуманными движениями лицевых мышц.

Буфетчица в махеровой красной шапочке, пальто все в неяршливых пушинках, стояла молча, чуть набок.

Юрий Петрович с переменившимся выражением на лице сказал:

– А собаки-то? – и все трое повернули на другую улицу, к дому, где жила буфетчица. До конца жизни он застрял у него в уме этот снежный солнечный свей за санями.

В неукрашенном гробе, на котором сидел возчик, лежал Григорий Яковлевич Яблоков, или Гриша Паяло, как его называли на улице. Вчера соседи увидели, что тропинку во дворе Гришином замело, калитка и дверь плотно привалены снегом. Стали стучать и в дверь, и в окна. Не отвечает. Когда приехала милиция и сорвала крючок, то нашли Григория уже холодного, одетого, на кровати. Похоронили его за счет казны, родня в Ленинграде узнала о смерти его лишь через месяц.

Ухов рассказал Ивнякову про эти похороны, а Ивняков вскорее прочитал Ухову свое стихотворение:

В месяц раз остатки своей пенсии  
Дядька Гришка вечером несёт.  
В месяц раз одни и те же песни,  
Песни разудалые поёт.

Про златые горы да про Стеньку,  
Что сгубил персидскую княжну.  
В месяц раз тихонечко я в сени  
Слушать эти песни выхожу.

Весь-то свет снежинки запорошили,  
Дядьку Гришку видеть не дают,  
Лишь доверчиво стучась в окошки,  
Песни, словно странницы, идут.

До избы его идут по улице,  
А изба в сугробах до окна.  
О судьбе хозяина угулистого  
Выстывает думою она...

## ГЛАВА 48

«Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность в чтении увеличилась. Естественное дело, что всегда при этом случае больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотистые и пронырливые», – зачитывал когда-то Белкин Булкину...

Но уже все было продано, и даже торговой литературы в старом смысле уже не было, и уже не стало и «людей без большого таланта». Пришли люди бесталанные, но еще шибче пронырливые. Шитиков же явился в то время, когда уже и пронырливых сочинителей – по пальцам перечесть; и самый хитрословный не сумел бы уже «поставить ноги в прелестный сад на высотах, где смертных нет, где полубоги в лавровых рощах возлежат», – как огорчался другой словоиспытатель, товарищ Булкина и Белкина, жалуясь, что словесность теперь вся – лишь клеенные на бумаге пестрые фокусы. Наступило время издевательства над словом, заразившее души ложью, время продажи слов и облечения образов человеческих, которое длится и теперь. Слова проданные:

бездушные, бессердечные, гнилые, обольстительные, выдуманые для выгоды – вместо тех, о которых сказано: «Даром получили – даром давайте».

И если что еще пишут, то отсебятину, как сказал бы Иванушка-дурачок, пишут новым языком, нарочно малопонятным; корявым, пустым, с перебитыми по хребту, параличными – из строки в строку переносами фраз – и от той общепринятой новизны – однообразно бесцветным; всё, будто собрано из пластмассовых цветных полосок и пластинок, что продаются в коробках «детского конструктора».

Но и таких самоделок у Шитикова уже не было, что избавляет меня от заботы повторять на новый лад притчу о погасших светильниках и неразумных девах. Нет, в тёмной душе Владимира Дмитриевича и погасать было нечему. Он не раздумывал, что он есть, и зачем он есть? А раздумывал: кем ему стать и что ему делать? Биографии у него, как он сам скромно сообщал в анкетах, почти нет. (Если такая анкета уцелела в Краснопресненском райкоме партии г. Москвы – можно убедиться документально). Родился в деревне, жил в городе, учился в школе и в институте, работал инженером, но стал писателем.

Его никто не уговаривал, чтобы он писал по заказу. Иван Хитров только подумывал, как хорошо бы поднять тему мелиорации на селе, а уж Шитиков несет рукопись. Иван Хитров даже засомневался от такой прыти: может, парень отсебятину прет? Нет, поглядел в план – точно нужна. Уточнил в обкоме партии – там говорят: у вас что, плана нет?

Ивняков однажды с угрюмого похмелья, когда остатки смысла у человека теряются, стал сравнивать себя с Оригеном. Ориген в восемнадцать лет хотел идти на казнь вместе с сидевшим в тюрьме отцом, чтобы подтвердить кровью истину веры. Ивняков в восемнадцать лет попал в лагерь за драку. Ориген, ходя по бедности босиком, не оставлял учебных занятий. Ивняков, имея три пары обуви, думал, как бы ему зарплату получить побольше. В тот темный час Ивнякову показалось, что по отношению к Оригену, его, как человека, нет... И он пошел в сельмаг за пойлом, как говорили в те времена доярки...

И Шитиков, когда схлестнулся с Пассажиrowым, подумал, что Шитикова и нет совсем, причем, Шитиков, как мнимая величина – весь в другом, для другого. Его нет, потому что он, оказывается, совпадает с Пассажиrowым. Пассажиrow взял у него все блокноты, все варианты, все недоделки, все зачеркнутые слова и главы, все записи, копеечную заметку из районной газеты, и ту взял – даже ахнул и глаза прикрыл.

– Для настоящего художника это важнее, это то, что называется: молча быть поэтом, ваша глубинная часть. Отделанное, опубликованное – все верхушки – вам. А нам – корешки... В конце концов, корешки – это там, где живет душа, главное наше...

– Только уж вы извините, – суетился Владимир Дмитриевич, – в первом варианте я, шутя что ли, сам себя в третьем лице вывел. Так и назвал: драматург и кинорежиссер... Хе-хе, конечно, схематично, поверхностно... вроде как с точки зрения обывателя. Они, мол, все не работают, только пишут... Смело хотел: сам себя – глазом читателя...

– О-о-о! – изумленно замер Пассажиrow. – Любезный Владимир Дмитриевич, да это не я у вас беру, а вы у меня берете!.. А в публикации, значит, убрали, смесили всё с Сашкой Ивняковым. Раз вы себя в сочинение ввели, значит, вы крепко в жизнь общества вросли, значит, вы в нем так и останетесь тем, кем были, в полном сохране и обереге. Пока не захотите иного лица, каждое время своего лица требует... Нам лишь вот этот-то отсоечек черновой Ивнякова добудьте. Конечно же, и для себя используете. Никаких намеков. Я знаю, что вы все пишете для себя, это лишь завистливые неудачники называют указкой партии, мол, мешают нам, к кормушке не дают подойти. А у вас просто такой талант щедрый. Поэтому вы и стали вечным образом... Поэтому вы и получили возможность наслаждаться созданным вам миром, где смертных нет, где полубоги в лавровых рощах возлежат!.. Вечный образ! Это надо же!..

Да как это так Шитиков совпал с Пассажиrowым?.. Где, когда они разговаривали? Разговаривали они на квартире у Владимира Дмитриевича... Ехали на трамвае, как и всегда. Но как все-таки один человек мог стать другим?.. Это же чушь, то же «тьфу», которое так раздражало Германа Котова.

А Ивняков считал, что это событие – феномен, оттого Шитикову и удалось столько книг навыпускать, а Ивнякову – ни одной. Шитиков чуть не умер от рака, и язва на шее открылась – это ему и помогло. У Шитикова как бы две души, не зря же он о как бы вечной жизни толкует. Вторая душа открылась ему; у всех людей вторые души есть, но только Шитиков сумел задействовать свой резерв. А Ивняков ему о Пассажиrove поверил на слово. Ивняков видел Пассажирова во сне. Хотя кроме Шитикова есть люди, которые знают Пассажирова самолично. Например, Котов с Блукановым... даже ранили его... Но тут наша мысль пошла как-то вкривь, поэтому оставим затянувшееся исследование в стороне, ясно одно: это бездна сама – Владимир Дмитриевич Шитиков!

Эта бездна и стала лестницей, по которой сила нездешняя взобралась в наши места, где в скрыте находились Иванушка-дурачок и Илья Муромец; эта шитиковская бездна, расширенная с помощью Ивнякова, стала цветными сетями, опутавшими и богатыря, и дурака с одинаковым успехом. С помощью Ивнякова и правого, и левого: тут по-своему, навыворот подтвердились слова о правой руке, которая не знает, что делает левая.

## ГЛАВА 49

Иван Константинович Крестьянников в большом доме на волжском бульваре оставил себе одну комнату, остальные сдал квартирантам из деревни, договорившись, что если они его не бросят в старости, то он и весь дом им отдаст.

Все, собранные свои записи народных песен и рассказов, он за две недели до смерти отвез в архив, в Углич. Дом же он, как и обещал, завещал квартирантам, а деньги на похороны передал «надежному человеку» на хранение:

– Как я умру, он придет и принесет деньги, – говорил он.

Умер Крестьянников, но «надежный человек» не пришел, не принес. Напрасно все же грешил Ивняков на Шитикова – нашелся охотник поближе на похоронные деньги: намекали и на Тусклякова...

Митрия Грязнова не было на его похоронах, он тогда ещё работал в Ярославле. Приехал уже позднее. Повстречался ему Тускляков на улице и пригласил на сороковины.

Это было в середине февраля, день тихий, белый, удивительно чистый, сверху сухое, играющее солнце. На бульваре расцветенный, радужный иней на распушившихся березах над снежной Волгой, и как-то по-особенному чутко вокруг. Хорошо было идти по свежему, новому снегу, как в прибранной перед праздником огромной горнице.

Был Шитиков, сидели за столом в той большой комнате, которую занимал Крестьянников. Новые хозяева оклеили стены обоями, выставили вон старинный большой стол и зачехленное пианино. Высокие окна разгорались от солнца, всё в комнате стало теплого, солнечного цвета, и, как при Крестьянникове, из-за стола не было видно улицы, а только нежное небо и теплящиеся белым светом вершины берез. Не осталось у Крестьянникова близких, и никто не плакал, все сидели, негромко переговариваясь. Круглая, как матрешка, веселолицая старушка – мать квартирантов, говорила громче всех. И фразы её, как стихи, плавно вытягивались и закруглялись. Скажет – и уйдет за новым блюдом. Она не участвовала в застолье, но, услышав, что все объединились в одном разговоре: как умирал Крестьянников – встала у белой печки и выговорила:

– Я говорю ему: да что ты, Константиныч, выздоровеешь! Мы еще с тобой споём...

Она сказала это бойко, в полный голос, и все, умолкнув, повернулись к ней: глаза веселые, черные, платок низко повязан на круглом лице. В руке тарелка, которую она взяла унести на кухню.

– Он лежал... думал-думал... Потом повернулся ко мне и говорит: нет, Маша, уж, наверно, мы больше с тобой не споём... – протянула она чуть удивленно, закончив кивком, похожим на полупоклон, и, повернувшись, ушла на кухню.

Ивнякова на сороковинах не было: его не приглашали – но на другой день он приехал к Владимиру Дмитриевичу Шитикову «по делу». Еще за месяц перед тем, Ивняков, поколебавшись, согласился на просьбу одного краеведа: передать повесть того –

«самому Шитикову». Услуга была нелегальная, краевед просил не называть его подлинной фамилии драматургу, чтобы близко к сердцу не принимать отзыв, если раскритикует, да и тема ведь – «не советская».

Ивняков в больших серых валенках, в летнем пальтеце и кроличьей лохматой ушанке, заглядевшись на свежий снег под ногами, чуть не столкнулся с Шитиковым. Новая дубленка вынырнула с бульвара, из-за угла, у большого серого камня, обозначающего тротуар. Приветственно расплывшись, раскинул объятия навстречу, но перчатку не снял и руки не подал. Сходу рассказал, что друзья Ивана Константиновича решили собрать покойнику денег на памятник:

– Я дал пятьдесят рублей... Жалко... жалко... Квартиранты уговорили меня погостить денька три-четыре. У кого я теперь летом жить буду?.. С кем говорить?

Ивняков достал из внутреннего кармана пальто самодельный пакет из бурой бумаги – в нём полтора десятка листков, напечатанных на машинке:

– Бери – тебе ответ от тех... от квартирантов Григория Яблокова!..

Шитиков, выкатив глаза, отшатнулся. Ивняков засмеялся, насладившись, и объяснил по делу, что это и для чего...

– А кто он? – глянул Шитиков недоверчиво из-под козырька мехового картуза.

– Он робнет! – ответил Ивняков подхваченным у жены словом. – Не все ли равно – кто?.. Ему лишь бы мнение профессионала...

Недоумение под козырьком картуза переросло в догадливую улыбку. Возможно, Шитиков подумал, что это сочинил сам Ивняков?

– Да всё равно он нездешний... Называй его хоть Васильичем, – пасмурным взглядом ответил ему Ивняков, вспоминая обидный допрос в Паяловой избе, и, заведя ногу за ногу, поелозил носком валенка о задник другого, оббив снег с носка, и растолковал, что в пакете материал об учителе математике Вулканове, и что Крестьянников, наверно, про него рассказывал Шитикову.

– Какого Вулканова? Нет, не помню... – задумчиво наморщился и поджал губы Шитиков.

– Сошедшего с ума в старости Вулканова... Того самого, который еще перед революцией закончил городское училище и был награжден Евангелием в синем бархатном переплете за отличные успехи и примерное поведение. Неужели Крестьянников не рассказывал?

– Расскажи, должно быть это очень занимательно?

– Еще бы, – сказал Ивняков, – Вулканов ходил по улицам и собирал бумажки. Все, что попадет, обертки от печенья, пачки из-под папирос, не говоря уж о ключьях газет. Он возомнил, что тисненая бумага – какой-то особый иероглиф, и все эти типографические орнаменты можно прочесть по-особому, применив математический метод. Наподобие того, как барон Брамбеус на Медвеьем острове расшифровал и перевел клинопись, знаки, оказавшиеся, как выяснилось потом, минерального происхождения...

– Да ну? – захохотал вдруг Шитиков. – Вот это сюжет! Пусть продаст его мне! Сколько?!..

– Робнет! – теперь поджал губы уже Ивняков и отвел взгляд на столб с пасынком, стоявший у камня. Чем веселее становился, оправившийся от внезапной подначки Шитиков, тем суровее серьезнел Ивняков. Росло что-то фальшивое в выражениях драматурга. Ивняков сухо пересказал повесть: о том, что натолкнуло Вулканова на фантастическую расшифровку бумажек. А натолкнула лекция некоего драматурга Пассажинова. Наверно, это все-таки псевдоним. В 1919 или в 1920 году он заездом оказался в Никольском соборе, уже переделанном в театр, прочитал лекцию о поэтике современной трагедии «Песни света». Хотя Пассажинов и не был умалишенным, но суть его лекции передать гораздо труднее, чем математическую методу бедного Вулканова... Он хотел создать новый мир, нового человека из... как бы это сказать? – вроде бы как из света...

– Да вы, должно быть, слышали такое литературное имя – Пассажинов?

– Нет, никогда не слышал... – отвечал Шитиков с той же догадливой, будто проверяющей улыбкой, раздражавшей

Ивнякова. – Крайский, Родов, Герасимов, Александровский... Анатолий Васильевич, разумеется... Нет, что-то драматурга Пассажинова я не припоминаю, – любопытно поглядывая на Ивнякова, повторял Шитиков. – Что за «Песни света»? Это, видно, обычная космическая высокопарность в духе того времени... Какая-нибудь «поэзия рабочего удара»... Вы хотите сказать, что сколь нелепая затея перевести на человеческий язык орнаменты, которыми украшается пачка для печенья, столь же нелепо и из света... знаний нового человека создать?

– Да, что-то вроде того и...

– Так он продаст или нет? – остановив его, хлопнул Шитиков по боку дубленки, где в кармане лежал пакет.

Ивняков, сдерживаясь, попинал носком валенка о серый валун. Напротив, на другой стороне улицы, у колонки появилась сутулая фигура чудака-электрика Бори Гиблого, такой кличкой дразнили его мальчишки. Пока два ведра из колонки наливались водой, электрик, узнав Ивнякова и Шитикова, чтобы побрататься с писателями, стал громко читать стихи Есенина. Писатели, послушав, разошлись. Шитикову пришлось на время своих летних приездов в город подыскивать другую квартиру.

...Тридцать лет прошло с того разговора. Шитиков больше никогда не вспоминал о робнувшем краеведе и на писание в пакете не ответил. Не рано ли ему намекнули, что в мире кому-то известно про облучение образов? А, может быть, уже поздно – облучение совершилось?.. На что надеялся тот краевед по своей простоте?.. А кто похоронные деньги Крестьянникова прихватил? Не из тех ли денег и за «сюжет» Ивнякову было заплачено? Или все-таки – не он, а Тускляков?.. Ни Ивнякова, ни Шитикова уже давно нет в живых...

Но, правда, уцелело некое «шутливое письмо» (так оно было им самим названо) написанное Шитиковым в последний год его жизни. Оно дает ответ, почему он молчал на повесть об учителе Вулканове и синем Евангелии.<sup>2</sup> Шитиков знал побольше Ивнякова и про «царства» Котова с Блукановым. Но рассказ об этом – впереди, в книге «Продажа слов».

<sup>2</sup> Повесть «Синее Евангелие» полностью опубликована в сборнике «Светописный домик», Рыбинск, 2020 г.

## ГЛАВА 50

Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Разве эта присказка не полностью выражает нашу жизнь? Каждый день, каждый час мы идем туда, не знаем куда. Вроде бы я точно знаю, куда и зачем иду, держу в голове свой план, но совершается-то со мной на каждом шагу немного другое. В каждом явлении больше, чем это есть в плане, и это большее так и остается непонятым. От одного непонятого, тем не менее, без всяких препятствий идем к другому непонятому. Сама эта щедрость ведет нас вперед туда, не знаем куда, и делает то, не знаем что.

В самой жизни есть что-то возвышающее над жизнью – *то, не знаем что*: в обыденности оно не развито, просто странное, то есть то же волшебное, но слабо выраженное. Но когда погрузишься в это странное поглубже, пройдешь по нему, хоть до своего огорода, то двоятся, троится оно, дробится, мерцает многими смыслами сразу, и сам становишься оттого неотличимо странным.

И вот, представьте, что всё странное, непонятое, *то, не знаю что*, отрубилось от своих вроде понятных, будничных корней. Пересилена, подмята плановая часть событий:

– Уж покатаешься ты у меня, как колобок по Ярославлю, сколько захочешь! – веселился Владимир Дмитриевич. – А потом снова – необъятные глубины развоплощения мерить. Рыба теперь в садке, надо ее нащупать и... Но только сегодня из дому – ни ногой. Образец твой или часть твоя, называй, как хочешь, Ивняков Александр сегодня в тубдиспансер едет проверяться. Вдруг столкнешься с ним у старых больничных ворот, тех самых, у которых один художник целый месяц с мольбертом просидел. Так и назвал свою картину: «Больничные ворота». Я столько лет живу в Ярославле и всё не обращал на них внимания, а теперь что-то в них увидел...этакое! А неплохо бы, впрочем, и столкнуться. Зачем? Чтобы сказка стала былью, то есть сделать так, как только в литературе бывает. Идет Ивняков в тубдиспансер, а из ворот – другой Ивняков. Да разве это Ивняков?! Сколько же ему лет – тридцать пять или сорок? Личико маленькое, востренькое, туберкулезносеренькое, кепочку мятую с головы никогда не снимает. Взгляд



неуверенный и печально настороженный. Костюм тоже серенький, дешёвенький. Речь спотычливая, спохватчивая, проваливалась вдруг, как в яму, в молчание. А выпьет – летает правая рука, молодцевато кепочку задеть, с затылка на лоб сшибить норовит, а все не сшибает, только грозит. И при каждом нырке руки, словно вспоминает что-то Ивняков и, оборвав всех, высказать хочет, да всё удерживается. И вот *исподний, левый* Ивняков говорит Ивнякову *правому, самобытному*: можешь ехать назад, я болен и неизлечимо... Я умру, а ты будешь жить... Хорошо, а?...

– Ха-ха-ха! – бессмысленно, угрюмо смеялся помощник Шитикова. Горели голубоватыми угольками глаза, и лицо не кривое, и нос не кривой, и обещанный прыщ на месте. Он декламировал разные варианты новых «фантазий» из лесного балагана. Так? – переменил на ходу. – Нет, так лучше... А так?!

Но на самом деле – *не так*: «Это – провокация! – злился уже про себя он. – Если отстойки и встретятся – это не живая, не наружная встреча. Он меня просто не увидит», – думал проницательно, но помалкивал, только удивлялся самоуверенности и хитрословию Шитикова. И Шитиков тоже, догадываясь о своемыслии Ивнякова, усмехался неприятно.

Сколько времени с той, карусельной ночи прошло – трудно сосчитать. Вросший в действительность испытатель слов стал уже тяготиться ей. Но вот прильнул к городу серый, исходящий будто из серых домов свет. Под ногами – перемешанный с грязью снег. Только что проехала снегоочистительная машина – по бокам улицы взбугрились землистые отвалы. Пешеходы пробили в них тропинки. По одной такой тропинке переправляются и словоиспытатели. Шитиков поскользнулся на горбу отвала, подчиненный подхватил его за рукав черного овчинного полушубка, по моде выделанного, укрывающего тело ниже колен. Подчиненный, наоборот, голенастый, тонконогий, в холодной, перетянутой пояском курточке, из под которой, правда, выглядывали приличные джинсы, подаренные Шитиковым.

Они встали у железных красных перил ограждения и продолжали говорить про захваченных Илью Муромца и Иванушку-ду-

рачка. (Развоплотить их на словоматериал и свезти к тому котловану, куда сбрасывается лом и бой словесный – свое отбалаганили!)

Говорили, не скрываясь. Потому что до Ивана-дурака никому из горожан дела не было – ожидали трамвая. Эти люди стекались в одно столпотворение, загоняли себя на этажи и заводы, жили тесно, но ходили по улицам, терлись в очередях, будто не видя друг друга.

Загрохотал по рельсам раскрашенный железный ящик трамвая, и перила трубчатые под руками Шитикова задрожали. Двери ящика раздвинулись, из него дагнуло народом, кого-то столкнули со ступенек, обругали. Среди таких же сердитых и всегда торопящихся людей ехали некогда и Иванушка-дурачок с Ильей Муромцем, почти ничем не отличаясь от других пассажиров. Про одного можно было подумать, что он только что из армии, еще и одеждой гражданской не обзавелся. Ну, а про богатырские ватные штаны другого каждый был волен думать все, что ему заблагорассудится. Тогда один студент политехнического института, улизнувший с лекций, подумал про Илью, что он – буровик из геологоразведки. Преподаватель говорил, что буровые работы в каждой области ведутся. Студент этот, так и не окончив института, сам завербовался в буровики.

Но Иван с Ильей пробирались усторожливо, говорили намеками, выдавали себя за других, а настоящие тати и губители идут открыто. Шитиков с пухлым портфелем: в нём и рукописи, и бутылка вина, и закуска. Куда ж они едут-то – не на московский ли вокзал? Нет, только сходят здесь, троллейбуса ждут. На остановке двое пьяных, обохватившись и удерживая друг друга на ногах, метят пробиться к столбу. Но их отбросило на пожилую рыжую поэтессу Эмму в голубом пальто колокольчиком. Один пьяный с черными, размазанными по лбу волосами люто выверился на портфель и дубленку Шитикова. И поэтесса Эмма и Шитиков, делающий вид, что не узнал её, и другие смотрели пусто, сквозь пьяных. Как будто все они были осажены какими-то тревожными мыслями. Звать эти мысли – пустота, раздражительность и скука повседневной суеты. Это привычный душевный фон наших больших и малых забот: *дороги туда, не знаем куда*.

## ГЛАВА 51

Старая фабричная слобода на окраине кривилась узенькой, в раскисшем снегу улицей: бревенчатые домики с глухими дощатыми заборами, высокие ворота, светелки, солнышки, русалки на карнизах и наличниках – все дерево закопченного городского цвета. Вроде всё низковато и жметя к земле, и даже небо, что изменяло перспективу и делало всё странно знакомым, где-то когда-то виданным, а если глубже войдешь, то так, будто ты когда-то и жил на такой улочке с деревянными столбами электролинии и гранитными, покосившимися тумбами вдоль маленьких не замощенных тротуарчиков. И воздух здесь пах печным, родным с детства дымком.

Дом, в который привел Шитиков Ивнякова, был двухэтажным, окна низа вровень с землей. Сквозь щель в занавесках любопытный с улицы мог разглядеть большую, темную икону со множеством клейм, занимавшую весь простенок. Золотых нимбов на ней было больше, чем ромашек на лугу. Хозяйке было лет около сорока, но выглядела она значительно моложе, жила без мужа, с тремя детьми – и все от разных отцов, как говорили злоязычные соседи. Когда Ивняков спросил про хозяйку: кто она? – Шитиков не ответил. Как и было ему положено по роду таинственной деятельности, шепнул: «о таком не спрашивают... сам узнаешь».

Сидели они за столом, покрытым свежей, шафранного цвета скатертью, в чистенькой комнатке «наверху». Вино хорошее, молдавское, пирожки слоеные. Шитиков в вельветовом пиджачке, в водолазке, чисто выбритый, надушенный, разговаривал с хозяйкой, как со старой знакомой, и с оттенком почтительности. Круглое лицо, черные, гладко зачесанные волосы да и южный выговор, говорили о том, что она хохлушка. Одета в домашний застиранный халат. Выглядела, как и большинство женщин, половину жизни проводящих на фабрике и половину на кухне, в домашней работе. Ширококостная, полногрудая – и выпуклые ярко черные глаза смотрят как-то с упором, будто знают о тебе секрет... впрочем, самого простого свойства. Она напоминала чем-то о девушке, что так завлекла Ивнякова у Шитикова, когда

срисовывали синодик. (Не совсем понятно, как он вспоминал. Похоже, память-то у него на минувшее была даже сильнее и объемнее, чем у Ивнякова *правой* руки. Сама подсказывала: гляделась глазасто, сторожко; кое-что излишнее, можно бы и затуманить,). И Шитиков разными мелкими шуточками показывал, что он тоже догадывается, о чем думает и вспоминает теперь *исподний* Ивняков, когда в него упрутся глаза хозяйки.

Рукопись о сумасшедшем учителе математики Вулканове Шитиков приладил на столе и прочитал начало с пригнуской и чуть нараспев:

«Каменные, двухэтажные дома только в центре, вокруг собора. Уездное ленивое небо будто подернуто пеплом. Назойливо в тишине гроыхает с огромным возом сена телега по уличным бульжникам. Укутанное платком бабье лицо с тупой пристальностью смотрит в спину торопящегося Вулканова, а он смотрит с таким же пустым выражением на торопящуюся перед ним тень. Отец у него был учителем в этом городе, но родители один за другим умерли, дом их сгорел в год после революции. Кое-какие вещи, одежду и железный сундучок с ценностями удалось вынести соседям. Теперь временно приютить обещала его тетка в селе, где в разгромленной барской усадьбе открывали школу.

Парадное крыльцо длинного, бревенчатого строения оказалось наглухо заколоченным. Вулканов повернул во двор. Под тощими березками на лавочке сидел бледный человек в рыжем пиджачке и в галстук-бабочке и деланно устало отворачивался от своего собеседника, широколицего, с чуть кривоватым носом, наступавшего в споре.

«Нос, как у боксера, а по выговору – турка или еврей?» – подумал Вулканов, не без удовольствия чувствуя на себе их взгляды: высокий, крупный, одет он был в красноармейское обмундирование. Вошел в затхлый коридор, внутри дом был уже неузнаваемо перегороден на клетушки: отсюда выселили духовенство или, как теперь говорили, «служителей культа», собор – закрыли; тут и гостиница, и временно проживали «ответственные работники».

В столовой высокое, в резной раме зеркало и огромный самовар на голом столе. Вулканов напился кипятку, поел пирога с морковью, посмотрел на себя в зеркало, где, глубинно отражаясь,

сизели сумеречные окна, был длинный летний вечер – и ему еще больше захотелось к тетке, в то село, куда он получил назначение»...

Хозяйка принесла вскипевший самовар, настоящий, не электрический, варенье клубничное.

– Как хорошо вы писать стали, Владимир Дмитриевич! Просто не верится, что это ваше, – выговорил Ивняков задумчиво. Глядел смягченно и чуть растерянно. Начал быстро толковать смысл прочитанного: – Математическое доказательство... безумия?.. – Сбился, умолк. Полез за сигаретами в карман бурого, довольно еще приличного пиджачка – тоже шитиковский.

Говорили – между ними чайник высоко на конфорке самовара, заварной остывал.

Шитиков, понуро усмехнувшись, сидел молча, опустив глаза, вид его, кажется, говорил: кто же устоит против похвалы? Он поднял глаза на Ивнякова, словно не веря ни своим мыслям, ни словам Ивнякова.

– Я еще раз убеждаюсь, Саша, что ты не хочешь понять меня. Почему тебе не верится, что это – моя повесть... – Он произнес эти слова без вопросительного смысла, будто для себя, и снова замолчал, подперев голову руками. – Это больше, чем повесть. Это мой документ – паспорт, – заговорил Шитиков, напускным равнодушием скрывая свое волнение. – Теперь, знай, что ты находишься в таком же отношении ко мне, как я к Пассажинову... В том-то и дело всё, что Пассажиров есть, теперь мы уже о таких мелочах, что «есть», чего «нет» – не спорим. Вот что я и хотел тебе сказать перед тем, как сделать тебя вольноотпущенником... Ты чуть ли не мое произведение... Не обижайся – я тоже произведение товарища Пассажинова, – он проговорил это с таким переломом в голосе, будто Пассажиров был здесь, за цветной занавеской, в кухне, куда во время чтения вышла хозяйка.

Сломался голос и у Ивнякова:

– Но Ивняков, *отец мой*, как ты говоришь – существует, а я самозванец... А ты сам себе хозяин-барин... живешь, книги пишешь...

– Ты разве завидуешь моей жизни? Странно... Как могут завидовать друг другу два равных, два подобных образа? – и на лице Шитикова появилась едкая, слегка угрожающая улыбка. А в душе – презрение к Ивнякову и унылая, холодная усталость.

– Не нажился здесь? В мастерской у Пассажинова словоиспытатели роптали, когда он их сюда, к нам, посылал. Я сам в Ярославле не по своей воле, по договору... – Вижу, что не нравится, – прервался он, глянув пытливо. – Да, у меня нет отца-образца, потому что товарищ Пассажиров сумел всего меня с потрохами перемолоть... Помог выжечь, вытеснить всё прежнее. А в мою компетенцию не входит – клубного Ивнякова уморить. Достаточно одного Кашкаданова. Да и того случайно...

Воспоминания о Кашкаданове было неприятно Шитикову. Он замолчал, но неприятное внутри не улеглось:

– Да и Пассажиров не сам по себе. Умирзаков ему – отец и командир... – Он впервые назвал эту фамилию Ивнякову.

– Умир-за-ков? – дернувшись от удивления, выговорил Ивняков, – Умирзаков?! Тот, что шофер в издательстве?

– Да нет, нет, – спокойно отмахнулся Шитиков. – Ну, теперь ты знаешь всё...

Но Ивняков не понимал или делал вид, что туго понимает. Да и что бы Шитиков сумел объяснить, как? Только в мифическом смысле, как один писатель древности, трактовавший о таинственном подземном человеке. Подземный человек – демон, живет делением: на Умирзакова, Суетина, Дерябина, Пассажинова и других – это все один, «с несимметричным телом» человек. Вряд ли до этого дошел умом и Шитиков, снова принявшийся говорить Ивнякову диктующим тоном. Вообще-то он в тот вечер многое повторял из прежних разговоров, словно закрепляя в Ивнякове:

– Готов ли ты, чтобы *ноги твои ступили туда, где смертных нет, где полубоги в лавровых роцах возлежат*, как сказал один песнопевец? Готов ли к жизни в области образов? В море мысленном? Все мы – пловцы в нем. Пловец Вулканов, Ивняков – пловец, – сбившись со взятого тона он вдруг забормотал, рассеянно отдаваясь успокоившимся мыслям: – Мечта Ивнякова... *кривая мечта*... Кто в воду смотрит, у того лицо всегда чуть кривое,

искажено. Но только для того, кто смотрит – это искажение. Для самого искаженного образа – это нормальное бытие, жизнь. По всемогущему закону искажения мы и живем. Умирзаков сказал Пассажирову: целое царство разрушили, только Иван да Илья ушли сквозь пальцы. А хоть в том же городе, там, в корнях, внизу – что? Как прежде, чертополох у Никольского собора, лишь берега против винного магазина, по которой можно было попасть в то серебряное царство, сломалась. Да дом умершей бабки Лапши сгребли бульдозером.... Пассажиров, не пора ли мне тебя развоплотить? Нет, не пора, товарищ Умирзаков... Надо нашу правду искать, на дне сердца человеческого лежит ее семянышко. Вырастить надо его... Надо найти человека, понявшего закон отражения: разве искажение не имеет права на свою правду? Вдумайся в суть, товарищ Ивняков. Разве кривой нос не имеет права во все соваться, как и некривой? Разве у кривоногого меньше прав, чем у прямоногого? Разве тени меньше, чем предмету, хочется существовать? Разве тень не допущена в мир, разве не живет? Почему бы ей не стать самосущей?

Он говорил, все более и более разгорячаясь, подавляя внутренний холод. Цветная занавеска уже не раз пошевеливалась и из-за нее, впрочем, без любопытства на лице, выглядывала хозяйка. Странновато она принимала гостей, почасту оставляя их за столом одних, сама же уходила в закуток, как за кулисы.

– Я умирал от рака... Да-да, прямо так у меня в одной тетрадке и записано: «В обкомовской больнице от рака умирал писатель Владимир Дмитриевич Шитиков, умирал, не дописав своей второй книги»... Эта книга написана по заказу, весь сценарий мне растолковали... Она должна была дать мне членский билет... тираж, словом, всё... Я уже почти закончил её, и вот всё это отнимается. Ужасная боль в шее... Умирая, я вцепился в свою книгу. Ха-ха! Да, голос шептал мне – это даже и не отражение искусства, это – подделка... Но раз подделка эта для меня – всё, она – я! Почему она не имеет права жить? Разве я каждое предложение не тесал, как *Лёва*?! Подделку-то еще труднее сочинить... Произошло чудо, и именно потому, что я искажил, создал действенное искажение. Понял – вцепился в него... Мир искажений живет сам по себе, от туда и пришел ко мне Пассажиров...

Хозяйка вышла из-за цветной занавески, отодвинув недопитую стопку с вином, загадочно улыбаясь, нацедила себе кипятку в чашку.

– Из какой глубины? – остановив его внимательно Ивняков, глядя, как она кокетливо пьет чай мелкими глоточками.

– Если я к тебе пришел, – нажал Шитиков, – если я хожу между наших искажений-созданий, как по водам морским – протяни мне руку, перестань сомневаться!.. А из какой – ты глубины? Из глубины *его* сердца, но за тобой глубина вечная, а он оплавится на сияющее вещество. Ты отпочкуйся *от него*, как почка от кактуса. *Я – человек самостоятельный!*..

После этого, сказанного со значительным поглядом, он продолжил более спокойно, поглаживая ласково шафранного теплого цвета скатерть:

– И вот у сломанной березы и чертополоха расцвел мой мир. Если бы не было его, если бы не было меня, Пассажиров бы здесь опоры не имел... Скажешь, выгорел человек – одна личина осталась? Но сам факт выздоровления говорит о другом. Наоборот: появился человек. Да, появился! И книги мои выходят. Я обрел мир несравненно богаче прежнего томительного ожидания. И я – среди наступающих... Жалко русского царства? Но мы каждому человеку дадим по царству. Дурные головы говорят, что это – конец. Трусливые, как Иван и Илья, бегут...

– Эх, частая улочка, мелкий переулочек! – вдруг залихватски переменил он тон. – Дай-ка мне твою руку, Александр! – Потянулся через стол, задев чайник на конфорке, и резко дернул за палец уже знавшего этот фокус Ивнякова. – Что, больно? У тела – органы: руки, ноги, у души же органы – образы. Каждый образ, как и ты, брат, с человеческим лицом. Ты – *его* орган! Стань главным, а не *он*, вот и всё... *Я – человек самостоятельный!*

Ивняков слушал спокойно. Ему уже было не ново отвечать на этот фокус своим фокусом: «Нет, мне – ничего. Это *ему* – больно!» На этот раз он промолчал, поглядывая на молчаливо улыбающуюся разговор хозяйку. С этой улыбкой она опять отошла за цветную занавеску, что-то там готовила. Шитиков допил свою стопку, и видно, устав, толковал уже тише, утешительнее:

– Даже варианты, черновики, каждое слово – все остается жить. Я всё с подчерку беру... Когда углубишься в область образов – слушай, где сердце Ивнякова... А ты говоришь: из какой глубины? Ты сам и есть глубина. Ведь знаешь... Тяни к этому красному живому острову, острову Буяну, заселяй его, волнуй, насылай загадки. Там – твое золотое царство. Борись, чтобы не впал он в равнодушие, чтобы не забросил сочинять. Он к этому склоняется, но ты не унывай... Я ведь вот тебя у него отвоевал...

– А больно ли переходить в область образов?

– А больно ли тебе сейчас?

– Нет, это ему – больно, – ухмыльнувшись, ответил Ивняков, но без уверенности.

– Так что же спрашиваешь?.. Чего бояться? Своего счастья? Тебя, наверно, рассказ о Вулканове тревожит? Так я его в напутствие читаю. Чтобы умные посмеялись... Оку, оттуда смотрящему, дивно, дико: как это? – из света творить героев? Вот, смотри...

И Шитиков торжественно, как по ритуалу, разорвал рукопись.

– А слова уже там, в мастерской: пущены на облечение, как углие огненное. – Возьми, хозяйка! – весело крикнул он, повернувшись к занавеске.

Не трудно Ивнякову было догадаться, что о Пассажиrove и себе он говорил и для хозяйки, каждым словом чувствовал, что она – слушает за цветной занавеской. Когда же он разорвал повесть о синем Евангелие и позвал хозяйку, она равнодушно подобрала разорванные листы и спросила:

– Для этого что ли и писал? – В свободной ее руке дымилась сигарета.

– Именно для этого! – воскликнул с тем же театральным видом Шитиков. – Чтобы рвать, рвать и рвать! Поскольку в себе уверен. – Тут он резко умолкнул, будто что-то не договорив, а, может, просто устав говорить одно и то же.

Она медленно отвернулась и медленно, будто показывая себя, пошла к старой марки телевизору, положила на него разорванные листы, села к столу, затянувшись дымом сигареты, отодвинула от себя середку слоеного пирожка к Ивнякову и, ласково глядя на него, спросила:

– Тебе приходилось много думать?

Шитиков чуть повертел шеей, будто воротничок давил, лицо стало напряженным, а Ивняков не знал, как и понять: смотрит явно с симпатией, даже больше того...

– Да-а... – само собой у него получилось, умом-то еще он не дошел, как понимать, что отвечать.

Оказалось, ответил что надо. Ласково смотрит хозяйка, руки на стол положила – грудью на него налегла, ближе стала:

– Не приходило ли тебе в голову такое? Что каждая мысль, ну, пусть образ, как вы говорите, уже когда-то была у тебя. Что ты думаешь все об одном и том же, все одни и те же мысли в голову входят и выходят. Будто на месте стоишь, будто и мыслей-то никаких нет? – улыбнулась сострадательно. – Будто сам-то ты и не думаешь, а так! – и она кокетливо взмахнула рукой.

Ласковые глаза её не отрывались от Ивнякова, согревали, смягчали прямое значение слов...

Желая, чтобы она смотрела так подольше:

– Да, как-то всё по кругу, – подхватил и тоже рукой подмахнул Ивняков, понимая, что хозяйка этими простыми, кухонными словами говорит о чем-то ином. И это иное все больше проступало перед Ивняковым: сквозь ее затрапезный вид, он разглядел, что женщина она не просто приятная, но даже заманчивая. «Она?.. Та самая: *язык ваш вам мешает...*» – вспомнилось, и легкое, приятное волнение помогло ему отвечать без запинки. Он уже перестал спрашивающее поглядывать на Шитикова. Хозяйка слушала, мягко прильнув к столу, но глаза чуть отделились, тепло свое обволакивающее утянули внутрь. Ивняков спохватился, что говорит чересчур много. Но продолжал скакать языком, как жеребенок перед маткой:

– ...Откуда он взялся этот воробей? Я о нем думал давно. То есть как давно? Для мыслей времени вроде нет. Как поймал себя, что ты уже думал об этом воробье, то и покажется, как вы верно подметили, будто не ты снова подумал, а сам воробей это тебя к себе рванул. Да, ваша правда: все образы – просто круговорот какой-то... Чертово колесо...

Хозяйка слушала, и всё заметнее темнели выпуклые глаза, всё утягивали мягко в себя, убаюкивали, сколько Ивняков

не говори – она будет так, припав грудью к столу, слушать. «О чем же мне еще рассказать, вроде всё?» – подумал Ивняков и замолчал ожидающе, что вот-вот ещё что-нибудь придет в голову. А она, будто только что сама перестала говорить, прибавила:

– Вот и там также.. вращение... Станешь каждым из своих образов: и воробьем, и мастером Петровым... Ты чувствовал, как они все глядят на тебя? Живые...

Легким ударением выделила она последнее слово так, что Ивняков сразу же понял, как это они живые, в чем эта жизнь? – не та, переносная, когда говорят: дерево живое, трава живая. Все это мигом охватило его сердце. Он, удивившись тому таинственному, но понятному, что ему обещали, наружно ослабился, как мальчик, которого похвалили, засмеялся и – к Шитикову:

– Даже и тем сочиненным дезертиром стану?

– Да, – готовно, с хрипотцой после долгого молчания качнулся к нему Владимир Дмитриевич: – и Кудинычем, и самим собой... – Запнувшись: – Иногда и самим собой, – тут же поправился он.

Не дослушав его, Ивняков повернулся к ласково следившим за ним глазам хозяйки и начал вслух вспоминать все свои образы:

– Сейчас я сосчитаю, кем я буду, – посмеивался он, обращаясь уже только к хозяйке. Глаза у той стали будто больше, только кончик усмешки мерцал в них со дна, и это было опять то пронизывающее выражение: я знаю то, что ты хочешь скрыть от меня...

Молодой котик, лапки по колено белые, нос тоже белый, вспрыгнул Шитикову на колени, замурлыкал, не отрывая глаз от стола.

– Пирожка захотел... пирожка... – погладил по голове его Шитиков. – Сейчас я тебе отломлю...

– Он думает, что мы едим сырое мясо и рыбу... – выпрямившись от стола, резко выговорила хозяйка. – Да, мы едим мясо и рыбу! – повторила она ехидно – для котика.

Котик затаился от ее глаз за кромкой стола, только кончики ушей видны. Хозяйка встала и опять медленно, будто показывая, какая у нее спина, подошла к окну, передернула крупно плечами:

– Ух, там, внизу печка истоплена... тепло...

Задернула поглуше створы занавесок на потемневших окнах, включила свет. Тут же ударили воротца во дворе, топот ног на лестнице, веселые девчоночьи голоса...

– Вы где были? – тем же тоном, что и котика, стала выговаривать двум девочкам хозяйка. – Идите вниз, ешьте. Мишке не мешайте, он уроки учит...

Обе были – точная копия матери и показались Ивнякову старше своих лет. Смуглые, крупноглазые, притихшие перед чужими людьми, они опять громко засмеялись на лестнице. И Ивнякову понравилось, что у этой женщины такие взрослые, красивые дети. Они своим появлением сделали ее еще интереснее, хотя и разглядел он, что её выпуклые глаза, когда она сердится, становятся чуть ли не рачьими, а кожа лица дрябловата. А руки? Руки стиркой не измученные, не такие, как у ее ровесниц, рабочих женщин. Значит, она не со здешней текстильной фабрики? Кто же она – продавщица, кассирша? А, может, просто уборщица? Когда спрашивал об этом Шитикова еще на улице: к кому идем? – тот не ответил...

– Кыш-кыш! Чего ты меня донимаешь?! – прикрикнула она на котика, и, глянув на Ивнякова, улыбнулась, и в нем повторился ее смех и ее недавние слова: «разве это больно?»

## ГЛАВА 52

Ивняков проводил Шитикова до переуллка по вечерней, как будто нежилой улочке. Шитиков сказал:

– Как всё неизвестное, это страшит тебя, но... – И, чавкая по грязи, ушел на тусклый свет трамвайной остановки.

В полуподвальном первом этаже, «внизу», как говорила хозяйка, было нагромождено тесных каморок: кладовки, чуланы, комнатенка для десятилетнего Мишки, уже залегшего спать. Ивнякову хотелось посмотреть, какой из себя мальчик, но так и не удалось.

Почти всю кухню занимала беленая русская печка. Лампочка горела слабая. Жарко. Хозяйка сказала: погрейся на печке, я сейчас; и Ивняков, сняв пиджак, полез на печку. Прилег на горячие,

голые кирпичи, неудобно на боку; с таким нетерпением дожидался хозяйки, что даже разглядывать большую икону на стене не стал. Она вошла и с порога, из-за перегородки, спросила шепотом:

– Ты тут?

Он отозвался ей сильным от волнения голосом.

– Ну-ка, я посмотрю... – взобралась она на приступок и стала ощупывать его. – Что же на голых-то кирпичах? – весело и грубовато засмеялась она. – Вон, матрас на табуретке...

Ивняков, не отвечая от волнения, сел на печке.

– Иду, иду, – успокоила еще с приступка она, поднялась еще ближе, и он, увидев, что халат на груди расстегнут, сильно обхватил её и, целуя, втащил к себе.

Прильнув, и голосом, каким разговаривают матери с ребенком, она зашептала:

– А ну-ка, покажи нам, покажи, – расстегнула на джинсах «молнию». Ивнякова кольнуло, что лицо у неё стало каким-то темным, но он оттолкнул это чувство. Она в своих маленьких руках держит то, что так ей хотелось посмотреть. Ивняков в ответ крепко прижимает её, но она со смехом юрко высвобождается и соскальзывает на приступок. Этот холодный, ехидный смешок разжигает его еще сильнее. Задыхаясь, слезает за ней с печки, снова обхватывает сзади...

– Тише, детей разбудишь... – сердито говорит она. И вдруг рассыпается холодными смешочками. Но тут же оставляющим надежду притворным голосом выпытывает: почему, зачем ему она нужна?

Ивняков, чувствуя, что она насмехается и что нет сил уйти от неё, говорит сквозь стыд:

– Я всегда этого хотел... Только не говорил...

Он говорит то, что хочет сказать, хотя чувствует, что притворяется; и он говорит это не свое, как своё. И, преодолевая тревожащее, тайное отвращение, снова...

– Да тихо ты! – грубо выкрикнула она. – Не слышишь, дети проснулись? – качнулась сердито к нему, полная, белая, с от-

крытой грудью, и вдруг стала сильно дуть на него, как на огонь. И Ивняков увидел, что темное лицо её потемнело еще больше, залоснилось, будто распухшее; под глазами синё – лоск восковой и страшный, как на покойнике. Запахнула халат, ушла к детям.

Он остался один у приступка, переживая её отказ и свое отвращение, стараясь не думать о ее лице, будто таким оно и должно быть: «оно же не мешает»... Она тихо вернулась к нему. Ивняков подумал: «если бы хотела отделаться от меня, то не пришла бы». И обнял ее. Она не отталкивала, и так и стояла к нему боком, сбоку, сверху, глядя на её лицо, он увидел, что у неё по маленькому сухому подбородку вокруг рта, будто шляпки медных гвоздей – это проточины тления. «Не может быть», – подумал Ивняков и, сдавив, прижал к себе её тело. И вдруг она зашипела, как кошка, и стала дуть на него. Лицо надувается, страшно дрожит, чернея, и вокруг всё начинает трястись, распадаться, как от ветра. Сверху прорывается смутное небо, вокруг – город ночной, и всё это рушится, уносится, пропадает, его будто перебрасывает рывками из мира в мир. Ивняков весь изнемогает, ему хочется отпустить какую-то силу, которая сотрясает, бросает его. Но он боится отпустить её, потому что тогда он потеряется, исчезнет между мелькающих видов. Ивняков кричит, зовёт пропавшую женщину. А его всё уносит куда-то, всё сливается под ним в мглистую дымку. Это, наверно, уносится сама земля. И внизу уже нет ничего. Нет, еще есть... Это подвесной, качающийся мост. Обо что он опирается? Ивняков все кричит, зовёт хозяйку по имени, хотя там, в доме, кажется, по имени её ни разу не назвал...

– Не оставляй меня на мосту! – кричит он, чувствуя, что она должна слышать. И вдруг мост отдергивается из-под него...

## ГЛАВА 53

Иванушка-дурачок однажды увидел всю Россию, покуда глаз хватало – внизу. Она как бы плавала под серебряным царством, откуда дурак смотрел. Некоторые люди медного, как он называл,

царства, увиделись ему ростом под днище серебряного царства. Из одного царства в другое можно было попасть по теперь уже сломавшейся березе напротив винного магазина, на холме к собору, и по выплавкам мастера Петрова.

Иванушка-дурачок одно время думал, что если идти и идти по коридорам дворца, то можно дойти до царства Христа-Бога. Но оттуда повалили не ангелы, а вышел Давлиненко. Блуканов с Котовым и многие другие люди, что в серебряное царство попадали после сильного боя и сотрясения, узнали, что у серебряного царства есть *под*, или вещественная тьма, местами затвердевшая, и там живет большое начальство. По вещественной тьме черного прохода можно было как-то выбраться в СССР. А как? – точно не скажешь. Потому что и Котов, и Блуканов, и Иванушка-дурачок с Ильей Муромцем видели устройство вселенной каждый из своего угла своим глазом.

А Ивняков оттолкнулся от себя, стоявшего на мосту, и перестал быть Ивняковым. Потерял весь свой вид. Он стал Кудиныч, выплавка горбом легла на спину. Кудиныч стоял у поля, глядел, как жала рожь молодая баба, ребенок сидел на окраине поля, играл васильками. И ребенок, и согнутая фигура крестьянки, и далекий березовый лесок – все было невнятно мглистым, образовавшимся из дымки. Пустое пространство заполнялось той же пасмурью. Вся воздушная среда была живая, теплая. Сила, перестав трясти его, растворилась и вдруг снова дала мягкий, приятный толчок и развоплотила Кудиныча с выплавкой: он стал Васяткой, подмастерьем Кудиныча. Ивняков уже привык – понял, что он разлит всюду, наподобие мысленной материи в эфире. Но ивняковские образы возникали не случайно, а совпадали с его желанием, его желание научилось материализовать себя, замирать в вещественности. Образы возникали только те, что были в душе у Ивнякова *правой* руки. А *правый* Ивняков знал много – знал и про Василия Грязнова, выбросившего три грамма золота на помойку, знал и про то, что Шитиков в одной повести обрисовал его под именем Иванушки Искоростенева, а Митрия Грязнова под видом... «Да что же я там *шитиковщины* – не начитался? Смех!» –

сказал сам себе здешний Ивняков. Смех, мягкий – как глоток легкого вина глотнул...

Но он мог и отдохнуть, то есть не быть никем из образов, просто голубым эфиром, при этом ощущение своей телесности не терялось, даже усиливалось. Если еще больше напрячься, то начнешь тонуть в себя, состав эфира становится темней. Как ныряльщик, он погружался еще глубже, и тогда всё занимал маслянистый, густой, как олифа, цвет. И в нем, со дна, возникали ряды свай, чуть мерцавших коричневатой вощиной. Он различал только ближние: крупноликий, спавший с открытыми глазами Муромец с Иванушкой-дурачком. Но всех лучше он видел того, от кого он отслоился хитростью и мудростью Владимира Дмитриевича Шитикова. Серенький, будто бы даже спецовочный костюм, настороженность и придавленность на лице размывчато проглядывали сквозь полупрозрачный состав. *Левый* Ивняков вспоминал про качающийся за облаками мост, но тут изо тьмы выступал Шитиков, делал какие-то знаки, должно быть, отвечая ими на немое его «почему?»

Почему, спрашивал он, где-то слышен иной круг образов? Они видят, любят друг друга, они, как одна семья, и водят свой живой хоровод. А все мои образы только облепляют их сферу: космический ветер, как чье-то живое дыхание, обрывает мои образы с их солнечной сферы, крутит, уносит, и где-то глубоко, в глухости, плачут чьи-то голоса, и сверху, как разноцветный глаз, заглядывает: тревожно рассекают душу раскаленные клинки лучей. Темно... Почему? Мне хочется быть не самозванным Ивняковым, а настоящим. Разве это невозможно?

И сразу же цветное марево вокруг густо осело вниз, кристаллизуясь, – и он стал будто настоящим Ивняковым с теплой, живой памятью. Воскресает, пробуждается от дурного сна и летит куда-то в бездну. И кричит...

Падал и кричал, но крик не выходил наружу. Внизу холодная синь бездны – по дну ее стынет, как волчья шерсть, пасмурь дымчатая, снег. Удар... И еще... Ему показалось, что ударили его по голове плашмя лопатой три раза, набив голову, как серебром горшок – звоном. Голова стала большой, распухшей...



## ГЛАВА 54

Попав под землю, кирпич от движения вытянулся, его вспучило и разорвало, оттуда с треском выворотился Петушок: лицо восковое, с алыми пятнами – в радостной и злой гримасе. По минутно схватывался Петушок то за локоть, то за колено зашибленное. Он сам не помнил про ушибы, это тело помнило, ходило ходуном. Волосы – чистая, красная медь – торчали вострыками. А больше радость его дергала, восторг – задание Умирзакова выполнено! Пока он так корчился – подбирал под себя все обломки кирпича, и, сплотив под собой плавучий островок, привстал на нем на одно колено. Петушок походил на клоуна, ломающегося на затемненной арене: пиджак у него смешно задрался, лицо размазались, как будто было в гриме.

Но не до смеха было Иванушке и Илье Муромцу. Когда карусель стала утягивать их в землю, они, как два плуга, вонзились в кочки, запрыгали по корням и так, и этак – и будто всю жизнь из них вытрясла эта пахота. Вся карусель распалась, как дом от землетрясения. Илье Муромцу в этой адской мельнице померещилось, что бежит по ним, мнет ногами сила невидимая, нездешняя, куда-то валом валит. Илья иногда с придыхом выдергивался из-под глыб и чувствовал, как что-то запиналось ножищами за шишак его шелома. В глазах искры, боль – точно их выдолбили. Но внутренний свет загустел, устоялся, снова впился в мозг, окропил вокруг себя все расплавленным золотом, и вдруг тело богатыря качнулось, как в легкой, не сдавливающей воде, и он стал медленно, как пушинка, опускаться куда-то вниз, в однообразно серую, пылевидную тень.

И он впал в какое-то вялое, умирающее спокойствие и равнодушие. Не мог ни говорить, ни видеть, хотя сразу же, как его перестало бить и ломать, подобие прежнего зрения, будто возвратилось к нему. Так он захотел посмотреть вверх, но не посмотрел, а лишь остался при своем хотении, но, исполняя силу этого хотения, откуда-то всплыла в его замершее зрение разноцветная, густая пленка поверхности, как те павлиньи хвосты, что образует на воде разлитая нефть. За пленкой, понял он, осталась ка-

русель, и вся его сила богатырская осталась в том месте, где его протолкнуло, как в прорубь, сквозь эту пленку. Он вспомнил, что как только карусель начала пахать землю, вздыбились с треском сосновые корни, и он, сорвавшись со своего места, врезался в старика-горшеля с глиняным, в потрескавшейся глазури ликом, в цветную, ломающую боль, и никого из актеров, расставивших им с Иванушкой сети, больше не видел. Не видел и своего товарища – Иван сгас, как в тучку канул...

Подумав так, он почувствовал, как в правой руке его оживают остатки прежней силы, и узнал, что рука все сжимает рукоять меча. Порадовался, и снова захотелось увидеть что-нибудь в серой, пыльной тени, куда он вяло опускался, как потерянное птицей перо. И опять навстречу его хотению выплыл из глуби гребень кирпичной, обрушенной кладки: наплечник беззвучно уперся в нее, она качнулась, как бакен, и верещащий голосок громко раздался в бездонной пустоте:

– Не шали, мужик, простачина!.. Эх-хе-хе-хе-хе! – затрепыхались смешочки над ним, и в теле богатыря проснулась вся недавняя боль. Будто снова кувырдала его карусель, только уже мысленная, так больно отдавался этот режущий голосишка в Илье Муромце. Ни рукой, ни ногой он двинуть не мог, только тонул, тонул теперь вместе с кирпичной глыбой, точно выломанной из церковной стены. И говорить не мог: внутри, в самом темном уголке мозгов, как мышки, шурудились мысли: «Ванюха, я пропал! Пропал я... Сдавила, обжала пустота»...

– Прохиндеи, вы думали, что уйдете? – верещал Петушок, примостившись на корточках на гребешке кирпичном. Потом сел поудобнее и ногу на ногу положил. Покричал, задернул свою телесного цвета порчину, там красная, будто медная нога в рыжем волосе. Потрогал пальцем ушиб, поморщился и опять кричит:

– Меня чуть с места из-за вас не сняли... Нет, нас не свалить... Народ переполошили! Да как это и высказать всё? Если бы не вы, я бы уже, может, на месте Умирзакова сидел!

Петушок волновался, высказывался трудно, речь у него обрывчатая, водоворотная:

– Эй, Ванька, слышишь! Ванька, царь лубяной! Ты зачем возвысил Пассажинова да еще бездарь эту, Шитикова? Ванька,

из-за тебя меня понизили... Если бы вы не убежали, негодяи, не надо бы было и мастерскую по испытанию слов вводить в строй! Словоматериал на вас истратили! И не поднялся бы Пассажиров, мелкая сошка, выше меня... – И радовался, что поймал, и жаловался им же, пойманым, на судьбу, и грозился:

– Мне ведь еще вас сопровождать надо! Если вы откажетесь то я, конечно, не очень виноват... Ванька, ты отказывайся! Пусть помучатся... А ты, Илья Муромец, – тут он встал на четвереньки и наклонился, как над водой – там, внизу, серый мерцал шлем Ильи: – Ты, Илья, – человек!.. Я разрешу тебе схватиться за кирпичи, и мы сразу, выбравшись в черный проход, выйдем на товарища Умирзакова... Ну, ладно, прощаю... Берись! – раздраженно махнул рукой вниз Петушок.

И Муромец почувствовал, как левая рука стала живой, повел ей, но за кирпич не взялся.

– Ты ведь главный враг, я тебя доставлю. А Ваньку пусть Пассажиров доставляет. Вот уж поводит он его. А почету никакого – только, в случае чего, понижение от Умирзакова. А мне за то, что я зачинщика доставил – повышение, Илья!

Илья Муромец услышал про Ванюху и увидел в вялых, серых мыслях – то сгушалось, то истаивало это видение немощно – увидел, что Иванушка-дурачок скрестил руки на груди и ножки под себя подкорчил и – тонет-тонет тоже, как перышко серое, уточкой потерянное...

«Значит, Ванюха где-то рядом», – подумал Илья, хотя полностью не верил в свое видение мысленное, думал, что это мечтается ему. Схватываться живой рукой за нависшую над ним изломами мерцающую глыбу он не хотел. Не потому, что боялся полона и какого-то Умирзакова, а потому, что считал зазорным для себя, богатыря, подчиниться плюгавому человечку в чудном, как нижнее белье, костюме, с хилыми руками, с медно красным – как горох молотили – лицом, и с умом не большим, чем того было в обожженной глине, верхом на которой он ехал.

Петушок устал кричать, пересел по-иному: колени неудобно выставились вперед, в спину давило острым выступом, он отслоился от этого выступа и уперся подбородком в колени. Потом

снова одна рука охватывала колени, другая жестикулировала. И опять, уже спокойнее заговорил, то грозя, то жалуясь.

Петушку, выполнившему самую черновую работу по организации карусели и поимке беглецов, как значилось в папках Умирзакова, не велено было вступать с Ильей Муромцем и Иваном-дураком в разговоры, а просто ждать, дрейфуя вниз с полоненными. Но Петушок решил выставиться, показать свои способности, поизгаляться. Мерцал, будто топили светом его чудный плот-отломки кирпичной, похоже, на извести, кладки. Да только кирпичи ли это? Это – словоматериал отработанный: слиплись, скупелись, оплывшие глыбочки друг в друга, – и чем ниже погружался Петушок вниз, тем заметнее разливалось тревожное, мутно-оранжевое сияние вещества вокруг его неудобного приюта.

Скучно, ненавистно внутри у Петушка. «Неужели, – думает Петушок, – мерзавцу Шитикову и полумерзавцу Ивнякову почета больше, чем мне, профессионалу?.. Они, как люди, на легкой машине, а я?» И вспомнил, как давным-давно доносил ему Давлиненко: «Про вас, Семен Семенович, говорит Ленька Пассажиров, что у вас морда кирпича просит». Надо было тогда меры принять... Не дать им там с образами развернуться... Облучатели хреновы... Скучно, ненавистно, пустота вокруг. И внутри пустота. Может, он тут целую вечность тони – они там пальцем не пошевелят... Да и не выбирался он почти никогда за границы черного прохода – не его это тема...

## ГЛАВА 55

– Стоп, стоп, стоп! – закричал кривляющийся весело голошишко.

Муромцу показалось, что это Петушок кричит измененным голосом. Но Петушок не кричал, он пал на колени и увидел внизу Давлиненко. Темно-коричневый, как негр, мерцающий – махал лапами, будто указывал невидимому крановщику, как поточнее скипок кирпичный опустить, вился вьюном и нарочно выкрикивал не «стоп!», а «топ!», чтобы бодрее внизу, на темных развалинах ему было.

– А они... они-то? – спросил, так же радостно задержавшись Петушок, почти свесившись весь вниз.

– Топ... топ! Приехали! Не уйдут, – сказал Давлиненко важно.

И Петушок немного успокоился, задом, по-крабьи, сполз со своего островка в развалины: будто необъятную кирпичную стену разможили и, как подернувшиеся пеплом уголья – кирпичный бой дотлевал, вспыхивал мерцаниями из-под праха, и томилась стена тем же свечением, что и отломок, на котором опустился сюда Петушок. Как осьминог, облапил Давлиненко рдеющие кирпичи: чего сидишь? – крикнул Петушку. И нажали уже оба – лег отломок в выбоину, да так плотно вмуровался, будто тут и был.

Илья Муромец и Иванушка-дурачок, как хлопья пепла, медленно проплыли мимо них. Петушок беспокойно свесился с развалин, внизу, покуда глаз хватало, уходила во тьму старая, в выбоинах, в сумраках и тенях, со следами штукатурки, кирпичная кладка.

– Словоматериал оставить здесь... И за мной по черному проходу! – весело, секуче командовал за спиной Давлиненко. И вдруг подвинулся к свесившемуся во тьму Петушку:

– Сейчас столкну вот тебя, так покукуешь там!

Петушок отдвинулся от обрыва:

– Топ-топ-топ! – успокоил его Давлиненко, опоражнивая от визгливого, собачьего смеха свою дергающуюся утробу: – Со своим заданием ты, товарищ Петушок, справился на совесть. Сопровождение беглецов в сень смертную провел организованно... Откуковали!..

Петушку стало нехорошо, он думал, что главная заслуга в поимке беглецов принадлежит ему, а теперь, оказывается, – он был всего лишь подсадной уткой, или слепой машиной, утянувшей их с твердой земли... Опять столько натерпеться, чтобы кто-то, не запачкавшись, голыми руками взял захваченных им беглецов... Он пошатнулся. Резко взмахнул рукой, изображая, что он оступился на обломках, с пристаныванием показывая, как болят у него ушибы, присел перед кирпичной глыбой и буркнул:

– А словоматериал кто потащит? – и, не желая слушать, что ответит торжествующий Давлиненко, стал распоряжаться с не утихшей досадой:

– Я беру барона Брамбеуса, Бесталанного Ворбаба, Гомозейку, Булкина... – имея в виду их перегоревшие останки, выработанную породу, шлак.

Разошелся Петушок, схватил кирпич – секанул им по гребню стены, чтобы скипок словоматериала отсечь – сыпанули стеклянные, светящиеся брызги. Кирпич, которым бил, треснув, прищемил больно ладонь...

– Да что же ты стоишь? – задохнулся от обиды Петушок.

– Даю тебе на раскрутку три минуты, – оскалился в ответ Давлиненко. – Если не утихнешь – одного оставлю. Наплутаешься у меня по черному проходу, а он ведь не везде нами завоеван, а только там, где я дороги познания проторил. А то есть в нем таинственные, необъяснимые пока наукой такие светящиеся, как бы воздушные ямы... Сгоришь заживо... – Давлиненко говорил, как учитель, хотя в его учительстве не было ни одного слова, которого бы не знал Семен Семенович Петушок.

– Какое ты имеешь право так относиться к общему добру? Мы тебя! – поднял, не зная зачем, руки вверх Петушок. Может, он показывал, что таким, как Давлиненко, одна дорога – за Ильей и Иванушкой-дурачком вослед.

– Словоматериал велено демонтировать, в заброс пустить, – напряженно, нервничая, что вот-вот сорвется со своего начальственного тона, выкрикнул Давлиненко. – Он нам, – добавил особым голосом, – не нужен...

И Петушок, спотыкаясь в кирпичных завалах, злобно останавливаясь и делая вид, что он обивает кирпичную пудру с брючин, побрел за молодежато идущим, будто танцующим Давлиненко. Обидчив был по природе Петушок, брюзглив, разжигал себя, что пока по черному проходу идут, он ни слова Давлиненко не скажет. А Давлиненко был по природе весел, простоват, он думал: «Разъяснить что ли Петушку то, что мне Пассажилов разъяснил?»

– Образы человеческие мы теперь и без словоматериала облучать можем, у нас есть свой свет... – начал он.

Петушку, как кол в грудь это «мы» начальственное! А до смысла сказанного он не хотел добираться, зачем ему думать, раз он – машина?

Шли и день, и другой – молча. На третий день Давлиненко сказал:

– Докумекался поди... отчего ученые люди такими рожистыми стали? Не от словоматериала. А от нашего источника света...

Петушок еще день промолчал, но когда Давлиненко, ныряя во тьме и почти угасая, далеко утанцевал вперед, окликнул его:

– Значит, все это было придумано и никому не нужно: ни словесные испытатели, ни словоматериал?..

– Нам – не нужно! – живо обернулся к нему, поджидая, Давлиненко. – Им, – поднял он лапу вверх, – нужно... Пусть тешатся там. Нам от их потехи только польза... Ведь за нейтрализацию беглецов – нам повышение.

– Да, ведь все-таки обезвредили! – поддакнул, борясь с залегшей обидой Петушок.

– Мастак... мастак этот Пассажиров, – выговорил, то ли удивляясь, то ли осуждая, Давлиненко. – Очистил царство от уч-ч-еных людей! – захихикал он.

Змеился душно, лип к шерстнатой морде табачный дым. И человеческие, странные на звериной морде глазки глядели пристально, понимающе и подбадривали.

## ГЛАВА 56

Илье Муромцу чувствовалось, что какая-то сила держит его мягко и погружает все глубже вниз, в тени и тьму, и левая рука у него ожила, но двигать ей не хотел, отдавшись весь влекущей его мягкой силе. И чем мягче и живее она становилась, тем больше хотел Илья весь слиться с этой силой, но и свое недвижимое, не вытеснилось – осталось, как воспоминание о том, что у него есть тело. Похожие состояния бывают в сновидениях.

Когда он различил смутно кирпичную стену и понял, что опускается, лежа на спине, тут же движение отпустило его; он действительно лежал на твердом поде, но продолжал чувствовать, как над ним стоит мягкая сила. И вдруг сила наполнилась, задышала жизнью – это повеяло человеком в душу, и он почув-

ствовал, что здесь, в темноте, у кирпичной стены много людей в полону сидит.

И тут душу Ильи Муромца наполнили плач и страдание, и сила ходила, веяла по этому плачу и страданию, и стало все прежнее замирать в Илье Муромце, он через те невыразимые плач и страдание легко отложился от прошлой жизни: она показала ему ничем по сравнению с тем, что он почувствовал здесь во тьме и глуботе.

И он захотел остаться здесь навсегда, чтобы говорить с плачущими и страдающими, и через их плач и страдание зацвело в нем такое чувство, которое он не мог удержать долго и говорить о нем не мог. Все события его вечной жизни и все события, о которых он слышал – стали мелкими и суетливыми перед тем, что познал он здесь, во тьме и тесноте, где и видеть-то было нельзя и делать ничего нельзя. Он этим чувством познал, что здесь, где кончается вселенная, сидят отец и сыновья, некая семья, и держат на себе весь мир, всех людей. Илья сел рядом с ними на сухую, как порох, и теплую землю. «Расскажи об этом всем!» – сказала в нем сила этого плача во тьме. «Как мне рассказать? Я не смогу... я только плачу». «Рассказывай об ином времени, об иной стране, и – ты расскажешь!» – подбодрил внутренний, духовный, но как будто звучавший и извне голос. И та же сила подхватила Илью Муромца и поставила повыше, на уступ стены. И Илья Муромец проверил, помнит ли он то, что почувствовал внизу: и все то – жило в нем. Тогда сила подняла его выше и снова дала ему помыслить: помнит ли он? И Илья Муромец с томлением ощутил, что того очищающего плача и страдания уже убыло в нем. И спросил сам себя: «Про какое иное время и иную страну я расскажу?» И тут, точно схлынула с души теплая живая риза – увидел он, что стоит в наружной, неведомой стране.

«Может, эта неведомая страна – призрак?» – сразу же подумал он. Но остатками той силы, которая поставила его на твердую землю, уяснил, что это не призрак, а как раз и есть та иная страна и иное время. И помялся Илья Муромец на месте, стомчивость с себя отрясая, и когда взгляделся в иную страну, стало ему так больно и тоскливо, что хотел он вниз, в пропасть темную, куда

его сила опускала, броситься, но пропасти никакой уже не было, под ногами – одна сухая пыль со щебнем, ни воды, ни дерева.

Вложил Илья Муромец меч в ножны и пошел в туманно-пасмурное пространство, под ногами вроде как пригорок был, ржавчиной усыпанный. А впереди во мгlistом тумане, в ночном свете – другой пригорок, и на нем бетонное огромное здание, из труб валила мгла, застилая крышу, и то, что дальше серело за зданием из-за этой мглы нельзя было рассмотреть. А, может, там ничего и не было кроме серого праха.

Было у Ильи в душе горячо и свободно от плача во тьме, а теперь стало обычно. Стал он мысли и тело свое по-прежнему чувствовать. От этого – тоскливо; и желания настоящего жить и бороться не приходило. И еще понял он – тоска от звона. Чуть попустился с пригорка, увидел, что звон идет от наковальни: стоит наковальня на скате в облаке пара, и два молота по ней лупят. Резкие, страшные, пронизывающие душу удары, будто стонет железо, так больно ему.

Шуршит серый прах под сапогами. Прошел он мимо молотов и наковальни поскорее, мысль вялая в душе отпечаталась извне, из серого праха: «Это – *время*, оно перековывает людей». – Сказалось так, и после этого Илья понял, что это не сам он подумал, а изнутри тихое дыхание той силы плача в нем подсказало – добавочно ко внешнему впечатлению: ворохнуло мысли, как слабый ветер листья. Тогда Илья повторил вслух:

– Да, это – *время* – молоты без рук! – и удивился, что он может снова говорить словами. А зачем ему эти слова, раз не могут они об отце и сыновьях и их плаче во тьме толком рассказать?.. Там немеет, иссякает всякое земное человеческое слово.

## ГЛАВА 57

Он остановился на взгорье, не поднявшись метров сто до бетонного здания. Стал смотреть, как к его воротам толпа неразличимо серых людей валит. Одежды невнятные, как у теней, а лица лучше видны. Но если бы ему сказали, что среди них Кашкаданов

в своей рыжей, местами, как истлевшей, в дырах пустоты, ту-журке, он бы не поверил – такими неузнаваемыми были лица.

Ворота взвизгнули, распахнулись: бам-бам-бам! – висели, истончаясь и вновь вспыхивая удары молота. И с другого торца здания ворота распахнулись, вместе с клубами мглы повалили из них только что вошедшие люди, и увидел Илья Муромец, что вошли они туда с носами, а вышли все без носов – гладышами. Вяло торопятся вниз, на него: по серому, каменистому месту – старые, скоробленные, будто из мятой бумаги лица, подкрашенные жиденькой охрой. (Илья не знал слово «папье-маше»). Черной тушью морщины просечены, и глаза – убитые. Обегают Муромца, будто не видя, и только один гладыш, что ни место на рубищной одежде, то клочок – скочил из мгlistой толпы, обхватил Илью Муромца и стал его целовать сухими, шершавыми губами.

– Илья Муромец!

– Ванюха!.. А нос-то?

– Мне не жениться!..

– Ваня, Ваня... Что хоть тут за люди, эй! – крикнул Муромец полулюдям, невидяще движущимся во мглу с поката горы.

– У этих людей еще челюсти не очистились... Впрочем, они такие же, как и мы! – говорил Иванушка-дурачок весело, а голос у него, безносого, как из бочки, гундосый.

В обхватку спустились пониже, присели у кучи испорченного, комковатого цемента. Да только и присели затем, чтобы Иванушка-дурачок, крепко хлопнув по колену – пыль так и пыхнула – выкрикнул:

– Уже бегут новые... Сейчас их раскуделят!.. Ну!

– Не нукай!

– Беги, Илья, так надо!

– Я не хочу...

– А ты через не хочу – беги...

Покоробленные, ссохшиеся лица мертво бежали навстречу, опять – доходяги серые, не понятно, во что одетые.

– Беги! – еще раз выкрикнул Иван азартно, а сам сел на кучу испорченного цемента.

Илья Муромец, выпучил глаза, поправил шелом, и дернулся, как заводной, вверх по горе, в ворота бетонного здания. Побежал и почувствовал, как не утихающий звон мучает душу, и увидел, что все эти иссохшие лица тоже мучаются. Остекленило, омертвило глаза мучение. Они мучаются и силятся... И так же мучится и силится всё вокруг: томится, как при смерти, щебень под ногами, мгла силится свиться во что-то вмятое, само здание силится выступить четче из клубов серого мрака. Он чувствовал, что мука эта застыла, оледенела, и она понятнее, чем плач и страдание там, у кирпичной стены, но... Скорее, скорее!..

Редкая толпа, с которой скрылся в воротах Илья Муромец, из других ворот на выход повалила – все черные, как эфиопы, а носы, ха! – на месте.

Один эфиоп в знакомом шеломе отделился на сторону, срезал угол и бежит к цементной грудке.

– Как ты стал таким, не знаешь? – спрашивает, выскочив на встречу, Иванушка.

– Я разве тоже черный? – не поверил Илья.

– Черный, зато с носом...

– Ну, ладно, Ваня, давай посидим... – говорит Илья.

– Посидим. Посмотрим, что дальше будет, – согласился Иванушка и объяснил Илье, почему «так надо», иначе дашь кругалю во мгле да в слабомыслии своем и снова выйдешь к этому заводу; оказывается, Иван уже раз десять его пытался обойти.

Карусель продолжалась и здесь.

Илья ничего не сказал, только посмотрел на лоснящееся потное место, на то, где прежде у Ивана нос был, да:

– Тут и оглохнуть можно от звона! – чтобы приободрить и себя и товарища – крикнул.

– А смотри, как корежится-то все, – сказал Иван спокойно.

Бетонного здания стало почти не видно. Оно будто размыто в серой мгле, в полутемном, затопляющем гору свете. Пригарью отдавало в воздухе застоялой.

– Да, – сказал Илья Муромец, – кажется, что здесь холодно, а, на самом деле, тепло! – и похлопал ладонью по цементной куче, она была теплой, и пожалел, что оставил у Григория Паялы в избе ватные штаны – они пыль не пропускают.

Иванушка-дурачок заправил одну руку в клокастые волосы и долго скреб, ничего не выскреб; ему мнилось, что бетонное здание сначала появляется в нем самом, в мыслях, потом пропечатывается сквозь мглистый туман на горе.

– Эх, брат, прокатили нас хорошо, – только и сказал Иван.

– Может, Илья Муромец, этот Ивняков – полубес? – снова сказал Иван через некоторое время.

– Будем жить – узнаем, – уклончиво ответил Муромец. – Давай хоть уйдем туда, за горушку.

Да и Ивану надоело смотреть, как полувидимые, полуживые, то появляются, то исчезают перед воротами бетонного здания – люди не люди... а вроде отслойки людей. Отошли от горушки в низинку, тут, в разлоге, и звон полегче, чуть слышен; за спинами легла мгла, и перед очами – мгла. Ристалище «так надо» осталось позади, путанка вроде прекратилась, больше к бетонному зданию они не вышли, о чем Иванушка повторил, успокаиваясь: «Я, конечно, не предвидец, Илья, но посмотрим, что дальше будет».

## ГЛАВА 58

Навстречу повстречался человек – печальное, в усохшей коже лицо, простеганное морщинами, хотя не было человеку и тридцати лет. По клетчатой рубашке и по походке, да по голосу увидели разом Илья Муромец и Иванушка-дурачок, что это – Блуканов, но сделали вид, что не узнали своего прежнего пленника.

И в других местах зыбко виделись сквозь мглу такие же: и куда-то шли бесшумно, не останавливаясь.

– Ваня, – сказал Илья Муромец, – ведь это мертвые люди... Значит, и мы умерли?

– Нет, Илья Муромец, – говорит уверенно, тоном знатока Иванушка. – Это у нас только мысли такие, что мы мертвые... Мертвые люди, как полежат в земле, у них и лицо, и одежда вся, как в пуху, в плесени такой... А ты, наоборот, черный.

– Брось, поганец, – не вытерпел Илья Муромец. – Ты же первый мне сказал, что у этих людей еще челюсти не очистились?

– А что, и сказать нельзя? – обиделся Ванюха.

Обоим было муторно, и толком, куда идти, не знали. Вроде, как на куст какой-то засохший наткнулись. И решили пока не идти никуда: опять посидеть. Иван вытянул ноги, Илья поглядел на его керзачи чересчур малого размера с отогнутыми низко голенищами – он глазом уловил их давно, а тут только отметил: наверно уже здесь подобрал или слупил с кого – прежде никогда таких бросовых у Вани не бывало. Илья Муромец, задумавшись про керзачи, только и сказал: «туга черная!» И больше уже молчал, слушая своего товарища, а, может, и, не слушая, а так.

А Иван, чтобы не сидеть так, принялся растолковывать Илье, кто такие – *образные люди, эти самые отслойки*, и про их сгон и пробег через бетонное здание:

– А какой страх, недоумение у них, с которыми я бежал-то!.. Ведь, ворье, всего-то человека переработать не могут, только часть выжрут, душееды.

– А кто ворье-то, где оно? – удивился Илья Муромец.

– Так артисты эти, карусельщики, отдыхающие! – Тоже удивился на его простоту Иванушка. – Они – там! – Ткнул он рукой вверх. – Это же так и называется у них – *душеедство!*.. Такой уж у них покон!.. Только *черные мяса перерабатывают*, гады!.. *Туга черная*, как ты правильно говоришь, Илья Муромец...

Илья сначала не понял, даже стал руками себя ощупывать: «заворотили что ли нас из наружной жизни во внутреннюю?» Иванушка объяснил, что *черные мяса* – это у гончих собак ляжки, как прозывают их псовые охотники, а тут так, чтобы было все втихаря и в насмешку, обозначают мягкие места у *образных людей*. Ведь вся переработка эта в бетонном здании – лишь *образная*: перерабатывают образы телес человеческих, а не сами телеса. Ну, а с нас – много не возьмешь: как у латыша – хрен да душа! или, как у турка – хрен да трубка! Тебе и смерть в бою – не писана, а я – с тобой!.. Да тут, на образной линии – и крыс нет. Лучше. А то на мясокомбинате – уйдут рабочие на обед, а крысы облепят на рельсах тележку с требухой: так тележка – шевелится! Вай-вай-вай! И даже в конторе – счетная работница придет с обеда, возьмет со стула свою шапку меховую, а в ней – крыса!

Как заверещит!.. И травить нельзя – пищевая промышленность! Только убивать вручную. Вот в в Груздеве раньше колбасная была, так...

– А я и не заметил ничего, – равнодушно вставил Илья Муромец. Ему не нравился этот разговор. – Только у выхода беловатые кирпичики такие...

– Так это и есть якобы товарный их продукт... Человеческое, оно же белое, как примерно у курицы. Ты что ли не знаешь, чудак-человек? – утихал и Ванюха под дальний, тусклый звон железа – как будто землю сверлят на буровой вышке.

– Ну, ты и, действительно, предвидец, Ваня, – похвалил его удивленно Илья, хотя он про себя – Ивану в таком темном деле не очень-то поверил.

А Иванушке эта похвала так понравилось, что он и не стал уже вслух гадать: предсказание ли это земного будущего, когда в новую революцию тела денежных и вообще ненужных людей начнут перерабатывать – и пойдет в России, а, может, и в Лондоне – человеческая плоть в еству вместо хлеба, чтобы возратить, что спекулянты-ростовщики высосали из народа; или это – не предсказание, потому что предсказания делают лишь святые люди, да и то с помощью видений, а видения не простые – с таинственными образами орлов с человеческими головами или крылатых быков, а тут, похоже, одна морока: сила нездешняя портачит: показывает, как она души, попавшие ей в лапы, поедом ест... Иванушка-дурачок так увлекся своими размышлениями, что и не удержался, вспомнил вслух:

– Еще мой любимый поэт, наш Алексей Кольцов сказал когда-то, помнишь:

Наедемся там досыта  
Человечины сырой,  
Перепьемся мы допьяна  
Крови женской и мужской!

– Сроду человечины не едал! – отрубил Илья Муромец недовольно.

– Так и Кольцов не едал – это у него Иван Грозный так ревет на всю свободу! Помнишь? – Тут у Иванушки встал перед глазами поблекший, выеденный образ Блуканова. И он признался:

– А я, если прижмет перед концом света, так не откажусь... На орле-то помнишь, как вылетели?.. Тоже прижало – дак... – Не договорил жалостливо Иванушка. Он лег на бок, руки на груди скрестил и закрыл глаза. Его лицо без носа и глаз стало голым, пустым, как доска. Но про себя он продолжал толковать, о чем не дал договорить ему Муромец, как у нас на прииске, в бараке, в пятьдесят седьмом году то и дело слышишь: я бы этого Сталина живьем резал и ел; я бы этого гада, Ягоду, без соли съел; я бы этого Берию, скотиняку, с г.... схавал!..

И у Ильи Муромца, принявшего вид эфиопа, закрылись глаза, чтобы не видеть такой мороки: полетело, закувыркалось все в душе. Орел, на орле – Блуканов и Иван-дурак; он, Муромец, подталкивает орла, как лодку, и вскакивает на спину последним. Сначала летят вниз, потом вверх... Потом снова... И Илья Муромец, открыв глаза, бормочет уже что-то не свое. Вслушивается, вглядывается, седая мгла, сонная пустота, а бормотание – отчетливое... «Неужели я так складно бормочу?» – думает Илья Муромец, сгоняя с себя стомчивость.

– Не подскажите ли вы, как отсюда выйти? – раздается приглушенно смирный голос Иванушки.

– Ах, что?! – вскакивает Илья с сухой, будто выгоревшей земли.

– Тише, не видишь? – боязливо шепчет ему Иванушка.

Илья Муромец, очувствовался, глядит – и поверить своим глазам не может.

## ГЛАВА 59

Когда-то давным-давно на Колыме Иванушка-дурачок дивился, как зацветает серая россыпь, голая чистина галечника цветами. Стебельки тоненькие, как замшевые ниточки, а цветок воздушно-яркий и пышный.

Желтый, нежный и легкий, будто это сам солнечный свет сгустился и принял прелестный образ цветка, чтоб порадовать людей в преходящем мире...

Так и тут: как желтый нежный, только в рост человека цветок из света, пронизанный легким розовым накрапом: будто бы сияющий ход в иной мир, а в нём стоит прямо на воздухе – схимник.

Вокруг схимника свой золотисто-розовый воздух – как пещерка в черном, сером и мгlistом.

И лицо полускрытое черным куколем, ласковое, постоянное, веки опущены, и что-то цветочное было и в лице, и в черном одеянии схимника; пока они глядели, лицо все время не изменялось; ему-то и выговорил Иванушка: «Не подскажите ли, как нам выйти отсюда?»

И вдруг схимник пропал, точно погас, но они долго еще стояли так, будто видели его, и не хотелось им уходить с этого места. Перед ними была, как осыпь сопки, а в ней через несколько шагов по зыбкому грунту – точно оставшаяся после схимника световая пещерка. Они молча постояли у пещерки, догадываясь, что схимник здесь и, может, не один. Первым Илья, а потом Иван несмело ступил к пещерке...

– Я Федор Студит, – раздался ровный, спокойный глас, исходивший откуда-то сверху, а не из пещерки. Но они еще сделали несколько шагов. Илья, утопая по колено в песке, ухватился за край лаза и разглядел – во тьме стоит кто-то в черном одеянии, лица не видно, только длинная ровная брада по черной ризе.

– Мы мертвые? Ведь на Федора Застольника, как еще тятя говорил, покойники по земле тоскуют... – спросил Иван шепотом из-за спины Ильи, пытаясь лучше разглядеть черноризца. Одной рукой он вцепился в пояс богатыря, чтобы удержаться в топком песке.

– Вы там, где уже кончается всякая жизнь, всякий земной образ, – ответил ровный голос. – Святые, принявшие подвиг нетления, еще держатся тут, помогая тем, которых готова растлить смерть... Да, сегодня день памяти Федора Студийского, пострадавшего от иконоборцев за Христов образ в человеке. Он выведет вас отсюда, но вы почти как мертвые. Вы можете вернуть себе



прежние образы и попасть в иную страну, или в ту, где были, потому что близится время, когда будут спасены человеческие образы. И вы должны послужить этому спасению. Се – Дева перед вами, проведите ее чрез тьму пещеры к Михаилу-архистратигу, а дальше вас выведет, куда можно, песня...

И стало тихо и тепло, как в уютной горнице у истопленной печки. Молча, опасливо они вошли в пещерку, но там никого не было. Все выше свод; выпрямились в полный рост и пошли. Так шли и шли, замечтавшись каждый о своей жизни и увечье. А если собрать бы мысли обоих во единый пучок, то стало бы явлено, что затепливается во внутренности их душ дивление: как же это покрытые тьмою внешние предметы вокруг – образами нашими мысленными изнутри озаряются: их живым тихим светом?..

## ГЛАВА 60

– И что же ты думал, что Бога нет? – спросил Блуканов у одного эфиопа черного, но с русским лицом.

– Бога нет, а тот свет есть. Когда я вешался, то меня изъели пустота и тоска. И я думал: там увижу, что мучит меня и иссасывает...

– Значит, жизнь свою обрывал и не верил, что она оборвется?

– Нет, не верил...

– Еще большей муки, и, выходит, большей жизни хотел, – сказал равнодушно Блуканов, вслушиваясь в слабый звон молотов по наковальне. И побрел прочь от эфиопа с русским лицом.

Нога попала в глубокий след в песке. Блуканов сел на краю лаза в пещерку, стал глядеть, как появляются и исчезают вялые тени, словно на поле сражения, заволоченного пушечным дымом. Его теперь никогда не удивляла чудесная непонятность устройства вселенной, и то, что живет после смерти человеческая душа, разделившись на отсколки, в разных пределах – будто между ней пробрызнули расплавленным золотом все перегородки вселенной. Не удивлялся он, что Котов запекся в остекленевший свет в серебряном царстве, а здесь тоже скитается безликой тенью; не удивлялся, что узнал под личиной брадатого эфиопа Илью

Муромца и товарища его безносого – Ивана-дурака; не упрекнул их даже в том, что это из-за них он так рано ушел из цветущей жизни. Томился он лишь по одной душе живой, по Лидии, и ждал её... Недавно, в родительскую субботу он услышал далекий плач из глубины и увидел Лидию, изваявшуюся будто из света, здесь претворившегося как бы в сухую зеленоватую воду и усочившуюся в ноздреватую тьму, в тот плач после короткой встречи...

А в Москве, только что пришедший со своей сторожинной работы из издательства «Наука» Горынычев, в кооперативном доме на одиннадцатом этаже, где он снимал квартиру, нарезал на столе батон, поставил чашку с овощным супом и, встав перед новой металлической иконкой Богородицы, ясным голосом произнес: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!»

Горынычев крестился в тридцать три года, уже после исчезновения Блуканова.

А в городе Кенигсберге, на родине Иммануила Канта, в большом шумном магазине, в стеклянной будке Владимир Кашинин – стекло в глазу – открыл ножом наручные часы и начал чинить их, и считал, что это уже шестые часы срочного ремонта за нынешнее утро. А то, что Кашинин и Горынычев не могли предполагать, то, что осталось от Блуканова, томилось по Лидии, ждало следующей родительской субботы, и здесь, где кончалась всякая жизнь, теплилось лишь его томление, и здесь – Блуканов укладывал это томление в филологию, бормоча про себя стихи про такую же ничтожную тень, как и он сам:

...Сарай дощатый. На полу кто вынут из петли? Услышав страшную молву, все бросили, пришли. Зовут жену, торчат в дверях. И вновь на лицах всех проснулся любопытный страх, залег старинный грех... Уже милиция пылит сюда, на шум молвы... Да, может быть, он кем убит?.. Нет, он, как я и вы...

## ГЛАВА 61

А Илья Муромец и Иванушка-дурачок шли по пещере. Ничего им не попадалось. Илья Муромец никак не мог отвлечь свою мысль от земных дел и предметов, и представить, что это за иная

страна и каким образом она связана с тем плачем и страданием, которые растопили его душу и тело, как яркий воск, во тьме у кирпичной стены? Тогда он перенес мысль на последнее светлое событие в своей страннической жизни, на тот день, когда достал он из подызбища свой боевой снаряд и хотел пройти по улицам с боем и увечьем и весь тот городишка поганый на ногах унести. А кто виной тому, что правый приговор не приведен в исполнение? Тут и гадать не надо – не ходи к ворожее – вот эта чушка безноса, – горевал Илья Муромец. – Чушка безноса, дубина стоевая...

– Эх, рад бы я сослужить тебе службу, да крылья у сокола связаны! – выговорил он вслух, отвечая своим мыслям.

– Что, все планируешь, Илья Муромец? – весело окликнул его Иванушка. – Не планируй... Нам бы только сильной воды сейчас... Помнишь, как леший-то?

Илья Муромец ничего не ответил, лишь потупился душой в землю и еще больше пригорюнился...

Своды пещеры скрылись во тьме – как ни пытался Иван дотянуться до них, как ни подпрыгивал – пусто. И по сторонам все ходы, свет слабый, но все яснее; и у одного отворота что-то забелело – ребенок! Девочка в белом платьице, вроде русая, не разобрать хорошо, а глаза большие, молчат...

– Девочка, ты откуда? Кто ты? – спрашивают Иванушка-дурачок и Илья Муромец. Гладкая, безноса улыбка; и черная, эфиопская – на лице Ильи Муромца.

– Не бойся, мы не такие, – говорит Иванушка-дурачок и: – Ты не Русь ли, царица?..

А она прижалась к камням стены и молчит, как немая.

– Неужели про эту жену нам говорил Федор Студит? – осклабил Илья Муромец.

– Федор Студит – землю студит! – не слушая его, говорит, чтобы девочку подвеселить, Иванушка-дурачок.

Девочка боязливо, не веря, сдвинулась с места, Иванушка взял ее за руку. А она боится идти. И молчит, как немая.

– Наверно, не та, – говорит Илья Муромец, – но мы и эту не бросим. Это, наверно, ее дочка. Как ты думаешь, Ваня, а?

– Ничего, идем, идем, – говорит, не слушая его, Ваня. И у обоих точно проснулись души, и сильно у каждого на душе стало. И тут пещера завернула в высокий, нервным, живым огнем мерцающий коридор, и кто-то проскочил перед ними во тьме. Там, дальше, костер горел, и ело глаза от дыма...

– Так... так... После Федора Студита будет холодно и сердито, – сказал Илья Муромец.

Сбоку, из-под свеса пещеры, где горел костер, вываливают трое, четверо... Нет, шестеро. Впереди широколицый детина в телогрейке, с ломиком в руках, надбровные дуги лохматятся с насунутого на глаза лба. Сбоку жметя, руки в карманах, кто-то плюгавый в кепочке, а за ним от костра встали такие рожи, каких Илья Муромец еще не видывал. А Иванушка, верно, видывал, но и у него, будто льдиной по груди проехало, и он из-под этой льдины дернулся, ноги расшашенил, руки клешнями вперед выставил и, исказив лицо, просипел:

– Ну, суки?!

И они встали и улыбались – как волки скалились. Илья вынул меч и спокойно мотнул им, показывая: назад! И они пятком-пятком отступили, а оскалы волчьи на лицах остались, казалось, вот-вот этот, в телогрейке, нагорбившийся, ломик, как палочку безобидную для гулянья в землю уперший... вот-вот...

– Да чиркани их, Илья! – вырвалось у Иванушки. Он прижал к себе девочку и заслонил ее, сторожа удар.

– Меч заржавел, – просто сказал Илья. И отливы костра багровые тронули его черное лицо... И погасли. А дальше – другой костер... Илья пошел на него, как слепой, и скалящиеся тени ужались в ключья прыгающего мрака...

А с Ивановой стороны – вот диво – вышел рыжий, лысый человечико в больничной нательной рубахе и в таких же рваных, белых кальсонах... Неужели это Ленин?.. Вот до чего доплыл! И этот маленький, с грязным лицом человечико скалился на идущих благожелательно и, заводя руку в обитом, с мохлюшками рукаве за ногу, прятал толстый из газеты чинарик, чадивший махоркой. И его обманчиво благожелательный оскал сдерживал лютость, одетую в драные шапки-ушанки и лагерную рвань на другой стороне – против Ильи Муромца.

– Что, крылышки-то пришлось поджать? – грянул на них Иванушка. – Гад, да я тебе глаз высосу! – и он, страшно заверещав, вперстил в лицо ближнему, похоже, чахоточному уголовнику, в жидкие, длинными косицами слипшиеся волосы, повторяя самые сильные слова, какие знал.

Илья Муромец прошел мимо, как слепой, ведя за руку девочку и, будто не слыша ни ругани, ни чмоканья вурдалачьего и скрежета зубовного: «Резал бы и ел тебя, гад! Если убьешь меня и буду умирать, хоть мизинец твой вонючий, а скушу!»

Остановился Ваня передохнуть:

– *Это, значит, там на кого-то напали, убивают!* – выкрикнул и примолк, удивляясь: кто вложил ему эти слова в уста? Да и Ильи Муромца с девочкой нет...

Только замерцал свет слабенький, бледный, как от алюминиевой иконки. А это – мерцало предсказание: Горынычева скоро ночью глухой убьют на железнодорожной платформе под Москвой. Перебьют ему позвоночник в двух местах, сломают ребра – и сбросят с откоса – к реке, в снег. Он пролежит там до утра на спине и захлебнется своей кровью...

Об этом Иванушкины уста и сказали, наполнившись тем мерцанием, только до ума не дошло – тотчас же и погасло. Побежал дальше:

– Уф, насилиу я и догнал вас, Илья Муромец. Все пятки оттопал, пока бежал! – забалаболит Иванушка, да и замолк: – А где ребенок?

– Се жена и, как было велено, привел ее к Михаилу Архистратигу... дабы облачить...

– Илья Муромец! Что, что ты?!..

Но Илья Муромец упал, взгремев доспехами, пряча эфиопское лицо в землю, и так плакал и стонал долго, и не говорил ничего, потому что не мог рассказать о том, что произошло, человеческим языком. И Иванушка-дурачок устал его стенания слушать, а он все плакал, и Иван не сразу понял, что ум у Ильи Муромца помрачился. И тогда Иванушка стал вокруг богатыря ползать на четвереньках, весь перемазался в его слезах и сам тоже заплакал неутешно, думая, что они здесь, в земле, останутся теперь навечно.

## ГЛАВА 62

Какие тут разговоры? Илья Муромец разболелся и все никак не мог войти в полный разум. Разве в полном разуме такое вывотишь: не один-де ли мы, Ваня, *стали дел делить, да не один ли пай паить стали* с силой нездешнею?.. А что пережил – все так и не мог словом сказать. Только, вскоча на ноги, как гаркнет своим колоколистым голосом: «Эй, Васильич, выручай!» – Да так, что Иванушка даже присел, схватившись за уши. Илья всё рассказал ему про Васильича, что можно словом сказать. А остальное было выше его человеческого уразумения, путался: не знаю, куда-ста нам идти, а если пойдем к Васильичу, то обязательно выйдем поближе к белому свету. И ребенка, ту девочку, Васильич в обиду не даст!.. А почему, как? – опять одна путанка, несвязица...

Иванушка-дурачок после того, как ему будто льдиной по груди провело, тоже чувствовал себя неважно. «А кто такой этот Васильич?» – опять спросил Иван. Илья опять не мог на это ответить, потому что ничего стало не видно – такая тьма. Только опять: «некий человек, Васильич» – повторил слезно... И в то, что Илья Муромец передал ребенка в надежные руки, некоему Васильичу невидимому, Иванушка-дурачок не поверил и про себя решил: как только богатырь заснет, выну у него меч из ножен и сбегая к тем зверям, проверю, не растерзали, не изнасиловали ли девочку, гады?..

Еще и потому так думал Иванушка-дурачок, что не мог он спать крепко, как Илья Муромец, изнемогший и лечившийся сном. Земля уже стала под ними не морочная, как на горках у бетонного здания. После того, как встретился и указал им дорогу Федор Студит, стала в пещере зима чувствоваться. Илья Муромец был одет теплее Иванушки, а тот дроз, не мог заснуть в своем солдатском тряпье, и привязалась к нему, не сходила с языка эта поговорка: «Федор Студит землю студит». Он часто без всякого смысла повторял ее, приводя ставшего богобоязненным богатыря в унынье и слезы.

Зуб на зуб не попадает, а Илья спит, упрятал свой эфиопский лик в рукавицы и храпит. И меч под ним к земле прижат. «Скоро

ли на другой бок, старый черт, повернешься?» – думает Иван, ходит по пещере, не может согреться.

Как только перевалился Муромец, тяжело вздохнув, на другой бок, Иван присел за его спиной на корточки и тихо, без лязга, вытащил из ножен меч. Постоял, попрощался с Ильей на всякий случай, перекрестился и пошел во тьму: там, у костров, согреюсь, а их всех сожгу огнем пыточным...

Идет-идет... Хорошо, что далеко уйти не успел – чу, шаги! Пробежал кто-то... Ага! – сказал Иван и туда – в боковой ход, за шагами. А навстречу:

– Господин волонтер, за мной! – вдруг как крикнет кто-то.

Иван так и присел... Голос не злой, не зверский, а вроде шуточный... А, может, издевается, шуткует? У них, у блатных, это есть, подумал Иван. Подбодрил себя и вперед...

Был я на горе на высокой, на крутой,  
Знаю, знаю, кто Москву зорил! –

Запел тот же голос игриво, ладно, так душа вся и качнулась к нему.

Эх, Палеошка, Палеон,  
Палеошка парень молодой,  
Эх, неженатый, холостой.  
Он ходил-гулял по лужкам с ружьем,  
Не с ружьем, а с пушкой вестовой!

Голос пел и звучал, как не в подземелье, а на воле, звал на волю. Душа зародовалась, да и разогрелся от бегу и про меч забыл. «Да кто же это там поет, кто приставляется?» – хотел выкрикнуть Иван, но тут сильная плюха промеж лопаток сбила его с ног, и он полетел тычмя в землю...

Когда он очнулся, то увидел под собой свод кирпичный. Потом посмотрел вбок – дверь обычная, как у домов: и «ручка» на ней есть.

– Здравия желаю, господин волонтер! – проговорил тот же чуть с пригнушкой голос, и он увидел эфиопское, жалко оскла-

бившееся лицо Ильи Муромца, богатырь был без шлема; у того, кто называл его господином волонтером, лица пока нельзя было рассмотреть, сидел на чем-то у стены в другом углу. Перед Иванушкой зашатались тени: внизу, в консервной банке, топился восковой церковный огарок. Иван сбросил с себя ватное, затхло тряпье сел на доски, которые были под ним наподобие нар, и выговорил:

– Куда мы попали?

– Место надежное, – ответил доброжелательно голос с пригнушкой. – Склеп под алтарем храма Михаила Архангела в Кривце.

## ГЛАВА 63

Почти двадцать лет, до середины пятнадцатого века, воевал московский князь Василий со своим племянником Дмитрием Шемякой. Неподатливый Дмитрий Шемяка не хотел подчиняться дяде, и, поймав Василия, ослепил его. Но и после этого война не закончилась. Ослепленный Василий, прозванный Темным, стал теснить со своими ратниками Дмитрия Шемяку. Один из них в том бою чуть не взял Шемяку в плен. И в доказательство показал всем кусок чепрака, отодранный от седла, на котором сидел Шемяка. Василий Темный с досадой помял в руках кусок кожи и сказал: «Упустил... Чего это ты мне даешь? Эх, ты, Кожа!» С тех пор и стали называть того ратника Кожиным, от него пошел род дворян Кожиных. (Сие сказание теперь ученые люди определяют как баснословное, а грамоту о нем с печатью – поддельной).

Но из того же рода вышли святые Макарий Калязинский, Анна Кашинская и преподобный Паисий Угличский. И теперь в Москве есть Кожины, многие из них – люди ученые.

Каменную церковь в Кривце вместо устаревшей, деревянной, построил при императоре Павле Николай Кожин, проживший большую часть жизни в Петербурге и за границей. «Святость должна иметь лицо человеческое», – говаривал он, а про себя разумел – европейское. Все, кто не бывал здесь, глядя на храм, возводимый чужестранным архитектором, видели: такого нет ни

в одном уезде, ни в одной соседней губернии. В резной иконостас были вставлены иконы, написанные, как картины, на холстах. Писал их тоже чужестранный живописец: на ангелах и святых много плоти, и одежда *не образная*, и нимбы не по-старинному, стоячим сиянием, а, как жидкие венцы, над головами висят и чуть в бок сдвинуты. В церкви было, как в картинной галерее. Богатый, с лепниной иконостас был не позолочен, а посеребрен, и фигуры святых от земли до неба, будто бы сидели на уступах духовных высот и переговаривались, как философы, а не как пещерники или скитяне. И Михаил Архангел над ними в небесах. Даже над воротами, за которыми остается для входящего грешный мир, и где в иных храмах изображали огненный ад, тоже обложили свод резным посеребренным деревом. Сам громозвучный век свободы разума и тьмы страстей, обмирщвления, понижения веры, ученого высокоумудрия, оторванного от жизни – отдавался в этом храме.

Кожин-храмоздатель не дожил до нашествия французов, а когда после их изгнания из отечества служили в Кривце службу Архангелу Михаилу, то духовенство удивлялось. Задолго до победы над антихристовыми иноплемениками барин-прозорливец предсказал ее построением храма Архистратигу Михаилу, покровителю христоролюбивого воинства. И сына своего – Михаилом назвал, а тот был награжден золотым оружием за храбрость в Бородинской битве, где под ним убили коня. Михаил чуть не погиб в кровавой свалке, но получил чудесное спасение после жаркой молитвы. «Так в самых житейских обыкновениях Бог наставляет нас!» – говорил в проповеди священник. Штабс-капитана Михаила Кожина настолько удивило все это, что он часто проводил дни свои в книжном чтении, а особенно изучении Священного Писания.

Уже вскоре после реформы 1861 года наследники обеднели и разъехались. Усадьба была в забросе и так уросла кустами, что путешественников, проплывавших по Волге, поражала своей дикостью. Окна выбиты, на крыше – тоже кусты; ее привел в порядок откупщик, и велел мимоходящим крестьянам кланяться не только ему, но и барскому дому. А старику-священнику этот суевер и самодур запретил ходить мимо дома на службу, чтобы

не встретиться с ним нечаянно и тем не ввести себя в несчастье. И священник, уже старик, спустился с холма к Волге и оттуда с алтарной стороны, кругалем подходил к храму. (Об этом Крестьянникову после революции рассказывали тамошние старики, еще помнившие откупщика).

После смерти самодура усадьбу купила вдова фон Фриде, сама она жила в Петербурге. Пусть приобретение в дело не успела – пристигла революция. Запертая дворянская усадьба своим добром манила крестьян. Они, собрав с мира денег, послали несколько человек спросить у барыни: можно ли усадебную землю разделить между собой, ведь вроде вышло такое распоряжение из Питера? Посыльные пришли в богатый питерский дом вдовы фон Фриде и, когда она к ним вышла, низко поклонились, и поцеловали у нее руку, и смирехонько изложили свою просьбу. Вдова разгневалась, стала их прогонять, а про усадьбу сказала: «Пусть стоит, не ваше дело». Крестьяне, убежденные ее словами, собирались уже уйти, но тут вышел единственный сын вдовы, щупленький в очках офицер, и заговорил по-французски: «Матушка, ведь революция... Землю непременно придется отдать», – повторял он мягко.

Вдова фон Фриде разгневалась еще больше, замахала руками, крикнула с немецким акцентом: «Пусть делают, что хотят!» – и ушла. Офицер объяснил крестьянам, что усадьба теперь – их.

Когда местные крестьяне узнали, что усадьба теперь их, они сломали запоры и вошли в барский дом. Ходили по залам целый день, все оглядывали и дивились, сколько здесь добра всякого: зеркала, музыка, разная посуда, обитая дорогими тканями мебель, резные шкафы с книгами. Крестьяне не знали, что делать с этим добром и как его разделить, и снова закрыли барский дом. Но тут вернулся в деревню солдат с фронта, кричал и ругался, и быстро убедил крестьян уничтожить все буржуазное добро в усадьбе, чтобы оно не заражало людей, и начать жить по-новому.

Вытащили на балкон фортепьяно и сбросили его вниз, на крыльцо. Потом побросали всю посуду и мебель, книги. Когда все добро было уничтожено, из уездного города прислали Ивана Константиновича Крестьянникова, переболевшего тифом, только

что вернувшегося с фронта. Он объявил: «В усадьбе будет детский приют для сирот». Прибыли в Кривец дети – в барском доме не осталось ни одного стула, не на что было присесть. Богослужение в церкви запретили, священника куда-то угнали, священные сосуды, медную посеребренную купель, еще в старой, деревянной церкви когда-то стоявшую, взяли на кухню, для посуды.

Молва про золотое оружие штабс-капитана не давала покоя новым обитателям усадьбы. Кожины не нашли упокоения в усыпальнице под алтарем церкви. Сначала искала золотое оружие советская власть, искали детдомовцы, потом – в усадьбе была организована коммуна – коммунары, потом колхозники; в тридцатые же годы устроили пансионат для спившихся членов союза советских писателей. Лишь фронтовикам было не до золота, когда в отечественную войну тут открыли госпиталь для туберкулезных солдат. Молодые парни – как их кормили в голодное время! Но врачи предупреждали всех, кто там работал: ничего у них не берите! Бывало (жалко девчонку-санитарку!) накроет хлебом кружку компота: «На, возьми – я хлеб даже не трогал. Если не себе, так детям!» Не брали, боялись. У одной санитарки мальчишка восьмилетний, как его ни ругали – подбирал за ними окурки: заразился, умер...

После госпиталя – в усадьбе устроили дом-интернат для инвалидов и стариков безродных. Те снова, прознав про золотое оружие царского генерала, как они возомнили, принялись шуровать в подвале церкви. В склепе под алтарем они увидели, что каменные плиты надгробий сдвинуты. Потому что еще коммунары задолго до инвалидов ничего тут не нашли, лишь в одном гробу среди остатков костей – шпага, в другом – один эполет, в третьем – сильнее всего поразивший их... граненый стакан. А чашечку чайную, как об этом рассказывал, по слухам, Ивнякову Тускляков, нашли уже позднее, при другом обыске. Когда Тускляков сам в первый раз в церковь залез в пятидесятые годы, иконы на холстах еще целы были, но – пробиты, прорваны, свисали с иконостаса ключьям. Кое с какими повторами придется дополнить его рассказ подробностями, чем продолжилась судьба храма, где святость, по замыслу создателя, явлена с лицом человеческим.

Подвал со склепами под церковью большой: человек может стоять в полный рост. В гроба сгребли мусор, плиты задвинули на место, и долгое время тут была столярная мастерская. Теперь подвалом владеет Полушкин. Дверь держит на двух замках, потому что у интернатовцев все живет слух, что в склепах где-то спрятано золотое оружие царского генерала, и новоприбывшие, в большинстве из лагерей и тюрем инвалиды, этим слухом заражаясь, ходят смотреть на дверь с замками. Над ней высокая лестница пристроенного крыльца ведет прямо в сводчатое алтарное окно, к горнему месту: окно околочено косяками и к нему навешена дверь.

Полушкин уже старик, он мал, кругловат, фигура – груздем: в аккуратной кепочке на большой упрямой голове с редкой серой щетинкой, такая же щетинка, лишь помельче и на красноватом лице; взмахи рук – напересечку с речью. Глаза не успеешь запомнить – так быстры и малы, сокрыты в морщинах. Одет экономно, по колхозному, в дареную рабочую спецовку одним из сыновей, и в вельветовые выцветшие полуботинки.

Когда еще он работал в колхозе плотником, верзилистый председатель и раз, и два его одергивал «за язык»: «Глаза не должны выше лба расти, Митька!» А он все равно перечил. И до того доперечился, что его вытурили из колхоза, и он, оставшись без земли, не знал, как жить. Председатель и дом колхозный велел очистить, а семья большая – пятеро детей. Куда идти? Только в дом инвалидов: то печку сложить, то полы перебрать – там везде ремонт нужен. Директор тогда и взял его на работу, на свою территорию. А жену плотника туда же, поваром. А где же нам жить? «А у нас только одно помещение. Вон, стоит! – указал директор на церковные развалины с уцелевшим алтарем: – Чем тебе не квартира?»

Полушкин не стал отказываться, взялся за дело. Перекрыл сводчатый верх алтаря потолком, пол поднял повыше до длинного окна, ставшего дверью; сложил печку. Росписи на стенах закрасил, а на чердаке, на сводах, не тронул. И когда уже много позднее приходил к нему Тускляков, чтобы написать заметку в газету про его умелые руки, шутил: на чердаке ангелы с нами живут; посредине – он сам со старухой, а там, в подвале, в склепах – покойники!

В старинной купели, где крестили многих усадебных владельцев, держал он машинное масло, и когда Тускляков спросил его, не осталось ли что от церковной утвари? – утаил купель: «Разве что уцелеет? И сейчас дверь открытой в подвал не держи – без картошки останешься»... Тем не менее купель все-равно каким-то образом потом оказалась у Тусклякова.

Склон холма у храма весь упутан бузиной и крапивой: ямы, обломки кладки, мусор – место дикое, шагу нельзя ступить, и только осенью, когда опадет листва, засереют сиром кладбищенские пирамидки из оцинкованного железа: покосившиеся, без надписей – это здешних инвалидов могилы. А многие закопаны и так, без могильного обозначения, под номером. От самого храма уцелел лишь высокий гребень кирпичной стены, примыкающей к алтарю, березы и рябинки вытягиваются за этот гребень, да и сам гребень весь лесом урос, и не видать, и не поверишь, что здесь живет кто-то. Если с Волги, где обиженный суевером-откупщиком священник в обход ходил, станешь подыматься на холм, то странным покажется, что валит из развалин, путаясь в объиндеветших ветвях, печной дым. Но зимой тут никто и не ходит, сугробы. Красное косое солнце, иссера-голубой вечерний снег, и уткнулся в снежный завал старый побитый грузовик: кабина с открытой дверцей.

А собранный Полушкиным из церковного барабана шестиугольный магазин, о котором когда-то говорил Тускляков Ивнякову, теперь уже стоит во дворе нового «музейного помещения». Ставни и дверь на кованых запорах. Но без крыши – ее оставили Полушкиным на дрова. У Тусклякова же на примете была в одном месте маковка церковная со шпилем: он ее перевезет сюда, ей «барабан» и покроют.

## ГЛАВА 64

Иванушка-дурачок как ни вглядывался в лицо сидевшего у стены на каменной плите – не мог рассмотреть, и не только из-за плохого света: похоже, что лица-то у него совсем не было – так,

одна мысленность, будто есть лицо; хотя голос – был, но будто со стороны говорил, прямо из воздуха. А шляпа-треуголка хорошо видна... Ну, да ладно, что тут раздумывать! Надо просто на это не обращать внимания. Сам не лучше – провел рукой по привычно гладкому месту, где у него прежде нос был, Иванушка...

– Вроде как на нарах я сижу... Слава те, Господи...

– Опять из-за тебя чуть не запутались, да, спасибо, добрый человек распутал, – говорит Илья Муромец. Хотелось ему и накурять, как следует, Иванушку за то, что он меч у него, сонного, вытащил и тем в гнев и растерянность ввел, и стеснялся корливостью досадить хозяину склепа, который сразу же его убедил, что не разбойники на сонного богатыря набросились, а товарищ его, не выдержавший таинственного пленничества во тьме.

Илья Муромец сел на клетку кирпичей. Иванушка еще раз глянул – лицо у Ильи хотя и эфиопское, но на месте, и борода на месте.

– Случайно не вы ли меня оглаушили? – просительно в сторону треугольной шляпы сказал он, пробуя, хорошо ли держат его ноги.

– Я, я! – сказал нетерпеливо Илья Муромец, ему очень не хотелось этот разговор начинать, переливать из пустого в порожнее: – Не хватайся за меч у сонного! Полоумный...

– Полоумный тот, кто на земле лежал да ревел! – указал на него рукой хозяину склепа бодро Иванушка...

– Погасите свечку, а потом продолжим наш разговор, – остановил ответ в устах Ильи Муромца невнятный человек в треуголке своим боковым, ровным, звучащим из воздуха голосом.

Илья Муромец и Иванушка-дурачок молча не тронулись с места. Тогда он медленно поднялся со своей плиты, надвинулся из тьмы так, что Иванушка разглядел военный мундир, высокие сапоги и шпагу. А зыбкое лицо – из серой воздушной тонкости, и блики свечи, будто проламывая его, играли в нем. Нагнулся, дунул. Густая темнота вошла в глазницы Иванушке – посунулся на ощупь к верстаку, задел за старое ведро, загремевшее по кирпичному полу.

– Лишнее и ненужное смущение делаем, – говорил голос, – уже почти сто и тридцать лет прошло, как штабс-капитан Кожин упокоился в фамильном своем склепе.

– Ах, ты, дьявольное, – сказал тогда, чтобы оживить хоть чем-нибудь тьму Иванушка, и снова натолкнулся ногой на ведро с закаменевшим на дне цементом.

Слышно было, как в своем углу Кожин усаживался на плиту и после небольшого молчания миролюбиво посоветовал:

– Смиритесь, пленники сени смертной... Дух позлатит место нашего заключения, сию тонкую область, сразу начинающуюся за гробом...

– Да уж больно тонка, – вздохнул и Илья Муромец, – так тонка, что и сидеть тут, Михаил Николаевич, не стоит... Пододвинулся я к двери – и вышибу ее... Через два часа у Григория Паялы будем.

– Не все ли оканчивается смертью? – отвечал спокойно Михаил Николаевич. – Непроходимая бездна отделяет нас от живых мыслящих созданий и от мира вещественного, и мы, ограниченные образы, не можем прейти ее. Оставим, друзья мои, это бесплодное и немочное желание...

Иванушка-дурачок, усаживаясь на ощупь на верстаке, морщил, как мог, свое обезображенное лицо, изображая, что он с уважением слушает военного человека, хотя и не понимал ни слова. Илья Муромец нетерпеливо тарантил носками сапог по кирпичному полу. Оба чувствовали, что после встречи с Кожиным, после того, как раздалась во тьме его песня про Палеошку-Палеона, душевных сил у них прибыло, и жить снова захотелось. Морочное все отвалило, забывается, и мысли приходят в голову простые, кажется, навсегда потерянные. Вот, кажись, у них рублей тридцать должно быть, а они уже двое или трое суток не евши – так они сами считали свое время в полону. И огонь мести разгорался: «Уж так этого Ивнякова уработаем, мама родная не узнает!» – злобствовал Иванушка.

– Илья Муромец, значит, меч у тебя не выбили? – спросил он.

– Если вы вышибите дверь и шагнете на волю, – твердо заговорил Кожин, – то бездна неизреченная поглотит вас. Вы уже падали в нее, но волей провидения спасены. Так не искушайте же его во второй раз...

– Какая еще бездна? – сказал Иванушка. – Это там, что ли, где монах в пещере книгу читает?

Илья только в бороде чесал, не знал, что говорить. Он уже был накрепко убежден Кожиным не предпринимать ничего самовольно.

– Как мне в атом слова втеснить создание и создателя? – терпеливо, но с прежней твердостью воскликнул Кожин.

– Я помню, что по бездне, по провалу тому нельзя ходить, – уверенно сказал Муромец, – но христиане-то другие там ходят...

– Ходят? – удивился Иванушка.

– Вижу, что вы уразумеете меня, – продолжал Кожин, – ежели я буду говорить языком стихотворцев, всему придавая лицо и существенность. Вы, вечные образы, и силой втеснены в притин смертный, и не естественным путем, как я и отец мой, и дети мои, и все иные люди. Но выхода из этой неприступной страны вам одинаково со мной нет. *Сидящим во тьме и сени смертной, окованныя нищетой и железом, яко преогорчиша словеса Божию.* Там, по ту сторону гроба, дух дает жизнь, и все живущие живут телесной жизнью, но в здешнем обиталище телесное и природное бытие утрачивается, и вы, поступив самовольно, переступите порог, и на месте мира ничего уже не найдете, ни времени, ни людей, и будете, как в темной пустыне. Хотя наверху, в алтаре, возведенном батюшкой, и живут люди, и дом наш стоит. А почему вам пока трудно уразуметь это? Потому что вы не бесконечные пленники сени смертной. И избавление вам такое же, неполное, ущербное уже готовится. Отряхнувшие же телесность и вещественность, также будут избавлены от сего ада и введены в лучшую жизнь. К этому введению их ведет знание добродетели и уразумение начала и конца бытия – Бога. Так и я, находясь здесь, знаю, что происходит за сими четырьмя ступеньками, но видеть не могу. И я не лишен свободного хотения и мог бы отворить дверь и тотчас бы распался в ничтожество и тление вечное. Уготована пленникам сени смертной иная, живая дверь, и они выйдут из нее в конце времен. И все мы там встретимся... Не следуйте же за теми несчастными, кои... – Кожин, говоривший все тише и тише, замолчал...

Иванушка-дурачок подошел к двери, поелозил по старым, толстым доскам, по шляпкам кованых костылей. Обычные вроде



доски. Он не сразу заметил, что крупные шляпки костылей стали различимы, серое слабое освещение разжижало тьму, будто бы они сидели в темной комнате, и вот начал брезжить рассвет. Кожин сидел на своей холодной плите, скрестив руки на груди и опустив голову, подбородок и скула слабо мерцали, как тень на быстрой воде, вот замерцали эполеты; и вдруг стало видно лучше, чем от свечи, и черных подвальных теней не стало...

Илья Муромец и Иванушка-дурачок, переговариваясь о пустяках, осматривали склеп. Под ногами – известь, битые кирпичи; на штырях, вделанных в стены, висели заржавленные пилы, те же «стахановки», полотна которых натягиваются в деревянных рамках закручиванием веревки. Веревки давно истлели, и рамы, обваливаясь, падали на пол. На верстаке, где очнулся Иванушка, старые стружки. Во всю заднюю стену склепа был отгорожен сусек с картошкой, прикрытой от холода рваным ватным одеялом и телогрейками. Этим тряпьем и прикрывал Илья Муромец оглашенного Иванушку. У надгробных плит не валялось ни черепов, ни костей, только мусор...

– Пусть душа твоя одинокая вместе с мамой в могилке лежит... – увлекшись, даже спел себе под нос глухим голосом Иванушка, услышанную в деревенском посаде когда-то песню, и спросил, что-то подсчитавши в уме: – Илья Муромец, – а какой сегодня день-то? Уж не Федора ли Застольника? Я ведь тебе уже сколько говорил! На этот день покойники по земле тоскуют... Как подумаешь, что мы пережили, так волосы шевелком зашевелиятся... Ну, что молчишь?

И Иванушка, не дождавшись ответа, спросил Кожина, где же другие покойники? – тот ответил с полным безразличием: «Зачем они? Вам и одного хватит».

– Вот в одного-то нам и не верится, – вздохнул с укором Илья Муромец и подумал о том, что никакому человеку верить нельзя. И Ивняков обещал их вывести в деревенский посад через кладбищенскую церковь, и скоморохи обещали распотешить, но все обещания эти оказались – гнилыми, протрухлыми. Может, лучше последний бой и мрачная смерть?.. Но ему, Илье Муромцу, – в бою смерть не писана.

## ГЛАВА 65

Они проснулись часа в четыре утра, лежали в полудреме, и вместе с дыханием угадывали в темноте мысли друг друга.

– Батько, ты не спишь? – сказала жена, Марья Полушкина.

– Да сон приснился, что поехал в город шнурки для ботинок в раймаге покупать, и все никак их найти не могу...

Помолчали, дыханием теплым чувствуя, как выстыла домашняя темнота за ночь. Потом Дмитрич оделся, умылся и ушел в сарайку, где каждое утро у него было дело. От сарайки вниз плавно серел скат холма, над Волгой морозная дымка, и верхушки берез и лип, густо обиндевевшие, терялись в небесной мгле.

Марья Полушкина, встав на колени, чиркнула спичкой перед подтопком русской печки, дрова, еще с вечера приготовленные, загорелись с жадным гудением. Марья заходила перед печкой быстрее, вытащила ухватом чугуны теплые на шесток – услышав посудный звук, вылез из печурка кот, смотрел с пола вверх деловито, будто следил, так ли Марья все делает.

– У тебя же есть вечершнее молоко. Не знаю, чего тебе надо? – привычно – так она говорила каждое утро – сказала Марья коту и, приготовив поила, пошла на двор к скотине. Когда она вернулась со двора, в пластмассовом футлярчике радио зашуршало, будто там завозились мыши, и раздался бой часов, потом долго, уныло тянулся гимн, про который мать Марьи каждое почти утро повторяла: «Чу, вальс коровьи слезы!»

В семь часов застучало лопатой в обмерзшие ступеньки. Дмитрич шел завтракать, да остановился со ступенек счистить наледень, хозяйка да еще с ведрами-то не поскользнулась бы...

Вошел, сел на табуретку, снял галоши с валенок, снял телогрейку, умыл руки. За перегородкой – на столе против печки – сковорода с жареной картошкой. Дмитрич с отросшими серенькими редкими волосами, покрасневшийся с улицы, смотрел, как подымается над картошкой парок. Жена наливала над плитой остатки вчерашнего супа в тарелку и говорила:

– Слушай, а что ты мне про шнурки-то давеча говорил?

– Про шнурки? – удивился Дмитрич. – Да я уж и не помню...

Когда она поставила перед ним тарелку с супом, взял ложку и сказал:

– Грибов, лежащий, помер. Сестра сказала...

– Помер? – переспросила удивленно Марья, представив перед собой престарелого инвалида Грибова, уже год почти не вставшего с казенной койки.

– Все в солдатском кителе ходил, – сказала Марья.

– Да вот отходил, – сказал Дмитрич и поглядел на свою кружку эмалированную в черных родимых пятнах на тех местах, где белая эмаль была оббита.

Жена налила в кружку чаю, а в чашку молока парного и спросила:

– Ну, что ты поделал?

Дмитрич рассказал, что он поделал на дворе. Марья слушала и мыла посуду.

– Скоро Татьяна должна внучка привезти... хоть попьет молочка...

Входная дверь с улицы была обита старым одеялом, а поверху мешковиной; когда раздались тупые по вате удары – Дмитрич, ожидающий, когда по радио объявят время, чтобы проверить часы, сказал:

– Наверно, директор?

– Проходите, проходите, – называла по имени-отчеству директора Марья.

Директор дома инвалидов в черном прямом пальто, в высоких, скрывавшихся под пальто белых валенках, в каракулевой шапочке на маленькой голове торжественно, как на собрании (до Ивана Хламова он был директором дома культуры) возгласил на пороге:

– Доброе утро!

И Дмитрич сразу понял, по какому делу он пришел.

– Дмитрич, – так же торжественно – после дома культуры он работал еще парторгом в колхозе – сказал директор: – Дмитрич, – тебе шабашка! Ящик нужен!

– Грибову? – спросил Дмитрич.

– Уж я из-за одного гроба не буду в город заказ оформлять...

Дмитрич упер взгляд в старинную, чуть ли не с метр шириной, алтарную половицу, ему очень не хотелось затевать это дело, налаживать верстак, напускать холоду в подвал. Он уже лет пять не делал гробов, два раза отговаривался от заказов: посмелее стали с женой, как на пенсию ушли...

– А тес? – спросил Дмитрич.

– Иди к завхозу, – сказал, поведив бровями, директор, бери, сколько надо...

Пришлось Дмитричу собираться, подвал открывать.

## ГЛАВА 66

– Вот теперь и думай – что это за иная страна, что это за иное время? – Илья Муромец замолчал, хотел, чтобы молчание углубило его удивление.

Но Иван, только и ждавший, когда старик замолчит, опять за свое:

– А у меня совсем не так было, я действовал самостоятельно...

– Ваня, ты помолчи, переломи себя... Я хочу знать, что ли тот завод, где нас так обезобразили, и есть иная страна? Или здесь, где сейчас сидим – иная страна? Тянет и тянет вниз... И голос...

– Может, тут и иная страна, но времени нет совсем! – сановито примолвил Иванушка. Он снова сидел королем на верстаке, поправив под собой тряпье, и был очень доволен своим высоким, удобным местом...

– Тяга какая-то... голос... Теперь никак не вспомню, – все дивился, разводил руками Илья Муромец.

– А я действовал самостоятельно, почему я тебе и не рассказывал... Слушай, ты, Михаил Николаевич, он ведь, Илья-то Муромец, немного и того...

– Ваня, присеки язычок!

– Я тоже, как ключ, ко дну пошел... Иду-иду-иду... И как в черное оболочко лег. Потом переломил себя, как Илья Муромец советует, ощупью-ощупью, ползком-ползком... А потом и во весь рост встал...

Илья Муромец без шелома сидел на кирпичной клетке, покойно расставив ноги, и все думал: «Что за сила, что за иная страна?» Кожин, опять почти неразличимый, по-прежнему недвижно сидел на своей плите. «Слушает ли?» – подумал Иван. И заговорил короче, громче:

– Вдруг так и осветило весь воздух. Зыблется, зыблется свет, как от зарниц... Я иду – вижу свет из пещеры. Там весь воздух постоянным светом сияет... И сидит монах, и лица, как у тебя, Михаил Николаевич, не видать. А голос – говорит!.. Откуда он? – спросите. Это монах книгу читает... От книги и свет идет... И слова как бы из крови и света в воздухе плывут. Гласит, бубнит, ничего не разобрать: в книге сей имена, память их сохранит, доколе стоит мир во вселенной... Меня жуть охватила, просто не по себе как-то...

– Сие все корни, корни... Сила-то вся в корнях, сие чиноположение не есть произвольное, – вдруг невнятно, будто и не человек, а сама темнота забормотала оттуда, с кожинской плиты.

Илья Муромец очнулся, ноги поджал, посмотрел внимательно на Ивана...

– Вроде как кто-то шарушится, – говорит Иван, приставив ладонь к уху, – чу!

Это Полушкин приволок к двери тес для гроба и затопал по лестнице домой, за ключами от подвала.

– Началородное семя – ты говоришь, служивый человек? – перестав вслушиваться, переспросил Кожина Иван. – Нет, я про началородное семя не слышал ничего. А то бы запомнил такое важное слово. Нет, это был пирог из чертентятины!

И Иванушка полуоткрыл рот, поводит глазами – такой у него, безносого, получалась улыбка – чуть свысока на Илью Муромца глянул и затароторил:

– У него в пещеру что-то тяжелое, огромное просунулось, как черный гроб. И монах-то, лица не видно, мне и говорит: вот это и есть пирог из чертентятины длиной в три версты. Когда ты его съешь... Илья Муромец, ты чего не слушаешь?.. Вроде уже мне говорит это: когда ты съешь, то умрешь и лопнет, как орех, твоя оболочка, и вспыхнет огнем твоя совесть... Во как!

– Хорошо! – только и сказал Илья Муромец.

– Да. Я и стал этот пирог из чертентятины обходить. А он все больше, больше. Я уже не три, а верст двенадцать прошел... И тут вижу – опять дым из трубы валит, люди на завод бегут... Я за ними, на завод. Вдруг – Илья Муромец! Говорит: тоска и слабость во всем теле!..

– Так-так, – говорит Илья Муромец с подзадором, – жили два брата, Фома да Ерема, лицом они одинаки, а приметами разны...

– Илья Муромец, ты это ни к чему!... Вопросы надо решать! – рубанул по воздуху ладонью Иванушка. Он, конечно бы, сказал по-иному, у него уже и слова были готовы, но стеснялся такого уважаемого человека, как Кожин. При нем он и говорить старался деликатнее, чище, без матюжины.

– Да к тому, – привскочил Илья Муромец, – что на Ереме – зипун, на Фоме – кафтан, на Ереме – шапка, а на Фоме – колпак. Тебе – голос слышался, и мне – голос слышался! Я свою загадку не могу разгадать, а ты мне – вторую!..

– Сие не загадка, а лишь незначительный член ее, – опять забормотал странно, непонятно Кожин.

Илья Муромец – сел, а Иван с верстака – спрыгнул:

– Правильно! Что тут решать – идти напролом, куда глаза глядят, да и все!.. Путаник ты путаник, Илья Муромец...

Илья Муромец крепился из последних сил: «Крепко я его не трону, а только шапкой своей поучу!» – загорелся он и, напустив пустоты на лицо, и даже позевывая, вразвалочку отступил к сусеку с картошкой, где потемнее было. Илья Муромец подошел к сусеку с крупной картошкой и отжал свой гнев внутрь: «Нет, сперва не шапкой, а картошиной поучу», – подумал он и сказал скучным голосом:

– Какие тут пироги?.. Как бортанули да вбили нас в землю, мы не евши сидим. И тяги пищной нет в нас... Кислеть и горечь во рту. Эх-ха-ха! Жили, как нелюди, и умерли, как непокойники... А картошки-то, Ваня, вон, сколько...

– С этим я согласен, – уже примирительно затолковал от своего верстака Иван, будто чувствуя, что его ждет: – Какая тут ества? Жизни-то нет, все разные царства, все неведомые страны,

как ты говоришь. Действительно: как пирог из чертенытины – не меньше!.. Кем я только не был? В юности из одного – в другого человека входить умел. Так и прожил... А теперь не могу и вспомнить, кем я сначала был. Правильно меня тятя молотил, да вот не домолотил. Не помнишь, говорит, как жениться захотел, да и сгинел?.. Слушай, Илья Муромец, может, я и сейчас ни из одного царства в другое, а то в одного человека, то в другого – обличаюсь, а?..

– Хочешь, сейчас вспомнишь, кем ты изначально был? – сказал спокойно Илья Муромец, выковыривая из сусека уродливую картошину величиной с небольшой бульжничик...

Но бросить не успел – в темноте что-то резко треснуло, и дверь склепа, за которой белый свет и воля, отворилась...

## ГЛАВА 67

В дверь повалила густая стылая тьма, стало черно и душно, все растворилось в ней, потеряло вид и образ: и кто-то будто процокал копытцами по ступенькам в склеп. Иванушка, щупаясь руками во тьме, протеснился к Илье Муромцу, тот ползал на четвереньках по полу, искал шелом...

– Нашел, Ваня!

– Илья Муромец! – только и сумел выговорить Иванушка-дурочок.

– Божьи церкви хотят на дым пустить! – в угрозу разряжая недавний задор на Ивана, громко выкрикнул Илья и к бою из готовился...

И так они стояли, слыша, как растекается, извиваясь, живая тьма из двери, за которой должны быть простор и воля; и вот когда затопило их, и все извивы слились в одно черное, глухое – вдали, в нем, золотое яичко раскололи – золотые прожилки во тьме: разводы, жидкий золотой свет.

– Служивый человек, барин, ты где? – Крикнул, не зная, куда идти, Иван.

Но все молчит, а золотой текущий свет все больше разливается прожилками во тьме: уже даль в нём зыблется, но что это

за даль – не различишь: что-то ходит, какие-то тени. Стоят Иван с Ильей, как слепые – вроде уже это внутрь их жизненный свет натекает, а они не различают, где они? где тьма? Сами разливаются, размываются и, будто здесь они, в склепе, и там, далеко, где мерцают зеленые и красные тени... Да, может, это и есть конец? Глухота и слепота смертная...

– Служивый! Эй, барин, Михаил Николаевич! – крикнул, что есть мочи Иванушка, – ты нас песней вывел из мертвой тьмы! Скажи, как из второй тьмы уйти?

– Какой песней? – выдохнул знакомый голос с пригнушкой откуда-то прямо из-под ног – и вздох точно прошел по золотому текущему свету, и запотел свет, как стекло от дыхания...

– Эх, Палеошка, Палеон! – попробовал было запеть Иван, но осекся – светозарная тьма завздрагивала, как живая. И тепло стало – как на июньском лугу...

– Я не пел... Это не я... Бойтесь того, кто похож на всех и самим собой никогда не бывает... – И будто утонул, умер в живом, частью златозарном, а частью темном объеме голос – и как они не кричали, как не звали – больше им ни словечка в ответ! Иван пел, орал и слышал, как голос бился, обмирал в нем, как в пустом ящике, точно Кожин, пропав, и наружное пространство унес с собой.

Построгав фуганком доски в подвале, Дмитрич вышел на воздух покурить, глядя на очертания усадебных лип и берез – стояли, как огромные, белые, сияющие перья, а выше – утренняя, ясная дымчатость живой синевы. Цвело небо: цвет по-весеннему теплый, в редких полосках высоких облаков. Дмитрич стоял и глядел, и ему чувствовалось, что и на него что-то глядит и пышно цветет какой-то человечьей, духовной красотой. Мир – как чья-то чистая, бело-голубая душа. Или это сама душа мира глядит из небесной полыньи?

Звучно скрипнула калитка, кто-то идет по морозцу с прихрустом. Дмитрич с удовольствием слушал и голос калитки, и хруст. Подошел придурковатый, но не дряхлый мужик, бабье одутловатое лицо, усы и борода не росли; за плечами рюкзак...

– Здравствуй, милый ты мой, что у нас получилось? Слышал? – заговорил он нараспев, снимая ватную рукавицу и протягивая руку здороваться...

Дмитрич подумал, что мужик говорит о покойнике, и кивнул, и спросил, добродушно щурясь:

– Куда с мешком-то?

– Милый ты мой! – заболванил опять, закатывая глаза и показывая белки синеватые, чуть пристанывая, мужик, но его гладкое, оловянное лицо оставалось неподвижным. – Магазины-то у нас все закрыты, и инвалидам курева-то, милый ты мой, нет... Собрали все инвалиды деньги и послали меня в город...

– На, закури, – сказал Дмитрич, – а я думал, ты за генеральским оружием – с мешком-то...

И Дмитрич снова пошел сколачивать гроб. Тут такие оторвили есть, что и ключи им подобрать – раз плюнуть, – спокойно думал он, продолжая работу. Всю жизнь до старости просидят по лагерям, а потом государство бери их в интернат, обихаживай... Живут лучше иной колхозницы, старухи. Гроба строгай... Хотя и не крашенный, а все же гроб, да...

## ГЛАВА 68

...Смотрят туда, в самую даль золотую, что во тьме расте- клась, а там точно струйки вздрагивают, облачки такие тонкие пробегают, сливаются в световые образы; там и лес золотой, и трава золотая, и небо золотистое, все теплится. «Это же слова, – поняли враз оба. – А какие слова?» Только так подумали, а слова эти уже сердца у обоих греют, на устах нашептываются: «Тебя нет, тебя нет на земле»... Это, значит, слова там – за дверью, как души живые, пробегают, и здесь, в их душах так отдаются... И вдруг голос веселый, звонкий, как из тумана:

– Холсты стелю... Холсты стелю!

Илья Муромец, будто изваялся звуком этого голоса, весь ви- ден стал: стоит, как обаянный, с детской улыбкой, выступившей на лице. А Иванушка-дурачок не растерялся – так бормотнет спя-

щий, во сне, а его бодрствующий по койке сосед подхватит сон- ное слово вопросом и узнает тайну:

– Раз ты холсты стелешь, так помоги нам отсюда выбраться!

– Помогу! – и оба, удивившись ответу веселого, звучного, будто из тумана широко и гулко отдававшегося голоса, увидели, как сбросился к их ногам холст – дорожкой лег:

– Выходите по холсту!

Иванушка первым шагнул и пошел, как по мосту, и не то, что ему так выйти хотелось, а больно голос был свеж и чуден. Такой голос бывает только у невесты белолицей с синими очами, в белом платье, и радость такая, которая вспыхнула в Иванушке – зовется свадебной...

Да и Илья Муромец стал на дело бодр, а туман вокруг – туман хороший, молочный, с солнечными просветами, идут и, как сквозь сон, видят они церковь, зеленые в небо уходят купы деревьев и сливаются там с невидимым куполом. Похоже, что это здешняя цер- ковь, только не разрушенная, и усадьба, только как на плавучем острове, верха не видать в тумане, и низ в тумане расплывается, а дальше – провал, и, как по облакам, по провалу мост лег холстом, и впереди там, кто-то серебристо-белый зовет их:

– Холсты стелю! Холсты стелю...

Вышли из тумана на другой остров.

– Ой, как небо-то пересинено! – задрал голову вверх Ивануш- ка-дурачок...

– Дальше холстины нет! – говорит Илья Муромец.

– Умойтесь в первой воде да оботритесь концом! – кричит им тот же женский голос уже опять с того, церковного острова. – И ложитесь спать!

– Эй, душа дорогая! – закричал Иванушка. – Подойди на ми- нутку!

– На меня во все глаза не взглянешь, – зазвенело с теряю- щейся в тумане холстины, и холстина дернулась, потащилась с их острова в провал.

– Илья Муромец! Как бы нас снова не бортанули!

Илья Муромец схватился за холст, уперся ногой в край острова. Иванушка его за пояс схватил – копают землю пятками, но утягивает их вместе с холстиной...

– Я в ловички с вами играть не буду, вы уже пойманы...  
Тогда ослабла, провиснув в тумане, холщевая дорожка.  
– Отрубите по полотенцу, умойтесь в первой воде... Или не надоела чернота?

Тут Илья Муромец сразу, холст не выпуская, выхватил меч и отрубил двухметровое полотенце, разрубил пополам. И пошли, проламываясь сквозь кусты, в лес – первую воду искать...

– Илья Муромец!.. Отвернись, не смотри, пока у меня нос растёт. Может, ты мешаешь!

– Да я не верю, вот и смотрю... Нюхоток какой-то вылупился...

– Я и говорю: отвернись... Я буду его трогать, сам узнаю...

– А я не верю...

– Тогда полей мне еще из шелома первой воды...

– На... Слушай, Ваня, а я-то – черный?

– Черный, как...

– Дак дай-ка я себе полью...

– Нет, мне... Себе еще зачерпни... Вон ее сколько – первой воды...

– Ваня, потри еще...

– Ну, как, Илья Муромец, хватит?

– Хватит, – говорит Илья Муромец, – вроде уж нос у тебя поболее того, что был.

– А ты не верил, а ты не верил! – схватился Иванушка за нос, сдавил ноздри и прогнусил пробно: – Неужели это Смерть сама? Белокрылая такая?

– Смерть, Ваня... Должно быть, Смерть, – говорит Илья, встав на колени перед шеломом и оглаживая бороду...

– Эх, Илья Муромец, мне бы такую бабу...

– Ваня!

– Эх, Илья Муромец, да неужели это все – мысленность? Ну-ка, потрогай, нагни ольшинку-то эту.

– Сейчас, Ваня, дай...

– Нет, Илья Муромец, не ломай. Дай я сам ее за ушко, за ушко...

– За какое еще ушко? – говорит Илья Муромец.

– А лист-то этот, смотри, как ухо!

– А ну-ка, Ваня, дай я, – говорит Илья Муромец.

– Нет, Илья Муромец! У тебя ручищи-то какие!

– Так я сейчас вон ту березу... – и Илья Муромец подошел к березе, из которой бы могло доброе бревно получиться, и, перехватываясь, пригнул макушку к земле. Отпустил – со свистом зеленым брызнула в синь освободившаяся береза.

– Илья Муромец, пригни еще, я на нее свое полотенце лечебное повяжу...

Илья Муромец пригнул, отпустил полотенце в небо. Потом другую березку, покрупнее, пригнул – свое полотенце в небо пустил...

Иван топнул ногой по траве:

– Только одежонка на мне хреновая. Ниток-то я из холстины надергал, а где иголку взять – дыры зашить?

– Иголку найдем, – говорит Илья Муромец.

– Ну и баба, ну и баба! – все удивляется Иванушка.

– Нет, – говорит Илья Муромец, – надо нам от нее, Ваня, подалее уйти... Чудно, ой, что-то чудно вокруг...

– Да ведь с нами *подчастую* такое случалось... Всё царства, всё царства, Илья Муромец... Эх, на горе да было на крутой, там ходил да Палеонщик молодой, – неожиданно вывел, озвучил лес новым, проснувшимся голосом Иванушка. Запала ему на язык кожинская песня.

– Эх, Палеошка. Палеон... Он ходил, гулял по лужкам да с ружьемом! – вступил пушечным басом Илья, и оба, не отодвигая ветки: пусть задевают за лицо, щелкают по шишаку шлема – двинулись, куда глаза глядят, узнать, что это за страна и какие непроходимые огораживают ее бездны.

А Дмитрич Полушкин, уже сделавший гроб для инвалида, ходившего в военном кителе, сидел за столом со своей хозяйкой и говорил:

– И что за пакость эта Акулина! – (Так звали маленькую хриплоголосую старушонку, до того, как её оформили в интернат,

прирабатывавшую в морге). – Покойников зашивала прежде, и тут, у нас, пакостит...

– А что?

– Да как закричит: ты что же гроб-то такой великий сделал – еще покойник будет!.. Я не выдержал. С таким, говорю, расчетом и делал, чтобы тебе места хватило...

– Ой, батько, разве так шутят?

– А что?

– Да так, – сказала жена и принялась мыть посуду...

Дмитрич лег на кровать, зевнул и спросил:

– А ты за картошкой в подвал не ходила, чего-то сусек раскрыт?

– Нет, не ходила, – сказала старуха, думая: «сам раскроет, а потом спрашивает»...

И вскоре оба быстро, дыхание в дыхание, заснули.

## ГЛАВА 69

На опушке леса у синего камня растяжливо скрипнула старая, свиловатая сосна – точно дверца открылась потайная в алтарно золотистую полянку: там между красными соснами столп света стоймя стоит, и будто музыка немая заиграла – выходят оттуда двое по росной траве: к носкам резиновых сапог, как завитки этой музыки, лепестки желтые лютиков прилипли.

Один помоложе, невысок, рыжевато-русый, с круглым розовым лицом, на котором просвечивают веснушки. Он в черном бархатном картузе, подобранном, видно, на свалке, в солдатских штанах и в выцветшем синтетическом балахоне.

Второй – высокий, плотный, похожий на старого шкипера с волжской переправы – снял форменную, тоже чужую, с зеленым околышем фуражку, чтобы голову ветерком пообдуло. Усы с хорошей проседью торчат в стороны острые, а борода космочками и как-то вбок. Глаза его пытливы и умны. Он спустил с широких плеч телогрейку – под ней шахматная рубашка – скатал в удобную торбочку. Делает губами беззаботное «пф!»

– Васильич, вставай! Васильич, выручай! – покричали негромко, позвали кого-то они. Никто им из кустов не ответил. Только вспугнутая ворона пролетела у самого носа, громко, чуть не со скрипом промахала крыльями, как вениками. Посмотрели внимательно, как на лужайке у колеистой, затравенелой дороги плавают пух – всюду плешки на одуванчиках.

– Слышишь, Илья Муромец, как трава чикает, проторгаясь сквозь кору земляную и древесную, – спросил, отходя к кустам, Иванушка.

– Да, жарко-парко... – неопределенно кивнул на плешки Илья Муромец: – А та, что нам надо, везде растет. По межникам, по пожням...

Иван подхватил о траве-припутнике, которой один корешко мал оживит даже убитого:

– Тот же корешко и от сердечной скорби держат... Васильичу бы. Да и Грише бы Паялу – от кашля... – А потом без перехода махнул рукой на кусты: – Я здесь опорожнюсь... И свой картуз брошу, накрою им гнездышко серых воробышков... А ты?

– А я все свое с собой унесу, – уже с нетерпением оборвал его Илья Муромец. – Давай скорей. Пошли!..

И они захлипали резиновыми сапогами по жару. Шли все лето. Узнав, что Григорий Паяло помер – все Васильича что ли искали? Или кого другого? Не знаю... Снаряд весь, доспехи и оружие Ильи Муромца было спрятано в бору, в надежном месте, за синим камнем.

Ночевали по мертвым деревьям, по заброшенным домам. Пугая доживавших век старух, кричали, звали своего Васильича. (А, может, Васильич уже там? – думал Илья Муромец, но Ивану пока ничего не говорил. Там, то есть во глубине провалища, где слышен плач всех людей от Адама, плач всей твари по Богу.)

Вышли к старому городу на речной петле: его будто схватила огромная рука, чтобы сорвать с холмов, но разжалась, оставив в полумертвой куче с полуразрушенными какими-то сараями из серых кирпичей на окраине, с остатками валов, фабричными трубами, уютным, пряничным монастырьком сразу у дороги, и высокими шпицами соборов по всему обзору.

– Помню, здесь раньше вдоль стояло семнадцать церквей, – вспоминал Илья, – да поперек, крестом, шестнадцать. Ровно тридцать три, столько годов Иисус Христос до креста прожил...

Заходили часто и в другие уездные города. Поблекший собор на холме высоко вставал, на облезлом куполе ржавое пятно; кучевые облака, сумрачные, но теплые, в зените будто повторяли его монументальную лепку.

– Раньше этого города не было, здесь и дальше все лес был, – говорил Илья. Пробирались по окраинной, вросшей в землю до окон, улочке у кладбища: уже не те, какими из лесу вылезли. Лица ясные от свежего воздуха. Коза, привязанная на травке у забора под рябинкой, пила поило, засунув голову в ведро.

– Смотри, Илья, как коза ест. Не как какой-нибудь телец. Тот опрокинет ведро, начнет его катать. Все поило выльет и смотрит – удивляется. А на что удивляться?

Коза смотрит на них. С бороды капает.

– Да, нельзя сказать, Ваня, что животное это слишком аккуратное...

А навстречу идет пьяный по тропке, кренделями, восьмерками. Коза, увидав его, стала недовольно блеять. Пьяный затормозил, выставил руку, сморщился, заслоняясь от неё:

– Ду-ра! – обозвал и завосьмерил дальше...

Зашли раз и в областной город, к вокзалу. Погадать. Спросили у молодой цыганки с желто-смуглым, как паркет, мерцающим лицом, найдут ли они Васильича? Жив ли он? Цыганка сделала вид, что гадает им, а сама зашептала:

– Надо всю Россию пройти... Здесь, на вокзале, гости собираются, вам отсюда подальше надо быть... Жердяй всех своих собирает...

Они осторожно, с народом зашли со стороны перрона: у хлопавших стеклянных дверей, от урны, где курили парни, посмотрели...

– Гости, гости, – бормотнул Илья, – разглядывая снующее толпище. – Глаза у них вдоль лица, а зубы как бы из железа... Этим

гостям тюрьма по костям. Это мнимые люди... Пойдем, хоть в Сибирь!..

А цыганка стояла на привокзальной площади, мимо шли два алкоголика в черных бушлатах. Вдруг один сзади схватил ее за плечи и сказал: «Здравствуй, харя!» Не успела она крикнуть – он уже был в нескольких шагах, в толчее. Показали, что все видели и все поняли.

Илья с Иваном вышли из города и – дальше. И стены им, и притулья нигде нет. Уже октябрь. Ветер. За кустами ольхового болотечка пустое ячменное поле. На закраине валяются бутылки из-под водки. Иван поднял одну: не осталось ли хоть капельки? – а в ней две мыши: залезли на запах, а выбраться не смогли.

– Это нам предостережение, Илья, – говорит Иванушка, – попадемся и мы, как две мыши. Ведь город-то скоро будет – Мышкин!

Волгу на другой день издалека угадали. К вечеру быстро замгло, но мгла просветная – в ней лишь сильнее обозначилась пространственность, и плывущий по Волге паром будто повис между небом и землей. Причалил, наконец.

Илья глядел за борт парома на черную волну, а Иван подошел к служебному помещению. За запотевшим тусклым оконышком гармоника пиликала веселую песню, но, попадая во мглу и холод из тепла, она делалась грустной. Потом музыку заклинило на одном коленце. Поднялся по лесенке из трюма подвыпивший мужик с рюкзаком. Лицо Ильи стало тревожным.

Иванушка, увидев, что мужик этот в зимней шапке-ушанке, не выдержал:

– И зачем свой фургон в кустах тогда оставил... Никого не удивил... Эх, проказа я проказа. Как ты думаешь. Илья Муромец?

Илья цыкнул, но заработавший вовремя мотор автомобиля заглушил его имя, неосторожно названное Иваном. Да и бояться было нечего – мужик в шапке-ушанке был глуховат. Он ничего не расслышал.

Автомашина с включенными фарами сползала в раннюю тьму с парома.



## ГЛАВА 70

И наступил еще один вечер, когда они уже, по их прикидке, прошли всю Россию. Папоротник в лесу уже пожух, мерк бурями стаями. Усталые Иван с Ильей путались между ними. Иванушка осел на месте, как мешок, и крикнул с отчаяния:

– Васильич!

– Тихо! – скулы у Ильи задвигались.

– Илья Муромец, мы вроде на то же место пришли, откуда весной вышли?

Снова – осенние поля, перелески. Все прибито, выметено: только один-единственный белый тысячелистник на лужайке у леса. Тут они и остановились на ночевку.

– Видишь, Илья Муромец, какой у меня ноготь? Это картошку чистить. Нарочно отрастил, – показывает грязный ноготь на большом пальце Иванушка.

Сидели вокруг огня, как в уютной яме, вырытой в темноте, ели печеную картошку. Пламя выхватывало из тьмы спину замшелого лесного валуна.

– От этого камня еще день пройти, и будет котлован, – говорит Илья Муромец. – Берега вот в таких же камнях в черной коросте. А в котловане – черные валуны, глыбы – окаменевшие слова. («Окаменевшая ископытть слова», как темно добавил он, чем сильно поразил Иванушку, считавшего своего старого товарища простецом). – Там есть между камнями провал, проседина в пододонное место. Там в золе и пепле Васильич и сидит, наверно. Черти ему сделали. Там и кончается Россия...

– Так чего же ты молчал? – ощерился было Иванушка, но в это время из темноты послышался ребячий вереск. К костру выбежал мальчик в белой рубашке и черных брюках. И второй, и третий. Набросились гурьбой: пустите погреться! Иванушка только подивился, что головы у них, как у ребят, а тулова маленькие, как у трехгодовалых дитятей. Его это очень рассмешило: смеется и остановиться не может. Черные, вертлявые ребята, кувыркаясь, навешиваются на Иванушку. Первый, самый визгливый и верткий, ему шлык балахона на лицо надернул – отемнил. А того смех долит.

Вдруг Илья как схватит вертлявого за шиворот, поднял над костром:

– Что, черт ременные уши, попался?! Куда Васильича девал? – и видит Иван – это корень-выворотень у Ильи в руках. Только живой – обволокся весь бурым густым светом.

– Черт и есть, – говорит Иванушка.

– Сюда словоматериал выгоревший свозят, – говорит черт, – пойдёмте, я покажу дорогу. Только отпусти меня, Илья Муромец.

– Ни-ни, – отвечает за Илью Иван, – пусть на весу, на вороту нас ведет. Иначе еще выкинет козью морду. Может, спилить ему рога на нет?.. Черт, черт, поиграй, да и мне отдай! – на всякий случай сотворил он заклинание, которому научила его когда-то жена, Ядвига.

Илья Муромец держит черта, как бурую тлеющую головешку, освещает вокруг. Пошли – действительно, это выгоревшие слова, а не валуны: онемевшие, в черной коросте. Ведет их черт вниз, в котлован: грабятся неловко, спускаются Илья с Иванушкой – как в распадок на Колыме.

– А ведь это старая дорога из мира земного. Я по ней уже ходил, – говорит Илья.

– А не завел бы он нас, Илья Муромец, в блудную – не туда? – говорит Иван, – ведь это, наверно, тот самый черт советский, Давлиненко, краснокнижник?

– А вам как раз не туда и надо, точнее не скажешь, – пропищал, снова поддельваясь под мальчишку, Давлиненко...

Потому что дальше кончилась Россия. Да и весь мир...

## ГЛАВА 71

На Михайлов день с утра помягчело, к обеду заморосил дождь. Старуха Смолярова обула резиновые сапоги. Прихваченная морозцем трава, слабо прикрытая корочкой снега, проминалась под ногами. В сарайке, в коробке осталась мелкая картошка. Немножко, с полведра. Смолярова ее принесла домой: может, поотойдет? Пока разбиралась в сарайке, тучи ленивые, серые

раздвинулись, и сквозь щели стала видна какая-то вялая: как безкусная, замороженная картошка – синева.

У старухи Смоляровой лик большой, точно из сырой, сморщенной мешковины. Стекла очков закрпало дождем, но она не замечала, думая про свою одинокую жизнь. Муж у нее, как и многие другие механизаторы, рано умер от рака. Сыну и дочке здесь делать нечего, уехали. Погоревав о себе, осудила соседку: она копейку держать не может, пьет; огонь в избе никогда не гасят, корову не выгоняют... (Соседку сожитель, сторож с фермы, зарежет той же зимой).

«Вот бы к старухе Смоляровой в подполье рвануть!» – подумалось Давлиненку, когда Иван с Ильей ехали на телеге мимо этой деревни из четырех домов к ближнему уездному городу, а точнее: к птицефабрике или птичнику. (У Иванушки в разговоре чаще получалось «птичкин», как не поправлял его Илья Муромец). Носы зажимали – таким тяжелым запахом понесло. В кустах – кости куриц. Это вороны сюда натаскали из навоза дохлятины. Ворон, пролетая, увидев странную телегу с белой лошастью, крикнула – как шарманку крутанул. Давлиненко голос из неоткуда, как из мегафона, отозвался ему.

– Чего ты нас донимаешь, черт ременные уши! – устало упрекнул Иван. В руках у него был корень древесный, сухой, корявый. Этим корнем прикинулся перед ними Давлиненко, схваченный в котловане выгоревших слов, у костра. Обращаясь к корню, Иван еще поговорил... А потом, по своей привычке, без перехода, Муромцу:

– Столько пехом пройти... Ноги, как деревяшки втыкнутые: вступаешь, а на что – не чувствуешь... А на лошадке-то...

– Это потому, что ты в армии не служил, – отозвался простолицый Илья...

– Не служил, нет, не служил! – кукнул, подхватив, передразнивая, противный голос.

– В последний раз тебе говорю: кто ты такой? Давлиненко? – осердился Иван.

– Вы глубоко ошибаетесь, товарищи, я не Давлиненко. Я – простой жердяй!.. Цаплин – моя фамилия... – проскрипел лживо и жалобно корень.

– Я по породе вижу, что ты – Давлиненко!..

– А ну-ка, вот, отгадай загадку, – не обращая внимания на чертово озорство, продолжил Илья: – Четыре брата на свете: два меньшие впереди, два большие позади. Спешат, бегут, друг друга не догонят...

– Тут, Илья Муромец, сразу и не растолкуешь... Это – загадка мысленная... Два меньших брата, значит, это – медное и серебряное царства... Два больших – впереди... – вынув руку из кармана пальтишка, Иван, поднял вверх грязный палец, – это царство силы нездешней, сейчасное, и – золотое, вечное! – И он долго растолковывал под стук телеги, пока:

– Врешь! Это же – колеса! – опять через свое нездешнее говорило кукнул Давлиненко. Только на этот раз вышло – как из брюха лошади...

– Тпру! – остановил лошадь и всех четырех братьев Илья Муромец. – День какой-то с дымью стоит. – Он, блуждая мыслью в разные стороны, давно не слушал, как разгадывал Ваня.

И они с Ильей Муромцем такнули и порешили промеж собой полюбовно: утопить «корень злых страстей», то есть черта этого, в г... куричьем.

Слезли, оглянулись. День, действительно, с какой-то дымью. Никого на дороге, только вяз развесистый на пустыре у деревеньки торчал в небе. Пошли с задов к птичнику. Бурые, мертвые озера куриного помета, окруженные лесами высокой, почерневшей крапивы и костистыми скелетами чертополоха. За разгороженной изгородью – заброшенный цех, на плоской крыше, уже обомшевшей, поднялись тощими прутиками березки. Здесь, в свежем рве-отстойнике Давлиненку и утопили. Привязали к корявому корню железяку и затолкали в вонючую трясиину...

Поехали, Иванушка напевал с намеком:

Терпел Моисей,  
Терпел Елисей,  
Терпел Илья,  
Теперь участь моя!



и в таком виде, а держится душа – это держит её Господь. Осталась только его сила, внешнее – распалось.

И сильный голос, сотрясавший душу, приказал: пиши об этом! – А о том – не пиши! – как бы кивнул этот голос. И Васильич видит, как выше его по крутому спуску котлована – две пары ног быстро уходят, это – Иванушка и Илья: они не видят его, не слышат, что он здесь; и жалко их, но голос повторяет: про это (то есть плач во тьме) – пиши! А про них – не пиши! Во тьме они не видят Васильича, и он не видит их – только ноги уходят!

Мне не написать об ином времени, иной стране, – взмолил-ся Васильич. – Как мне написать о том, что превосходит всю земную историю?

А ты пиши! – приказывает голос с такой властью, что он тут же, во сне, начинает писать. И рука начинает поднимать его вверх – скользит, веет по телу, как сажа, густая тьма. Но и сила плача, радостная, крепкая сила плача – выдыхается, остается во глубине. Он чувствую, что мне никогда не пересказать того, что я пережил там.

Тогда сила снова опускает Васильича в растопленное, как воск, и сострадное пространство плача: душа снова теплеет.

Пиши! – повторяет грозный голос: и у тебя получится!

...И я вынырнул из глубины. Еще я видел перед собой, как кровавый заскорузлый бинт, снятый с веков, ленту истории с круговоротом царств, еще во мне жили любовь и радость, которых я никогда не испытывал. Но сила плача опять ушла, и я уже не мог объяснить, чем же тот глубинный плач превосходит масштаб всех земных событий? Там люди узнали, что душа ценнее всей истории, всего мира. Но как об этом написать? Я не могу снова осязать мыслями живой смысл того плача во тьме... И сами слова о том за прошедшие годы устали быть живыми во внутренности души, а становятся – гадательными...

Иное время, иная страна – это сердце, узнавшая Бога?.. Стена, пепел, плач – это общее, соединенное любовью ощущение предела, за которым уже будто бы и нет ничего, а там как раз только все и начинается? И в том котловане выгоревших слов слышен плач всех людей, начиная от Адама, плач всей твари по Богу?

Верить или не верить этому голосу? Я и сейчас не знаю. И жалко мне, наземному человеку, своих старых товарищей по мысленному миру, Илью и Иванушку, моей души *урывочков*. Спустились ли они туда, во тьму, в пространство плача, чтобы найти своего Васильича, то есть внутреннего человека, и, чтоб им, урывочкам, отслойкам, соединиться с образом Божьим в человеке?.. Али выводят они где-то там *полону на волю*, на все четыре стороны? А, может, сами попали в полон?.. Ушли и – ни чутья, ни вести... Нет теперь на Руси ни Ильи Муромца, ни Иванушки-дурака, ее первых героев и защитников... И тогда ждать только осталось тех Иоанна и Илью, что придут перед концом света, воскреснут с Енохом – на битву с антихристом.

*(Конец книги «Карусель»)*

Литературно-художественное издание  
18+

Том II, книга 3  
повествования «Заклученные образы»

**Смирнов Н. В.**

## **КАРУСЕЛЬ**

Редактор – Н. Л. Кускова

Компьютерная верстка – А. В. Степаньянц

Сдано в набор 20.08.2021.  
Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. п. л. 15,4. Печать цифровая.  
Бумага офсетная. Подписано в печать \_\_.09.2021.  
Заказ № 5512.

Отпечатано на собственном оборудовании:  
ООО Издательско-полиграфический комплекс «Индиго»,  
г. Ярославль, ул. Свободы, 97